



НИКОЛАЙ НИКОНОВ

ПЕРЕД
ВЕСНОЙ





НИКОЛАЙ НИКОНОВ

Перед
весной

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1977



Николай Никонов

**ПЕРЕД
ВЕСНОЙ**

Повести
и
рассказы

Уже первые книги Николая Никонова — «Березовый листок», «Мальчишки», «Голубая озимь», «Лесные дни», «Листья» — привлекли внимание читателей тонким знанием уральской природы, умением зримо и проникновенно, во всем многоцветье красок, звуков, запахов изображать мир наших лесов и полей. Шли годы, мужал талант писателя. В книгах «Солнышко в березах», «Вкус жизни», «Повести» и многих других мы узнали Никонова — психолога, исследующего нравственное становление молодого современника, истоки и формирование личности. Но тема родной природы, воспитания любви и бережного, заботливого отношения к ней и сегодня остается одной из стержневых в творчестве писателя. Об этом свидетельствует и книга «Перед весной». Наряду с произведениями, публиковавшимися ранее, в нее вошли новые рассказы и миниатюры Н. Никонова, посвященные уральской природе. Несколько особняком стоит в книге «Золотой дождь» — произведение не совсем обычного жанра. «Повествование в размышлениях о коллекциях и коллекционерах» — такой подзаголовок дал ему автор.

...Я спросил у месяца:
— Где моя любимая?
Месяц не ответил мне,
В облаке исчез...

Из песни

Весны ждут. Птицы, скалы, деревья, крыши, больше всего старики и дети. Ждут медведицы, заборы, почки, глаза женщин, скамейки в парках, обелиски, реки, орлы и волки — сколько их еще осталось на Земле...

Ждут все. И даже безнадежные, знающие, как никто, что их стрелки вот-вот остановятся, — ждут.

Мне хотелось разгадать первый гром, мне хотелось понять и суть первого дождя, и птичью стаю, летящую к холоду в синюю страну ветра и льда. О безжизненный лик первой воды! Веточка вербы, цветущая над снегом. Мне хотелось понять ваше вечное чудо и понять соловья, поющего глухой ночью под говор воды в овраге.

Зачем он поет, что слышится в бормотании воды и почему так спокойны звезды?

Мне хотелось понять подснежник, и сон-траву, и разрыв-траву, и плакун-траву, и всякую другую траву, рождающую к новой жизни свое непознанное совершенство...

Много писали о Весне. Много напишут еще. Но всегда она останется чудом — с тех первых дней, когда по необъяснимой воле космоса Земля вдруг начнет клониться к солнцу и станет близиться праздник света, жизни и тепла.

*А праздник лучше ждать.
А счастье лучше впереди.
А чувства свежее в бутоне.*

Привет тебе, терпение. Терпение крыши под снегом, терпение скалы под ветром, терпение дерева под морозом, терпение женщины, ждущей счастье.

Жди чуда. Живи в удивлении. Не переставай надеяться. Жди весны. Весна никогда не кончается. Пусть будет весна у терпеливого, пусть будет счастье у мужественного. За каждой зимой — теплые дни, рассвет за каждой ненастной ночью.



Воробьиная
ночь

Воробьиная ночь

Самая короткая летняя
ночь с грозой, дождем,
ветром при частых
вспышках молний.
(Из географического
словаря)

На выпускной вечер я решил не ходить. Я повесил в шкаф свой новый черный костюм, новый галстук, отглаженную рубашку, турнул под кровать ни разу не надетые туфли. Пусть... Чтобы совсем забыться, я достал томик Цвейга, сел к окну и стал читать медленно, внимательно, как будто учил урок. Я сидел за книгой долго, но слова точно утратили сегодня свой ясный смысл. Иногда такое бывает во сне — силишься понять какую-то простоту и чувствуешь: не получается никак, и просыпаешься в страхе, хватаясь за голову. Слова выстраивались в линии, слепо и безлико. Все было как будто помимо меня, не соединено с моим вниманием — и книга, и трамвай за окном, и затихающий треск мотоцикла, и чей-то невнятный разговор. Я продолжал листать, отрешенно пробегая страницы, и только когда было прочитано полкниги, понял, что надо идти, ехать туда немедленно.

Было четверть десятого, когда я взбежал по цементным выщербленным ступеням школьного крыльца, вошел в темный гулкий вестибюль. В нем было прохладно и выморочно, как всегда бывает в школьных зданиях в глухую летнюю пору. Четвероногая тень пробежала поперек, может быть, кошка, может быть, черная...

Я все еще сомневался и думал: не повернуть ли? Я ходил по вестибюлю взад и вперед, прислушиваясь к своим шагам, пока внезапно не понял, что я здесь не один. Тихий шепот. Возле дверей в коридор белело платье, заслоненное мужской фигурой. Они просто ждали, когда я уйду.

С верхнего этажа донеслись голоса, обрывки музыки, чей-то диковинный хохот. А на мокрой, недавно вымытой лестнице было пусто. Сильно пахло персидской сиренью. Валялась ее полурастоптанная веточка, увялая и дряб-

лая. Я подумал, насколько она хуже нашей северной свежей сирени-девочки с ее влажным печальным запахом. От персиянки пахнет приторно, южно, как от матерой женщины крепкими духами. Такой флакон стоит на туалетном столике жены. Персидская сирень... А может быть, турецкая или венгерская?

— Сирень, сиреневый, сирена,— зачем-то вслух сказал я. И подумал: а разве случайно, что сирены были женщинами, пусть даже с рыбьими хвостами вместо ног.

У распахнутых дверей класса подле груды вытащенных в коридор, составленных друг на друга парт встретилась директорша. С притворной строгостью она покачала седой, крашеной, молодо стриженной головой. Задрапированная в нелепое черное платье с блестками, она грузно пошла по коридору с намерением покурить. Она всегда курила — об этом знали и учителя, и ученики — и всегда старалась скрыть.

Я шагнул в класс, непривычно тесно заполненный. Наши ребята — за длинными столами, покрытыми белым, уставленными разной снедью.

— Алеша, Алексей! — крикнул кто-то. — Сюда давай!

— А мы уже не ждали...

— И как не стыдно!

А кто-то уже подвинулся, подставил тарелку. В пустой стакан щедро забулькало.

— Штрафную! — полужнакомый выпускник из одиннадцатого «А» подал граненый стакан с темным портвейном.

«Слесарь», — привычно отметил я, глянув на его огрубелые крупные пальцы с побитыми, желтыми, уродливо растущими ногтями.

Налили. Выпили.

И уже родными и близкими стали все сидящие в этом темном классе. Уже председатель старостата, раскрасневшийся и торжественный, сказал краткую речь, из которой явствовало, что учителя всегда были самыми уважаемыми людьми и что их будут помнить всегда, везде, всю жизнь... Уже одиннадцатый сменный хватил «ура» классному руководителю, шустрой химичке Анне Романовне, которая удивляла нас тем, что знала о своих учениках все, все и буквально все.

Налили. Выпили.

От красного слабенького портвейна пахло жженой пробкой. Я совсем не захмелел, а просто освоился и

смотрел на своих недавних прогульщиков и лентяев, тех, от кого, с сердцем швырнув журнал на стол, уходила в учительскую гневная литераторша Вера Петровна, кого я сам подчас клял во все кости, болтаясь по общежитиям, налаживая посещаемость, кому еще месяц назад внушал, поймав у проходной, что учение — свет. Я был староста одиннадцатого «Б». Я был и самый старший — мне уже тридцать. А им? Какие их годы, если все почти ребята со школьной скамейки, из дневной... У нас были продавщицы, ткачихи, монтажники, слесари. Парни и девчонки, красивые и дурненькие, одетые по последнему стилю и кое-как. И все такие разные, необыкновенные, как чудо-математик Костя Скворцов — живая электронная машина, и обычные, вроде кочегара Мазеина, не знаю уж какими судьбами получившего аттестат. На уроках он больше дремал, спрошенный, солидно отказывался: «Знаете, не разобрался в материале», — и учителя робели ставить ему двойки. Вон сидит угрюмый молчун Курилов, а рядом цветет, улыбается Верочка Птица, живая украинка, душа нараспашку. Впрочем, сегодня все как-то сравнивались одинаковой общей радостью.

Это ведь надо прожить, перечувствовать, чтобы понять. Вечер... когда все, все, все позади! Долгие зимы. Тягость уроков. Двойки. Нервотрепка экзаменов. Зубрежка и страх. Отчаяние и надежды. Отупелая голова. Гармошка-шпаргалка. Все теперь позади! — виделось по лицам девчонок.

Я искал одну. Теперь я уже боялся подумать, что она не здесь. Не может быть... А почему? А кто стоял там, в вестибюле?

Мне стало жарко, как будто класс наполнился июльским зноем. Я, наконец, увидел ее в дальнем углу второго стола. Такая нарядная, непривычно улыбчивая, с двумя короткими косами-хвостами. Здесь... А теперь отвернись, гляди в тарелку, ешь свой капустный винегрет с пресным горошком.

Но отвернуться я не смог. Что-то вдруг хрупнуло, отвалилось во мне, точно мартовский лед-припай, подточенный полой водой, рассыпалось тысячей льдинок, поплыло... И каждая льдинка была воспоминание.

За две зимы я так привык видеть ее густые прямые волосы, челку, небрежно затеняющую глаза. Глаза у Лиды блестящие, ласковые. Они ясно передают ее душевный мир, вопрос, любопытство, недоверие, радость.

А иногда мне кажется, что в них отражается что-то светлое, как осенние леса в пасмурных водах. Я наизусть знаю каждый ее жест, знаю, как она берет книгу, сутуло склоняется над тетрадкой. Вот она выпятила губку, мягким дуновением сбросила волосы в сторону. Я старался не смотреть на нее. И все-таки смотрел, наверное. Я ведь и сегодня пришел так, я знаю, что больше не будет ничего. Парта у окна теперь пустая...

Я поступил в эту школу, потому что было надо. Работаю мастером, а образование всего только девять классов. Война не дала доучиться. Я давно женат, у меня дети, и жена уже в том возрасте, когда женщины начинают чаще смотреться в зеркало и листать руководство «Уход за кожей лица». Первый год в школе показался мне каторгой. Отвыкший от учебы, я тягостно мучался, дремал и спал на последних уроках и с наслаждением прогуливал по-мальчишески. Вот пойду в школу, а сам — мимо, и допоздна брожу по темным и освещенным зимним улицам. Мне никто не мешает, не долбит в голову иксы и игреки, я тут вольный, счастливый человек. К концу года я всерьез подумывал: «Не бросить ли? Век живи — век учись...» И, наверное, бросил бы. Однажды в холодный весенний вечер я приплелся в класс, как обычно прошествовал к своей парте с фиолетовой кляксой на когда-то белой крышке. И... даже попятился. За моей одинокой партой сидела румяная круглолицая девочка в серой кофте, будто сама весна.

— Здравствуйте, вы тут сидите? — спросила она, еще более розовея, улыбаясь, блестя глазами.

— Нет... То есть да-а... — глупо смешался я.

— Ну так садитесь. Уже звонок!

И я сел, чувствуя какую-то восторженную чистоту, тишину и новость вокруг себя и в себе...

...В раскрытые окна вдруг поморочало. Дунуло свежим ветром. Стало сине и тревожно.

— Гроза будет, ребята, — сказал Костя Скворцов. — Закрывай окошки!

Но в ответ лишь засмеялись.

«Как хорошо!» — благодарно подумал я, точно синяя туча впрямь несла радость, неожиданную и скорую. Я люблю грозу с первых памятных детских дней. Люблю ее предвестье — тяжкую тишину, настороженность крыш, окон и тополей. Как славно, стоя на дворе, задрав голову, глядеть в страшный хаос наплывающих облаков,

вздрагивающих далекой молнией, весь серо-мрачный, налитый грозовой властью. Темно, безнадежно вдали, нет просвета над крышами и тополями, а все-таки я люблю, люблю колющие порывы ветра, нездешнюю прохладу первых капель, вкус пыли, внезапно взвитой бегущим вихрем, и тот хряский всесокрушающий удар грома, от которого словно раздергивается небесный занавес и все начинается.

Включили магнитофон.

На тебе сошелся клином
белый свет...

— густо затосковал низкий обволакивающий женский голос.

На тебе... сошелся клином
белый свет...

Гремели стулья. Отряхивались пиджаки. Бахнула, звякнула разбитая тарелка.

— К счастью!

Я пригласил девушку, почти незнакомую, из другого класса. Она танцевала деревянно, отстранясь на жестко вытянутую руку, беспредельно чужая и равнодушная. Чувствовалось, что она танцует лишь из вежливости, что я опередил кого-то другого, нужного ей, и она втайне сердится и на меня, и на себя, и на того нерасторопного, кто незримо стоял между нами. Я едва дождался конца музыки, отвел девушку на место, поблагодарил церемонно и отступил как-то по-гусарски, так, что самому стало тошно.

Я ушел к окну и встал там. Уже совсем смеркалось из-за идущей грозы. Синяя влага закрыла небо. Пахло близким дождем и ночью. «Сегодня 22 июня. Самая короткая ночь, воробьиная», — зачем-то вспомнил я. Говорят, что в такие ночи воробьи падают с крыш, оглушенные громом и ветром. Говорят, что такие ночи не бывают без гроз и зарниц. Я смотрел на далекие желтые огоньки окраины. Они вспыхивали, мигали, гасли и зажигались снова. Теплая ночь подувала в окна. Тополь на дворе тихо шептался. Двое под ним — черное и белое — горячо притиснулись. Там была любовь, обыкновенная, хорошая, «Маша+Юра».

Не знаю, любил ли я когда-нибудь по-настоящему. Наверное... Но ведь любовь, говорят, чувство долгое, вечное. Чувство, которое надо хранить и оберегать. Непонятно только, зачем его оберегать, если оно вечное? Любви

надо подчинить свои увлечения. Стало быть, у человека бывают увлечения? А где граница между любовью и увлечением? Где? В кинострапне и учебниках морали — кем они написаны, представить невозможно — так и делают. И очень легко. Вот положительный инженер С. (там никогда не называют фамилий для большей правдивости), полюбивший лаборантку К., но верный свей жене Д. Далее гармонический рассказ о достоинствах трех сторон. В конце С. и К. расстаются, сказав друг другу значительные слова. Инженер С. возвращается к жене Д., полный благородных мыслей о своем долге. Лаборантка К. улетает на Северный полюс. С. счастлив? Об этом в учебниках умалчивают. С. будет счастлив? Может быть... Жена будет счастлива? Может быть... А лаборантка К.? Тоже, может быть. В кинофильмах при такой ситуации на втором плане показывается улыбающийся положительный парень. А может быть, все трое плачут, и не так, не светло и благостно, а темно, горько со скрипением зубов?

С той весны все изменилось. Школа стала вдруг местом, куда шел я, как на праздник, приодетый, начищенный, выглаженный. И даже ночами, просыпаясь в тот глухой час, когда земля кажется вымершей, я первым долгом вспоминал, что завтра в школу, а в школе будет Лида. За короткий срок я стал лучшим из учеников. Мои учебные успехи превозносились в приказах по школе, на вечерах и линейках. Обо мне писали в школьной стенгазете «За учебу». Я был выбран старостой. Успехи! Одна настольная лампа на кухне знала, чего они стоят. Лида, Лида... Девочка в сером свитере. Нет, я не объяснялся в любви, не приставал с любезностями, не назначал свиданий. Я даже старался не глядеть в ее сторону. Я думал: мы люди разных поколений, и даже школа, класс, уроки, одна парта не могут разрушить разделяющий нас барьер. По крайней мере, мне так казалось. Лида всегда была очень спокойной, ровной, приветливой и независимой. Я решал ей задачи по тригонометрии, подсказывал, когда мог, а стремительно закончив свой вариант контрольной, тотчас брался за другой. Иногда я шел с девочкой вместе из школы. Мы переговаривались незначительными фразами, а чаще просто молчали. Обычно же я пропускал ее далеко вперед и шел за ней медленно, упрямо по темным, едва освещенным улицам, шел, пока ее фигурка не исчезала в зимнем сумраке.

Может быть, во время наших редких разговоров я как-то выдавал себя. Голос мой был теплее, чем требуется. Но, странно, подсознательно я чувствовал ту же теплоту и в ее простых ответах. Взмах ресниц, движения губ и маленького носа мне говорили, казалось, больше, чем слова. Это была горькая жизнь. Но, честное слово, продлись она и еще год, я стал бы закоренелым второгодником. Стал бы из-за простого счастья сидеть с ней на одной скамейке и пять часов слышать нежный слабенький запах не то духов, не то какой-то там девичьей помады.

Наверное, никогда не удастся скрыть то, что больше всего стараешься скрыть. И вот получилось: весь наш одиннадцатый «Б» словно задался целью считать наши взгляды, посмеиваться за спиной. Посмеиваться без зла, все же ведь интересно, если староста, ха-ха, начнет клеиться к Лидке. И однажды, на перемене, когда мы все курили в синем тумане возле уборной, ко мне подошел развязный парень из наших — Мишка Гладенький. Прикурил, плямкая толстыми губами, затягиваясь, нагловато ощерясь, спросил:

— Ну чо, старшой, идут дела?

— Это ты о чем?

— Да ладно, ладно... Все поняли, а он не понял?! Фа-фа-фа, — захохотал он наглым смешком балованного маменького любимца и отскочил.

Иногда мой кулак опережает мысли.

С тех пор Гладенький не заводил разговоров. Он действовал по-другому. Каждый вечер, стоя в вестибюле в кучке таких же полустилияг, ждал Лиду и, едва она одевалась, подходил к ней с самой любезной улыбкой. Они направлялись к дверям. И хотя я видел, что Лиде, по крайней мере, безразличен этот маленький самоуверенный пижон в пыжиковой шапке, шелковой телогрейке и брючках-клеш, все во мне болело от ненависти. Я шел домой, каменно, чугунно было на душе, и ломило виски, сосало под ложечкой, точно я отравился тяжело и навсегда. Я думал: почему один свободен, а на другом словно каинова печать, почему восемнадцатилетние для восемнадцатилетних и что за ханжа проклятая придумала все эти «вечера отдыха... молодежи», молодежные кафе, молодежные дворцы, куда после тридцати уж не ступишь ногой, точно ты пария или прокаженный, и на тебя будут оборачиваться, тыкать пальцем, шушукаться,

хихикать. Кто придумал, что после тридцати — тебе только телевизор, домино у подъезда на вытертой до блеска скамейке за щелястым исколоченным столом в обществе ко всему уже равнодушных. А в крайнем случае есть еще театр или... бутылка.

А веселье шло своим чередом. Сдвинули в стороны столы. В центре класса откалывали твист, паралично взмахивая руками, выпятив губы, негритянски качаясь. Миша Гладенький, первый танцор, гнулся затылком к полу. Самые озорные девчонки-ткачихи вовсю вертели бедрами. Выл саксофонами, бесновался джаз.

«Тах, тах» — хлопали ладоши.

Сердито махнула, ушла в коридор директорша. Я вспомнил, как на редких школьных вечерах она выходила на середину зала и, округлив глаза, кричала:

— Прекратить чарльстон!

Она не принимала этих новых танцев, считала их бесстыдными, пошлыми, обезьяньими. Но сегодня здесь ведь уже не было учеников, были выпускники, взрослые, почужевшие, оперившиеся люди. Я отвернулся к окну. Чем шумнее становилось там, тем больше мне хотелось сосредоточиться на чем-то постороннем, на что-то смотреть и думать, думать, думать. Ведь если уходишь в свои мысли, становится немного легче. Второе «я», вечно живущее в каждом из нас, по-братски делит наши печали. Я тосковал, и, по правде сказать, вся моя тоска укладывалась в одно: никогда, никогда, никогда не будет больше сидеть со мной девочка в сером свитере с кукольным именем Лида.

Уже вспыхивало вдали красно и грозно. Уже тополь шумел все свежее. Исчезла парочка в белом и черном. И далекий гул грома прилетел вдруг сюда сквозь орущий, беснующийся в динамиках твист. Громовой гул! Как хорошо, как величаво перекачивался он по-над землей. Я слушал, и казалось: во мне самом что-то созвучно отдается ему и замирает, и снова накатывается тяжелым гулом. Кто-то взял меня за руку.

Это стояла она, Лида. Она улыбалась, но глаза ее из-под густой челки светились настороженно и строго.

— Да? — не вполне понимая ее, спросил я.

— Идемте танцевать... Дамский танец.

— Я ведь не умею твист, — сказал я и понял, что твист давно кончился, а по залу снова плывет густой и ровный голос. Лед плыл и таял. Я чувствовал, как он

тает, как исчезают льдинки. Мне стало свободно и спокойно. Я танцевал, подчиняясь медленному ритму блюза, и не думал ни о чем, плыл, как во сне, и пробудился, когда музыка смолкла.

Лида проводила меня и отошла.

За окном пролетели первые капли, сверкающие, точно ртуть. Они слышно ударились о землю. И вдруг все озарилось с немыслимой силой, вырвав из темноты дрожащие тени крыш, палисадов и деревьев. Обвалом загрохотало. Зашумело. Стукнула рама. Вдребезги посыпалось стекло.

Девичий восторженный крик потонул внизу:

— Дождик, пуще-ее!!.

Я искал Лиду глазами. Я боялся потерять ее, боялся, что кто-нибудь пригласит ее раньше. Едва начался танец, я пошел к ней, и она тоже двинулась мне навстречу, отмахнувшись от назойливого Миши Гладенького, схватившего ее за плечо.

— К мужику идешь! — донеслось до меня.

Как непохоже она танцевала в сравнении с той первой девчонкой, которую зачем-то пригласил я в начале вечера. Она не отстранялась прочь и не прижималась ко мне, но я чувствовал ее доброе доверчивое тепло. Ее волосы иногда трогали меня по щеке. Я танцевал и думал: вот как все просто. Целый год я смотрел на нее, вернее, старался не смотреть, в перемены сидел в курилке, обрекал себя в бесполезных рассуждениях. Вставало солнце на пустынной кухне. Красно и розово горело оно на посуде. Меркла моя одинокая лампа. И я по-прежнему не знал, что мне делать. Что же мне было делать? Объясняться девочке, которой я старше почти вдвое? Да и что дало бы мне объяснение, кроме лишнего стыда и горя. Как знать... Иногда простое чувство уважения, благодарности, подслащенное легоньким хмелем, сойдет за большее.

«Пойду домой. Пусть вымокну, пусть...»

Дождь шумел за окнами. Они по-прежнему были раскрыты, и в них полыхало, дышало грозovým озоном и мокрым ветром. Было сумрачно-свежо здесь и темно там. И это так сочеталось с глухим гулом ливня. И все так же библейски вспыхивало, дрожало там по-фронтóвому страшно и по-мирному величаво. От окна дуло, но я никак не мог отойти от его сеяных дождевых брызг и запаха промоклого тополя. В конце концов я решился, вы-

шел из класса, бегом спустился по лестнице в вестибюль, на крыльцо. Живая стена дождя шумела, низвергалась передо мной. Скворчало с потоков под желобом. Ливневая стена. Зачем-то я снял пиджак, готовый кинуться в нее, как пловец в бурлящую воду, даже хотелось туда, скорее, в темень, в мокроту, в гром, чтобы облипла рубашка и текло по телу, чтобы сняло, смыло, сбросило нечто, так долго мешающее мне быть самим собой.

— Алеша! Куда вы? В такой дождь!!

Она стояла в дверях, и я не мог разглядеть ее лица.

— А тебе-то что? Иди, танцуй... — грубо вырвалось у меня.

— Алеша...

И вот моя рука снова на ее спине, живой, прогнутой, с косточками лопаток, — и больше нет ничего, кроме музыки и запаха ее платья...

— Я хочу пить, — сказала она.

Мы вышли в буфет, у сонной толстухи-буфетчицы спросили бутылку воды.

— Нету. Вот пиво пейте, — подала она бутылку рижского, один стакан и снова задремала на табуретке.

Мы посмотрели на ее пустынное лицо и переглянулись.

— Одним? — спросил я. Лида кивнула и засмеялась. Я подал стакан.

— Пей.

— Нет.

— Пей, я потом.

Мы выпили ее в четыре приема — пивную бутылку на двоих.

Гроза еще буйствовала за окном, зажигая голубые сполохи и свету. По-прежнему танцевали в сумрачном классе. И если бы кто-нибудь спросил меня, я бы сказал, я бы ответил, что такое счастье. Счастье — это вечер, который никогда уже не повторится ни одной своей минутой, счастье — понять вдруг, что целый год ты был не один в своих мыслях и кто-то думал о тебе днем и, может быть, тоже ночами, когда так хорошо думается и так плохо спится. Счастье неодинокства, как безмерно ты больше одинокого полынного раздумья. Я думал, что счастье даже эта ночная гроза, так прекрасно и неожиданно пришедшая. Счастье... Долгое ты или короткое? И я вдруг понял — не может оно быть долгим, иначе бы его совсем никогда не было...

Уже светало, хоть дождь все лил и лил. Все расходились куда-то, разбегались, исчезали.

— Пойдем,— сказала она. Я пошел за ней под двусмысленные взгляды.

Дождь хлестал в серых сумерках по серой земле. Мокро, рассветно шумел тополь. По асфальтовой узкой дорожке плыли и лопались пузыри. Сильно пахло грозой, водой, летом. Временами небо растрескивалось, освещалось, и мы бежали куда-то вдоль заборов и карнизов, становились под чьи-то ворота.

Я держал ее за мокрые плечи.

Я слышал ее легкое сильное дыхание.

— Ты придешь?— спрашивал я, не соображая даже куда, зачем и как она пойдет.

Мы добежали к воротам ее дома, остановились, и снова я спрашивал.

Она упрямо смотрела в темноту ворот и молчала.

— Ну что же ты молчишь?!

— Не знаю... Ведь у тебя семья...

— Да... — Я даже не понял, что девочка впервые ясно назвала меня на ты. И что я мог ей ответить? Сказать, что за одни ее мокрые растрепанные волосы, за одни худые косточки ключиц и добрые глаза я готов искать и ждать ее вечно. И что я буду, буду искать ее. Или сказать «значительные» слова? Или солгать?

— Все теперь...— обронил я, чувствуя: вот оно кончается, мое счастье.

— Молчи. Не надо...

Теплые губы вдруг прижались к моим, ткнулись в щеку. Она убежала, прыгая через лужи.

Я стоял и смотрел ей вслед.

Потом я посмотрел на покосившийся столб ворот. «Юра» — перочинным ножиком было вырезано там по щелястому коричневому дереву.

Незаметно рассвело.

Низкие растрепанные тучи еще роняли редкий дождь. Земля была мокрая и хмурая. Ярko зеленела в канаве налитая водой трава. Пониклый кустик у ворот стоял весь седой, серебряный, вздрагивал, плакал светлыми каплями. Я вышел на дорогу, всю в глазовинах ветреных луж. Ветер и дождь не стерли следы Лидиных каблучков. Я думал о ней, убыстряя шаг, подставляя лицо дождю.

Я знал, что больше она не придет...

Глухомань

С охоты я усталое шел по склону увала заброшенной тропой. Она то вовсе скрывалась под слоем прошлогодней листвы и хвоинок, то снова обозначалась, проступая в сырых местах неглубоким лотком. Неторная, неизвестно кем протоптанная лесная тропа. Время от времени на влажной земле замечался след лосиных копыт, охристые кучки тетеревиного помета попадались одна за другой, а возле снеговой мочажины ясно отпечатались ступ комковатой волчьей лапы, поражающий воображение своей величиной.

Апрельский вечер. Справа за сквозной осиновой чаще стынущим золотом просвечивает солнце. Желтые пятна заката ощутимо ползут по стволам сосен, от темных подножий к бронзовым вершинам. Пахнет холодной сырью, болотным туманом, недотаявшим снегом.

Лес чернел и синел, становясь все более отчужденным и строгим. И я снова дивился той перемене, что происходит в лесу в вечерний час. Только что поляны, опушки и вырубki мирно зеленели под сереньким небом, но вот свечерело и уже каждая елка замкнулась в себе — стоит чужая и хмурая.

Я шел, перешагивая колодины, обходя валежник, и прислушивался к вечерним голосам. Птицы пели в одетом лесу кругом, пели, сменяя и перебивая друг друга. Где-то торопливым нестройным раскатом захлебывался лесной конек и обрывал песню истошным стонущим пискom: «вси, вси, всии...»

Булькающие рулады выводил дрозд-белобровик, словно апрельский гулевой ручей скатывался, журча, в глубокий овраг. Задумчиво, по-вечернему, распевали зяблики в закатной позолоте сосен, внизу, в ельнике, юрчал выюрок. А время от времени, прорезая эти привычные уху голоса, из лога слышалась сыпучая серебряная трель. Она обрывалась так же внезапно, как начиналась — будто кто-то невидимый, прячась за елями, вдруг вскинул над головой, потряс звенящий ликующий бубен да тут же и прижал его испуганно к груди...

Так пела зорька.

Увидеть краснозобую черноглазую птицу было невозможно. Она шмыгала среди бурелома и валежника,

ловко пряталась в хвое, лишь мелькнувшей тенью обозначая свое место, и снова пропадала бесследно.

Лес жил обычной чуткой напряженной жизнью. Она особенно заметна по ранней весне, когда все живое пробуждается, начинает дышать, ползать и летать, поет, стрекочет и квакает, являет на свет свои самые яркие одежды.

Я чувствовал, что лесу совсем не до меня сейчас, когда каждый голый побег, нагая осина и каждый лист на тропе по-своему входят в эту великую бесконечную жизнь, несут ей свою посильную лепту.

В изгибах тропы стояли мелкие лужи. Бородавчатые жабы, величиной с кулак, неловко выползали из них. Заслышав шорох шагов, жабы пригибались и замирали, глядели желтыми замороженными глазами.

Я был чужеродным телом в этом лесу и все острее чувствовал, как лес не замечает меня, обидно и спокойно. Где-то сейчас движется сок, корни пьют снеговую влагу; где-то раскрываются желтые подснежники; бродят лоси, хрупко обкусывая осиновые побеги; болбочут тетерева по непросохшим полянам; и сизо-мрачный глухарь, гуляя по суку высокой лиственницы, скрипит, подставив бронзовую грудь теплему свету заката.

Никому нет дела до меня. А мне так хочется войти в простую и мудрую лесную жизнь — знать, о чем закричали нарядные белобрюхие гоголи, с треском слетевшие со снеговой мочажины, и что знают синие медуницы, там и сям цветущие над безжизненным дерном. И я остановился, прислушался, тая дыхание, к гулкому перестуку сердца, — казалось, вот-вот произойдет что-то и я пойму вдруг каждый лесной звук так же обыкновенно и просто, как понимает волк, глухарь или тот крапчатый дрозд-белобровик, что по-прежнему монотонно и торжественно повторяет свою вечернюю гамму...

Но лес оставался тем же простым и загадочным. И, подняв суму, накинув ремни на ноющие плечи, я зашуршал по склону, спускаясь в лог.

Он чернел под горой непролазным ельником, вперемежку с пихтами и белыми мазками берез. В летнее время здесь едва струился ключевой ручеек, который перешагнешь не глядя в любом месте. Зато теперь на теклину было страшно смотреть. Широкий поток талой воды лизал стволы елей, шумел и клокотал, крутил воронки бешеной пены и неся в прогалах стволов, как

настеганный. Ели стояли по пояс в воде, опустив в поток нижние ветви.

Во что бы то ни стало мне нужно было перебраться на другую сторону — там продолжалась тропа.

Я попробовал перейти логовину вброд. Ступил осторожно, осязая под сапогом скользкий лед, — и словно холодные руки водяного сдавили голенища. Дальше было глубоко...

Когда я проходил здесь три дня назад, было холодно и ручей в логу бежал тихо. Теперь же теплом стронуло снег с северных склонов увала. Лезть по грудь в талую воду мне не очень хотелось, и я двинулся вверх по течению в надежде сыскать удобное место для переправы. Я шел и шел, забираясь на северный склон горы, лес глух, под ногами шуршал зернистый снег, а в логу по-прежнему широко и буйно катилась вода.

Между тем совсем свечерело. Молочный туман вдруг пополз из ельника, будто кто-то зажег там невидимые костры и ленивый их дым начал пробиваться сквозь ветви и вершины. Туман стлался над водой, отдалял противоположный берег. Надо было спешить, чтобы засветло разыскать тропу.

Я потоптался на берегу, поглядел на противоположную сторону и, выбрав место поуже, шагнул вперед.

Сперва все шло хорошо: я нащупывал дно и двигался, держась за стволы и ветки, но, когда до берега осталось несколько шагов, ноги разом оступились и я ухнул в стремительную воду, рывком выскочил на берег и замер, как в столбняке, — так холодна показалась вода, плескавшаяся в сапогах.

Прошло не менее нескольких минут, пока я обрел способность размышлять, и первая мысль была: «Все-таки перешел...»

Двигаясь словно во сне, я вылил воду из сапог, кое-как отжал брюки и надел все это сырое, холодное, до озноба липкое.

— Идти скорее... Скорее... Идти скорее, — бормотал я вслух, приказывая самому себе. — Идти скорее...

Теперь я уже не прислушивался к лесным голосам, а быстро шел по сыпучему серому снегу вниз, в поисках тропы. Вспугнутые рябчики гулко взлетали поблизости. Мне было не до них. Я совсем не испытывал желания слиться с лесом, какое было там, на склоне горы.

— Скорей, скорей! — твердил я, пробираясь сквозь

упругие поросли елок, спотыкаясь о тухлые стволы, отводя от глаз хлесткие шершавые ветки.

Каким жутким казался этот темный лог в клочьях сырого тумана, в молчании пихт, которые казались оцепеневшими и ждущими чего-то... Бурелом, темные лбы валунов, сизая ветошь мхов на стволах и сучьях — все говорило: «Уходи! Уходи скорее! Ты не наш... Тебе незачем здесь быть...»

И я уходил.

Когда в лесу начинаешь торопиться, он словно хватается за тебя. Ноги то и дело проваливаются, задевают за корни, скользят на колодах. Ветки стегают по лицу, а каждый прямой сучок норовит ткнуть в глаз, ободрать кожу или вцепиться в одежду.

Хлюпая по воде, шурша в снегу, я шагал наугад, стараясь не потерять шум текущей воды. Лес как будто поредел, стало светлее, зато начал попадать ветровал. Огромные выворотни, словно пасти с кривыми зубами оборванных корней, стояли тут и там.

Вдруг мне показалось, что я не один. Как-то подсознательно почувствовал это я, прежде чем увидеть, и тотчас увидел. Что-то большое, темное, мягкое зашевелилось у подножия выворотня, приподнялось над ним, молчаливо и жутко. Я различил округлую голову и очертания узких плеч. Я не видел глаз, но понимал, что они есть, смотрят на меня в упор острым и пронзительным взглядом.

Кто же там? Человек? Зверь? Леший? Привидение?

Ружье само вжалось в плечо, палец дрожал на спуске. Я удерживался от выстрела.

«Вдруг человек? Пусть черт, дьявол... а все-таки человек?!» — металась нелепая мысль, а по спине так и драл жаркий озноб.

Длилось это не более двух секунд. У головы развернулись плечи, блеснули глаза — большая птица бесшумно взмыла с корня, пропала в елях.

«Неясыть... а то филин», — вздохнул я, опуская ружье. И вот все встало на свои места: ельник, снег под ногами, усеянный обломками сучков, выворотни. Даже сама темнота не казалась такой настороженной и страшной.

Снова торопливо шагаю вперед, клонюсь к земле, чтобы различить наметку тропы. Вот она! Над поверхностью мокрого снега тропа возвышается грязным мо-

стком, и чьи-то крупные следы на ней, подтаявшие сбоку, еще заметны, как цепочка островков.

Я обрадовался этой тропе, как надежному другу. Всегда так: дорога в глуши успокаивает, напоминает о людях, протоптавших ее, и, словно огонек, греет душу, усталую от нелюдимой лесной немоты.

Через полчаса я отдыхал на сухом склоне, курил, поглядывал вниз на оставшийся черный лог. Там было совсем глухо. Лишь макушки самых высоких елей чуть теплились в отблесках зари. Сонно бормотала вода, и целый хор дроздов мелодично насвистывал и улюлюкал, возбужденный ее говором.

Отдохнув, я тронулся по тропе, забирая вверх по склону. Места открывались совсем знакомые, различные даже в сумерках. Вот длинная ровная просека, словно прорезь в черном лесном массиве. Вот старая вырубка с грядой густого и ровного осинника. Слабая заря еще светит далеко за ним, за спящими хвойными увалами.

Сейчас будет каменистый уклон, потом дорога пойдет вдоль гребня горы, вспоминал я, а там лежит спиленная кем-то неохватная лиственница.

Неизвестный дровосек пожадничал, спилил самую высокую и толстую красавицу. Разрезал ее на четыре огромных бревна. Да так и не сумел вывезти. Я всегда завертываю с дороги посидеть на этих стволах, голубых и замшелых, но еще звонких, не подверженных действию гнили. Известно, что лиственное бревно и в воде не гниет. «Все ли они лежат на месте? Ведь я не ходил по этой тропе не меньше пяти лет!» — гадал я.

Здесь, конечно! Вот они! Все так же лежат на склоне, только, пожалуй, немного вросли в землю. На них не то что сидеть, но и полежать можно. Еще мальчишкой приходил я к ним с отцом. Здесь мы варили кашу, пили наваристый чай из закоптелого котелка, отдыхали, разув на сухой траве натруженные дальней ходьбой ноги. Не было тогда ни просеки, ни вырубки, ни этого, словно сеянного дождем, осинника. Лишь лесная дорога-тележница блукала с увала на увал. Теперь заросла дорога, не найти следов. Одни лиственничные кряжи остались на месте, как четверть века назад, и, как сейчас, я помню вязанки тетеревов и рябчиков, разложенные на них, помню и глухарей, убитых отцом. Однажды оставили мы на бревнах хорошую собачью цепь. Оставили и

вернулись сюда уже после войны, лет через семь. Цепь по-прежнему лежала так, как была положена, только вся пожелтела от ржавчины... И хоть надо было спешить, я не мог уйти отсюда. Сел, положил в сапоги сухие стельки из прошлогодней травы и листьев, прислушался к храпу пролетающих вальдшнепов.

Шла первая апрельская тяга. Вальдшнепов было много. Смутными дрожащими силуэтами проносились они взад и вперед в отблеске синеющей зари. Пролетал один, а на смену ему уже мчался новый.

— Цвик, цвик, цвик,— раздавалось то справа, то слева.

Я не поднимал ружья. Стрелять впотьмах совершенно бесполезно. Сбитая птица падает в чащу густого осинника, словно камень в глубокую воду. Да и не хотелось омрачать выстрелом лесную тишину и темень.

Выстрел! Я не люблю его пугающе гулкий звук, снопа блескучего огня и запах пороха — кислый и серый,— он долго не рассеивается, путаясь в кустах и меж стволов.

«Летишь — и лети», — довольно и мирно подумал я, когда новый долгоносый кулик молчком выпал из-за черной ели и, едва не ткнувшись в мою фуражку, испуганно взмыл вверх.

И понемногу опять овладело мной чувство теплой близости к этому лесу, густому осиннику, одетому мраком, и каждому кусту на склоне, где бродил и толкался беспокойный весенний ветер.

Торфяник

Болото. Скажешь — и одному припомнится зыбучая трясина, провалы с застойной торфяной жижей, другому — зелень сырых лужаек с невысокими елками, с обломками гнилых берез, иному — неоглядная камышовая топь.

Болото... Страна лягушек и осок, невнятных шорохов и чистых птичьих голосов... Я расскажу вам про эту страну. Я бывал там часто и полюбил ее.

Болото начиналось сразу после загородных улиц. Последние кривые домишки смотрели прямо на него. Это был заброшенный торфяник. Разрабатывался он лет тридцать назад и с тех пор зарастал, год от году становился глуше.

В залитых дегтярной водой разрезах дремуче рос тростник и рогоз, лягушатник пустил по воде свои плавающие сети. По сухим горбоватым релкам густо поднимались осинник, березы и ольхи, кое-где оттененные кривыми сосенками с яркой и светлой болотной хвоей.

Глушь и дичь на таких релках. Черемуха, ива, хмель, выюнки и неизвестно почему растущая тут высокая крапива образуют сплошную цепкую зеленую ткань, через которую невозможно пройти иначе, как прорываясь и продираясь с живым треском, хрустом и шелестом.

Через десяток метров, покрытый ссадинами от сухих ветвей, ошпаренный крапивой, изъеденный клубящимся полчищем голодных комаров, начинаешь отступать, и путь назад так же тернист и труден, как продвижение вперед. Зато в таких вот дремучих углах водятся не очень известные уральцам соловьи, и повидать их, пожалуй, стоит.

Соловей — птица угрюмая, живет скрытно, петь любит по немым ночам, на белой заре. Оттого, знать, сложилось ходячее мнение: «Соловьи у нас не живут, холодно им. Вот на Украине, там их как воробьев... по вишням гнездятся десятками».

А гнездятся соловьи на земле.

Есть на торфяных релках широченные сухие кусты — дромы. Получаются они оттого, что хмель и выюнки душат живой куст. Он засыхает на корню.

Дром — самое соловьиное место. Соловей в таком кусте шмыгает, как мышь, — не скоро его заметишь — и чувствует себя в полной безопасности. Часто подпускает он наблюдателя метра на два, и неизвестно пока, кто удивляется больше — человек доверчивости птицы или соловей терпению человека, облепленного роем комаров.

Не шевелишься. Обрадованные комары поют и зудят, щекотно ощупывают шею, лоб и виски, примериваясь, куда бы лучше вколоть хоботок, а птица сидит тихо, в упор глядя круглыми черными глазами. В них нет страха — одно добродушное любопытство и словно усмешка.

Посидев молча, соловей начинает поводить хвостом вверх и вниз, вкрадчиво приговаривая: «Каррр... каррр... каррр...» Ну что, мол, ты ждешь? Спеть, что ли?

Замрешь — и птичка вдруг начнет выкрикивать свою звучную, щелкающую, рокоющую песню. Трепещет ее серое горлышко, вибрирует язычок, вздрагивает рыжий хвост, глаза же смотрят загадочно и напряженно. «Что? Каково?» — чудится вопрос.

Бьет в уши, зачаровывает до дрожи удивительный звучный голос... Но один неосторожный шаг, приближающий на недопустимое, по соловьиному мнению, расстояние, и птичка смолкает, легко спрыгивает в чащу ломких ветвей, облепленных серебряными лишайниками, и растворяется там. Редко промелькнет ее охристая спинка, да меланхолическое «фи... фи...» говорит, что соловей поблизости, ходит, кормится, ворошит листву...

Здесь я увлекся — ведь рассказ-то идет о старом торфянике. Но, посудите сами, какой же торфяник без соловьев?

Особенно тянуло меня сюда по весне, не то чтобы соловьи привлекали, а просто для каждого времени года были у меня любимые места. Весной — болота, летом — река в лугах, осенью — лес, зимой же все помаленьку.

Уже с ноября торфяник мертвенно пуст, завален безмерными снегами, ни звука, ни движения. Разве что стайка снегирей пролетит да вылезет из камыша удивительная птичка — белая лазоревка с голубыми крыльями и синими полосками через глаз. Но лазоревки редки.

И вот бредешь километр за километром по сыпучему снегу, слушаешь снеговую тишину, а сухой шелест белесых тростников лишь дополняет впечатление омертвлости.

Не так хорошо болото и в летнее время. В однообразной дремучей зелени релок есть что-то удручающее. Птицы не поют, их не видишь, хотя чувствуешь, что кусты полны осторожного птичьего перепархивания и какой-то скрытой, неведомой глазу жизни.

Осенью пролетные стаи держат ближе к полям, опушкам и перелескам и тянутся над торфяником высоко. Зато весной не бывает места лучше заброшенного торфяника.

Я приходил сюда, когда снег начинал сереть и льдистые корочки-блины хрупко ломались под ногами. Кончался март. Теплело. И робкое дыхание новой жизни уже пробивалось там и сям. На дупловатых гнилых ивах ползали маленькие расписные дятлы со спинкой, словно вырезанной из бересты. Сухие камыши, обласканные солнцем, золотились тепло и весело. Уже пахло снеговой водой, и первые проталины просовывались по буграм. Они появлялись всегда неожиданно. День-два назад лежала плотно метровая голица сырого снега. Казалось, таять ему и таять, а вот «хруп» — нога ступила в сырую мякоть земли. И как же хорошо почувствовать эту землю после месяцев снежной зимы, — наверное, матросы Колумба вот так же радостно вздыхали, увидев желанные берега: «Земля! Наконец-то земля!»

В ясные апрельские полдни, когда все разом темнело, будто от первого загара, весь торфяник дрожал и переливался в блеске, в сиянии бесчисленных ручьев. Как ослепительно играло, дробилось в них внешнее солнышко! Как живо и весело голубела вода. И ступая по этим расплесканным небесам, по облакам, плывущим подо мною, и перешагивая через тысячи тысяч солнц, я готов был кричать:

— Где вы, художники? Где же вы, импрессионисты?! Почему не пишете такое пронзительно-лазоревое небо, сизый снег, голубые ручьи, синий пруд за краем торфяника и теплый кобальт лесных увалов, далеких и неясных?

А по обсохшим буграм уж перелетают жаворонки. Их не вдруг замечаешь — так сливается перо с блеклым и ржавым сухотравьем.

Идешь, идешь, пока не услышишь мелодично-тревожное «ти-тюри...».

Жаворонок выбежал на кочку. Стоит, удивленно подняв треугольный хохолок, будто воин в шлеме на

древнем кургане. Вижу его крапчатую грудку, его дикие черные глаза и думаю, что такие вот невзрачные птички видели орды печенегов и половцев, это они звенели над головами русских ратников, идущих навстречу неведомому врагу. Жаворонки... Серые жаворонки! Без вас не проходит ни одна весна, без вашего голоса над полями нет русского лета, и даже через столетия, когда люди забудут смысл слова «война», когда помолодевшая земля невиданно расцветет, над ней все так же будут петь жаворонки, высоко в небе, на теплом ветру.

Без птиц торфяник показался бы голубой пустыней. Но их голоса сплетаются с говором ручьев, с тихим звоном воды, им радуешься, как вестникам солнца и весны.

Вот маленькие реполовы с красными печатками на атласных грудках. Они присели отдыхать на провода. И грустно-радостно льются их песенки. В них найдешь тихую печаль пасмурного дня, блеск ручьев, холодный ветер, северные елки, любовь и тоску — да мало ли что еще...

Не знаю, отчего композиторы не пишут музыку с птичьих песен, почему не слушают песенки птиц так же торжественно-благоговейно.

Вместе с жаворонками на сухих буграх появились самые простенькие весенние птицы — камышовые овсянки.

Они похожи на воробьев. Неопытный человек как раз спутает. Только голова у них в черном капоре да белым ошейничком щеголяют самцы. Овсянки эти смирные. Идешь по гребню бугра, а птичка копошится на тощем весеннем дерне, выбирает мельчайшие семена и, жалко поглядывая, тихонечко тянет: «тсии... тсии... и... и...»

Мне думается, она говорит:

— Проходите, пожалуйста... Не спугивайте меня. Я бы слетела, уступила дорогу, да уж очень есть-то хочется... Проходите, пожалуйста...

Когда много бродишь по лесам и жизнь твоя идет вместе с пролетными стаями, березами и полевыми ветрами, начинаешь помаленьку учиться тому удивительному языку, простому и мудрому, каким говорят птицы, лопочут листья, шумит вода, скулит ветер. Вот так же приезжает человек за границу, кругом все незнакомое, непривычное: дома, улицы, люди, одежда и речь. Кажется, никогда не привыкнет, а поживет, послушает, — глядишь, понимать начал и сам заговорил.

В лесу и в поле учишься по складам, многократно повторяя. Зато уж на всю жизнь запомнишь, если говорят сороки: «кук, крэк, крэк», значит, у гнезда болтают, так себе, обсуждают, чей хвост длиннее; а если стреко-чут: «ка-ра-га-ча-ча», — значит, человек где-то поблизости идет.

Ранней весной все на болоте голо, просто, убого, — как проста и убога всякая рань вообще. Наверное, земля наша на заре времен была такой же простой и скудной.

Одни вербы стоят в канавах, как невесты, готовые к венцу. Дышит холодом сибирский ветерок, безжизнен-на желтая снеговая вода, но во всей этой наготе, голости, неустроенности чувствуется что-то юное, чистое, робкое, еще не начавшее формироваться, но уже готовое к чему-то высокому и светлому. Так в угловатой нескладности девочки-подростка вдруг замечаешь черты удивительной женской красоты...

...Дни бегут. И неуловимо меняется облик торфяни-ка. Уже не так безотрадно смотрят голызины ветвей в полдневную синеву, а серая щетина ивняков вдали чуть зеленеет размытой акварелью. Золотыми веснушками мать-и-мачехи осыпаны торфяные бугры. Цветет калу-жница вдоль канав, зелеными ежами сделались кочки. Словно сбросила весна голубую хламиду, осталась весе-лая, в зеленом сарафане.

Скворцы всюду. Они свистят по ветлам, бормочут на остожьях, скрипят по телеграфным столбам, мяукают и взвизгивают на дальних скворечнях, в такт прихлопывая опущенными крыльями, словно перед тем, как пуститься в пляс. Они пасутся в осоке, глянцевито чернея, бродят между кочек. Они шуршат в тростнике и проносятся над головой острокрылыми черными стрелами.

Бекасиным блеянием туго гудит вышина. Чибисы с унылым изгибом странных крыльев выются над непри-ступными кочками. На все голоса чисто и мелодично звенит пролетная куличья станица. Плаксиво и призывно канючит коршун: «иррр-а-а-а,... ирр-ра-а-а-а!» Кажется, что потерял он какую-то Иру и вот летает, кружит, ищет — не может найти.

Две беленькие трясогузки с тревожным чиликаньем сопровождают хищника. Выются вокруг, залетают вперед, бесстрашно шмыгают у самого клюва. А коршун, зная, не хочет их ловить, махнет раз-другой изогнутыми крыльями, плывет дальше, покрикивая свою Иру.

А я задумываюсь: может быть, правда у коршуна есть такая подружка? Почему бы не зваться ей Ирой. Имя самое модное. А то, что все коршуны кричат одинаково,—сущий пустяк. Ведь даже мы являемся жертвами моды, и уж если пойдут у нас все Светланы и Наташи — так нет им ни числа, ни края.

На болотную жизнь смотреть надо не торопясь, вдумчиво и пристально. Лучше всего медленно идти, выбирая дорогу посуше, или лежать на теплом дерне, следя за плывущими облаками. Тогда словно чувствуешь движение земли, ощущаешь, как она, огромная, медленно и весомо поворачивается к солнцу, и вместе с нею поворачиваешься ты сам.

Сладко греет солнышко, пряным дурманом кадит разомлевший багульник, и сыро пахнет оттаявшей землей и высыпками молодой травы.

А на сухие полянки среди болота слетаются гривастые кулички-турухтаны. Сперва петушки стоят друг перед другом нахохленными турманами, в глубоком раздумье. Но солнце греет, весна пьянит, кровь шибает в голову, и, раскинув дыбом цветные воротнички, они налетают друг на друга — только перо трещит. Рыжие кроткие самки смотрят на турнир, с женским любопытством вытягивая шеи.

Звенят жаворонки, поют коноплянки, в воде что-то булькает, всплескивает, возится. Смотришь — толчками плывет зеленая лягушка. Прекрасный стильный брасс.

Коричневый гладкий плавунец с разлету щелкнул о воду, кружит по поверхности, не может нырнуть в глубину — слишком пересох за долгую зиму. Сухие водомерки конькобежцами скользят по голубому зеркалу воды, любят длинные носы. Трудолюбивый водяной паук вяжет в травах свой серебряный подводный купол. А там, у поверхности, оранжевый, синий, пятнистый, стоит тритон. Едва шевелит драконовым хвостом, поднял фиолетовый зубчатый гребень, холодные глаза, как две маленькие луны. Удивительное сочетание прекрасного и отвратительного в одном и том же.

Еще неделя — и загремят над болотом лягушачьи хоры, залают матерые голубые квакуны. И верится, послушав вечером весь этот гам и стон, что есть такая лягушачья страна и живет там волшебная Лягушка-царевна.

Весной на торфянике надо бывать часто. Не то проглядишь, как вспыхивают и гаснут короткие весенние чудеса. Они возникают всегда неожиданно. Сегодня — нет, завтра — на тебе! Приходишь сегодня и видишь, как у берега пруда кружат стаи больших морских чаек. Рань и холод. Стылым розовым диском приподнялось солнце. И птицы выются в красном свете над лиловыми волнами, тоже розовые, как дети самой зари. На завтра уж иная заря красит тучи, иные голоса звучат в вышине.

Идешь зеленеющими ивняками — и вдруг выскочит на таловую макушку встрепанная птичка-голубогрудка. Раскрыв хвостик веером, зазвенит, как тонкая гитарная струна. Варакушка. Глядишь на нее, бормочущую на ледяной уральской заре, и удивительным кажется, зачем явилась она сюда, за тридевять земель, из Южной Африки. В пути стерегли ее ястребы и соколы, снежный ветер сбивал с пути, и земля, закрытая снегом, была голодна и неласкова, а она летела и летела прямо на эту релку, к таловому кустику, под которым вывелась из пестрого яичка, летела — несла немудрую песню северному солнышку дорогой родины...

А вот и май! В зеленом ситце идет весна. И торфяник оделся. И уже цветет по топам ядовитый белокрыльник, и белая кувшинка — нимфа — раскинула по чистой воде свои листья-ладошки. Ее волшебные цветы раскрываются на заре, когда все так кротко, свежо и непорочно-чисто. В ней есть что-то девичье, и сами кувшинки, как нижние юбки девушки-чистюли. Они невиданно хороши, когда солнышко едва улыбается спросонок за ивняками и веселая золотая пыль сеется сквозь вершины кустов на розовую воду, на лицо и траву. Соловьи аукают на все голоса. Их свисты словно дробятся по глади воды, отражаются ею.

— Вит-тю вид-дел? — неожиданно громко спрашивает с березки красная птичка. И пригнувшись, ждет ответа.

— Видел, видел, — говорю ей. — У нас во дворе живет... Озорник парнишка.

Чечевица же, не удовлетворяясь ответом, спрашивает снова, пока ей не надоедает. А я как зачарованный смотрю на ее карминовый хохолок, малиновую грудь и густо-красную спинку. Брюшко птицы сияет белизной. Но разве вся весенняя красота — в этой пичуге из Индии, одетой в кардинальскую мантию? А стволы берез?

А вода? А желтые пуховики на ивах? А слабенькие незабудки, словно детские глаза весны? А великолепные птички-дубровники с кофейной головкой и медовой золотистой грудкой? Когда я поймал одну такую и показал изумленным любителям, многие отказывались верить, что живет она на старом торфянике.

— Врешь, брат, врешь... Из Москвы, поди-ка, а то еще подальше откуда привез,— было единодушное суждение...

Целый день, не зная устали, бродишь и бродишь по узеньким релкам.

Кто только не встретится тебе. То перебежит дорогу рыженький узкий горностай с тощим линиялым хвостиком. То серая гадюка приподнимет из травы треугольную свирепую голову, засипит, поплеываясь черным язычком, то вылезет на пенек крошечная, как наперсток, землеройка-малютка, то попадется на кочке дупелиное гнездо с грушевидными крапчатыми яйцами. И для тебя поют соловьи, сверчками стрекочут неугомонные камышевки, тебе квакают лягушки, скрипят коростельки и улыбаются бледные болотные цветы.

Вечереет. Едва волочишь усталые ноги. Уж равнодушен ты к земной красоте, и ничего не хочется, кроме как поесть и спать. А пробежит день-другой, без следа испарится усталость. И, как прежде, потянет туда, в нехоженные дали, где лес твой, и травы, и небо твоё, и солнце, и птицы, и жизнь.

Лешева дудка

Синяя свежая ночь. Черемуховые кусты у воды. Ни шороха, ни звука. И вдруг удивительное: будто стонет черная желна, угукает филин, вопит неведомая лесная нечисть и тут же русалочьим смехом, дивным свистом перемежит, раскатится, разнесется и замрет.

— Иди... иди... иди,— зовет кто-то.

— Чо-чо-чо-чо-чо,— заговаривают темень кусты.

— Угу-гу-гу-гу...угу...

— Чо-чо-чо-чо-чо,— отзывается темный берег.

Соловьиные места. На Урале они располагаются по ручьям и сырым займищам с высокой, еще не подкошенной в июне травой. Особенно богаты соловьями мелкие речонки с насквозь видным галечным и песчаным дном, плутающие в распаханых полях, меж ложков и оврагов.

На черноземных берегах рек растет урема — тихие кусты раkitника, кое-где размеженные березкой или вечно лопочущей осинкой. Но главным образом берега речонки застилает черемошник. Черемуха, черная и гибкая, весной немилосердно обламываемая любителями ее горько-пахучих цветов, забелевших в майском пасмурном холоде, а летом, сплошь осыпанная гляncем вяжущих ягод, она дает такую буйную корневую поросль, через которую ни пройти, ни проехать, разве как-нибудь проломиться к воде. Часто по ее прямостоячим побегам ползет и вьется северный хмель, выюнки висят лешачьи бородами. Зубчатолстая жальница-крапива стережет и пугает всякого.

Листья, выюнки, крапива и хмель... Тут полным-полно насекомых. В зеленом сумраке порхают стрекозки, голубянки роятся и выются над солнечным пятном. Глубь уремы полна темнотой, и не скоро заметишь там соловья — душу зеленых дебрей, их голос и сказку.

Соловьи прилетают не так уж поздно в сравнении со всякой южной птицей. Еще до распускания первых листьев являются они в любимые места и в холодную погоду совсем не оказывают себя. Не поют. Самых ранних соловьев видал я восьмого мая. Тихонько перебежали они в голом черемошнике, быстро скрываясь из глаз.

Числу к 11—15-му мая соловьи начинают петь, спер-

ва робко и немного, на первой заре, а чем теплее станет, тем дольше. Идешь соловьиной речонкой, полями, и вдруг защелкает в береговых кустах.

Екнет сердце охотника. Прилетел... И слушаешь, слушаешь его. Знали бы вы, как хорошо услышать первого соловья! Сколько морозных дней прошло, сколько снегов, сколько зимней тоски!

Весна гуляет по земле. Жаворонки поют, поют над полями. Еще рано. Нет солнышка. А уж светло, свежо на востоке. Редкий туман жметя в низинки. И пахнет холодом, и проснувшейся землей, и сырой, обомлевшей за ночь, травкой, и светлыми черемуховыми почками.

Самого соловья не увидишь. Он сливается в кустах с ржавым тоном жухлой листвы и коричневой корой веток. Разве что перелетит, тогда обозначит себя. И странно, сперва заметишь дрогнувшую ветку, а уж потом неясную тень птицы. Прoberешься в чащу, тихо сидишь в уреме, следя за соловьем.

Птичка крупноватая, но поменьше певчего лесного дрозда, рыжая сверху, сероватая с грудки, лупоглазодивленная и очень изящно, благородно точеная, перебегае по земле, быстро ворошит клювом листьа. Иногда она стремительно схватывает что-то. Останавливается, насторожив голову, красиво поворачивая хвост вверх, вбок и вниз. Она поглядывает на меня, точно прикидывает: опасно? Нет?

Видимо, решив, что большой беды не случится, соловей принимается за прерванные занятия.

Я проверял не раз, что ищут соловьи под опавшим листом. Разгребал его осторожно и всегда находил желтых твердых личинок жуков-щелкунов, тех самых, что удивляли нас в детстве умением прижимать усы, прогибаться и подскакивать с легким щелчком, едва перевернешь их на спину. Всякому, кто копал полевою картошку, знакомы эти личинки-проволочники, насквозь буравящие гниловатые клубни.

Время от времени соловей издает негромкое «фи... фи... фи...», а когда настораживается, слышен глухой и приятный храп «кrrrrr... кrrrrr...».

Но вот птичка «насбиралась», легко порхнула на удобный сучок. С минуту соловей сидит в задумчивости, взъерошив перо, точно великий певец, которому давно нет дела до слушателей, и он, не стесняясь их, задумался попросту: что бы исполнить сейчас?

И вдруг такое ясное, звучно-глубокое «фью-у-вить...». Соловей запел. Всегда смешны, хоть небезосновательны, попытки звуками нашей речи передать соловьиную песню. Она так своеобразна; так странно сладки, дики, нежны, необычайны издаваемые птицей высвисты и крики, что трогают до озноба. Особенно если слушать соловья до утренней зари, когда кругом тьма и тишина, а поле, и звезды, и черные кусты тоже слушают, слушают, слушают. Слушают и молчат... Только так узнав соловьев, понял я, как откровение, стихи Алексея Константиновича Толстого, например «Родину». Помните:

Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле.
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле.
Гой ты, Родина моя,
Гой ты, бор дремучий,
Свист полночный соловья,
Ветер, снег да тучи.

Песни соловьев в полную силу начинаются с двадцатых чисел мая. К этому времени на занятые самцами участки прилетают соловьи. Они появляются примерно через неделю, много — через две после прилета самцов и так же внезапно, ибо летят ночью. С первого дня прилета соловей гоняется за своей рыжей, точь-в-точь похожей на него соловьихой, ухаживает за ней. Их постоянно можно видеть вместе. И стоит ей куда-нибудь отлететь, как самец беспокойно кричит и кидается на поиски.

А уже через неделю в самом захламленном, заросшем травой и молодыми побегами месте соловьи строят гнездо. Я не раз находил эти рыхлые, словно наспех свитые из сухих травинки гнезда с розовато-коричневыми яичками. Они помещались то меж корнями черемухи, то под свесом приросших к земле ветвей, даже под кучками сухих, осенью срубленных веток.

Там же встречал я позднее темноватых и крапчатых снизу шустрых соловьят. Уже на девятый-десятый день они убегают из гнезда и шмыгают по уреме, как мыши, помаленьку привыкая к самостоятельности.

Они стерегут и ловят всякую живность, бегающую по теплой листовой подстилке уремы. Они подкарауливают жучков, склевывают пауков, гоняются за мошкаркой и пяденицами и сами могут легко стать добычей горно-

стаев, ласок и хорьков, всегда живущих в такой дебре. Спасает соловьев бесподобное умение прятаться, затаиваться, замирать без движения на минутку и более. Птички делают это часто, и как же трудно различить такого окаменевшего вдруг соловья среди листьев, травы и веток.

Вывелись птенцы. Пение соловьев стихает. Да и одних ли соловьев? Откуковала горюнья-кукушка. Не слышно печальных строк дубровника. Молчит варакушка. Утихли жаворонки в полях. К августу птицы становятся незаметны. Идет линька — трудное время. Всякая птичка норовит укрыться подальше от врагов, а соловья и подавно не увидишь. Только по редкому позывному «фиканью» узнаешь, что они еще тут. А в первые числа сентября ударят холодные утренники и пойдет соловьиный ночной отлет, не известный никому.

В отлетные солнечные дни вспугивал я иногда соловьев прямо дома, в огороде, в малиннике. Они держались всегда поодиночке. Никогда — ни весной, ни осенью — не замечал я соловьиных стай.

Вы не увидите соловья на птичьем рынке рядом с обычными чижами и снегирями. На весь наш миллионный город не наберется и трех охотников, у кого бы жили, а главное, пели соловьи. Слишком трудно содержание нежных птиц для неопытного любителя. Ведь соловей не какой-нибудь зерноядный щегол — коноплю и семечки не ест. Подавай ему муравьиные яйца, мучных хрущей, живых тараканов, и тертую морковь, и вареную телятину, и рубленое яичко вкрутую. Иначе капризная птица петь не станет, а поет соловей немного — месяца два-три в году. Остальное время он молчит, как немой, быстро разочаровывая самых нетерпеливых.

И все-таки я очень любил соловьиную охоту. К тому же тогда я работал в школе, и каждую весну мне хотелось показать ребятам звонкоголосую русскую красу. Иные ведь про соловьев на Урале слыхом не слыхали.

Еще снегом мело в окна, а я уж начинал обдумывать, где буду искать желанную птицу. Перебирал в уме все знакомые речки, торфяники, болотца и мочажины. Везде будут соловьи, да ведь поймать-то надо лучшего из лучших. Молоденькие соловьи-первогодки поют все равно, как молодые петушки, хрипло и бедно. Два-три колена, и все тут. Зато меж старых птиц попадаются — до двадцати колен дают самых невероятных. Мне же еще хоте-

лось соловья не простого, а с лешевой дудкой — есть такое у них дикое и прекрасное басовое колено, будто бы сам леший кричит: «ог-го-го-го, у-гу-гу-гу-гу-гу». Его поют редкие соловьи. Такого на сотню одного не разыщешь. И ловить соловья нужно как можно раньше, с прилета, пока он не загнездился. Соловьиную пару только подлец и браконьер разлучит, да и то понапрасну: все равно птица не запоеет, погибнет скорее всего.

С первых чисел мая начинаешь готовиться. Пересмотришь, перечинишь сеть-лучок. Сто раз попробуешь, как он кроет. Даже ночами не спится. А весна, как назло, едва бредет, то дождичек, то снег подсыпает. После первого мая часты такие озимки. Глянешь поутру — белым-бело, а на черемухе, на тополях почки вот-вот лопнут, и горихвостка на заборе сидит, дрожит хвостиком. Вечерами, а когда позволяет время, и утром, уезжаешь слушать соловьев — не явились ли. Ходишь, ходишь по речкам... Нет. Уже и варакушки поют в уреме, пеночки рассыпают переливчатый голосок. Нет соловьев... Холодно...

Наконец потеплеет словно. Пасмурный такой, темный вечер. Заря уже едва тлеет. И вот он начал!

Дня три бегаешь, не щадя ног, пока выберешь по песне. Редка лешева дудка. Зато услышишь — с места не сойдешь.

Иду я однажды по речке Шиловке и слышу: гремит соловей. Дудку дает удивительную. Вот и другие колена чередом: гусачок, кукушкин перелет, иволга и дроздовый накрик — и все это соловьиной дробью с перещелком покрывается, да как чисто! Стал я его высматривать. Вижу: соловей крупный, статный, на высоких ножках — картинка. И не боязлив. Иные ведь пуганые соловьи на глаза не покажутся. А этот близко подпускает — то в черемошнике гремит, то на ольху вылетит. Заведет раскат, и слышу я, как у него что-то в горле чмокает, точно он воду холодную жадно пьет, не может напиться.

Теперь надо было мне найти место, где он чаще держится. У всякого соловья есть такой любимый куст, обычно сухой, погибший, в который не просунешься без риска выколоть глаза и ободрать кожу. Птичка в нем сидит тихо, отдыхает, чистится, перышки оглаживает. Иногда и запоеет вполголоса, будто портниха за работой.

Долго я лазал по уреме, собирал на одежку жадных

весенних клещей. Их много бывает в мае, в таком вот сыром мелколесье, и попробуй угадай, какой энцефалитный, какой просто безвредный кровопийца. Куст я нашел по кучкам беловатого соловьиного помета. Соловей бегал в кусте и тихонько осторожно каркал, поводя хвостом.

Я разгреб под кустом сухие бурые листья и на влажный чернозем насыпал прикормку: горсть крупных куколок рыжего лесного муравья и мучных червей.

Прикорм на черной земле ясно видно. Птичка находит его скоро. Другой соловей минут через десять бежит к прикорму, машет своим вертячим хвостом. Поклюет — и ставь тогда лучок...

Жду я лешачью дудку, жду. Не торопится. Очень уж мудреный соловей оказался. Поет, бегаёт в кустах, а к прикормке не хочет подходить. Уж я его подгонял, уходил, снова возвращался — все бесполезно. В конце концов он дичиться стал. Хрустнет сучок, и соловей лётom за речку. Улетит и поет там в черемуховой островине, достань его.

Так ни с чем я и ушел. На другое утро до свету еще отправился я на это место пешком. Автобусов нет. Трамваи едва из парка выволакиваются. Километров пятнадцать надо идти. Прибыл я, уж солнышко в полдерева поднялось. Первым делом под куст. Съедена прикормка! Ни одного яичка нет, ни одного червячка. «Уж теперь-то ты, друг, попадешь! Мой будешь!»

Наладил я лучок-самокрой, веревку протянул подальше в ивовые кусты. Сел там и жду. Не слышно что-то «мою» лешеву дудку. Солнышко всю пригревает. Шмели кругом жундят, виснут на желтых ивовых пуховках. Весь ивняк стоит в этой цыплячьей желтизне. И даже в лицо несется липкая нежная пыльца. А бабочки кругом: и траурницы, и крапивницы, и желтушки! Черемухой сильно пахнет. Везде она распустилась. У самых моих ног в сырой тени доцветают высокие синие медуницы. Они уже выбросили шершавые ланцетные листья. И по ним и под ними хлопотливо мечутся муравьи.

«Уж не они ли собрали прикормку?» — испугался я. Сколько раз так бывало.

Вдруг бежит кто-то там по земле. Рыжее в кустах мелькает! Он! Вот вроде бы в точок забежал. Плохо мне видно. Однако надо крыть. Дернул я шпур.

Подбежал к сети. Что за наваждение? Прыгает в

лучке голубогрудый рыжехвостик — самец варакушки, такает с испугу. А неподалеку, гляжу, соловей сидит, поводит хвостом, и вид у него, как у мальчишки, проведавшего о ребячьей засаде.

Поругался я, да делать нечего. Выпустил варакушку. Снова оставил прикормку и ушел с пустыми руками. Вот она птичья охота... И еще через денек наведалься. Пораньше пришел. Сажу с лучком, слушаю. Поет соловушка то на ольхе, то на ближних черемухах, то в кусты упорхнет. Около одиннадцати исчез, замолчал. Слышно: листья в кустах шелестят. Кормится, значит, бегаёт где-то там у точка. Шнур я держу на весу. А сам приглядываюсь, стараюсь его рассмотреть. Вижу! Идет он к току. Идет! Тихонечко, перебежками.

Дрожат у меня руки и сердце колотится. Вот всегда так. Уж которого соловья ловлю, а не могу привыкнуть.

Подбежала птица к лучку. Встала на дужку. И так, и так голову повернет, смотрит, сторожится. Вот спрыгнула в ток. Клюет да оглядывается...

Я так сильно дернул шнур, что лучок сорвало с земли. Но соловей все-таки покрылся. Упал я на колени, закрыл его поверх сети ладошками и засмеялся.

Красавец соловей попался. Перышко к перышку. Хвост рыжий, спина коричневая, а снизу весь серый, пепельный, белогорлый. Убрал я его в матерчатую клеточку, снял снасть и пошел домой вброд через Шиловку.

Переправился благополучно, даже в сапоги не заплеснул, а там песок в ложке грядой лежит. И до того он был чистый, немытый, с золотинками, что захотелось мне его побольше набрать, жаворонкам принести. Я снял котомку, достал походный мешок и стал нагребать песок горстями.

Раскат соловья вдруг загремел позади. Я обернулся. Никого. Но раскат повторился. Лешевой дудкой закричала котомка. Это в темноте, в тесной клетушке колдовал мой соловей. Тут я в него совсем уверовал...

Дома выбрал клетку получше, с мягким верхом, с деревянными спицами. Высадил соловья, а он даже и не подумал биться. Попрыгал, попрыгал, за корм взялся. На третье утро запел. Да так чудесно запел, лучше, чем на речке. И сейчас живет у меня этот соловей. Я не запираю его клетку, и он любит бегать у меня на столе, ворошить листы бумаги. Я даю ему мучных червей, и он берет их с ладони с учтивым соловьиным поклоном.

Серебристый день

Солнце клонилось к закату. Я отложил ручку, закрыл тетрадь и неожиданно для себя так громко кашлянул, что кошка на подоконнике вскочила, выгнулась гусеницей, распустила когти, глядя веселыми глазами, и снова спокойно улеглась клубком.

Я легонько толкнул ее в пушистый бок и пошел во двор. Стая мух, по-вечернему облепивших потолок, недовольно загудела вслед. После душного тепла горницы на дворе показалось свежо и отраднo. За воротами гнали стадо. Балабонили ботала. Мычали коровы. Дроботно стучали по мосту через речку овечьи копыта.

Желтый кобелишка Чижик тьякал в подворотне, то замирал с глухим рыком, то задыхался в остервенелом лае. Он не любил коров, не любил хозяйку, с подозрением косился на меня, лишь хозяину Евсею Осипычу был он предан всей собачьей душой.

Я постоял за воротами, прислушался, как отходила, отдыхала одеревенелая за день голова, и мне никак не хотелось возвращаться к столу, к запахам молока, печеного хлеба и овчины, к опостылевшей тетради и ручке.

«Нет, ты будешь работать, лентяй. Еще и четверти намеченного не сделал!»

«Не буду. Устал. Не хочу. Не могу больше».

«Зачем же тогда брал аванс?..»

«Чтобы приехать сюда. Я рыбачить пойду».

«Опять из-за двух несчастных окунишек проведешь впустую целый день?»

«Пойду на старицу. Там рыбы полно».

«А кто же будет писать?»

«Отвяжись... Пусть пишут другие, писателей много...»

Такой примерно разговор шел у меня со вторым, строгим, да, к счастью, не всесильным, самим собой. Во мне, как и во всех людях, наверное, два «я». Одно — прокурор, другое — адвокат. Сегодня адвокат свалил прокурора — явление редкое в судебной практике.

За избами, за черным паром распаханного бугра сидело спокойное солнце. Желто-коричнево лежали на пашне его лучи. Всего две вечерние тучки присмирели на далях. Утих ветер. Улеглась пыль.

С полей и с дороги наносило цветущей рожью, ко-
ровяком, теплом напеченной за день земли. День этот
прошел невидимо для меня, где-то за окнами пыльной
горницы, за воротами, в полях и перелесках. Я знал,
что он идет там, что ему радуются люди, работающие в
поле, им сыты ласточки, с утра шныряющие на подворье
над самой землей. Я чувствовал, как хорошо там, в сол-
нечных полях, на буграх, белеющих цветущей клубни-
кой, в трепетной прохладе осинок и берез. И этот день
прошел, мелькнул мимо меня. Я не хотел, чтоб и новый
пролетел так же.

Все примолкло. Одни жаворонки неугомонно юрчали
и пели над околицей, над деревней, будто и не собира-
лись на покой.

Их голоса звучали лишь поглуше, умиротвореннее, в
тон вечеру и заходящему солнцу.

«Хороша погода будет завтра»,— сказал я своему
прокурору и пошел в сарай за лопатой.

Пока я ее искал, во двор вышел хозяин — колхозный
конюх Евсей Осипыч, мужичок неопределенных лет, ему
можно было дать и сорок пять, и шестьдесят, кривопле-
чий, со склоненной набок головой. В Отечественную вой-
ну осколок разбил ему лопатку и ключицу.

— Рыбачить ли, чо ли? — спросил он улыбочиво и по-
вел ладонью по седому жнивью небритого подбородка.

— Хочу вот на старице попробовать.

— Хорошее дело. Я бы тоже с тобой, да картовки не
огребены. Хозяйка ругается. Только на простого-то чер-
вяка на старице делать нечо. Не возьмет...

— На кого же?

— А надо на белого-то червяка, в назьме который. На
их, бывает, хорошо берет. Яз, голавль, и подлещик, и
линь тоже. Лонись я во каких одиннадцать штук принес.
Хозяйка не даст соврать. Жирнющие,— он показывал
рукой до локтя и, склонив голову к плечу, редко помар-
гивал.— На старице, сказывают, нонче плохо. Рыба-то
есть, а не идет ни в какую. Заелась, однако, что ли... Не
знаю, какого рожна ей надо. Все ж таки сходи, по-
пробуй...

Он пошагал куда-то, сопровождаемый Чижигом, ко-
торый трусил по пятам и довольно оглядывался.

Червей в навозе я не сыскал. Зато за околицей в
объединном козами березняке попалась на глаза се-
рая палестина сухого дерна, и я подумал, что тут долж-

ны быть личинки майских жуков — не иначе как от них засохла трава.

Срезал пласт дерна и увидел десятки крупных и средних белых противно мягких личинок с красной головой, с просвечивающей на конце брюшка синевой.

Личинки извивались потревоженно и капризно. Вздрагивая от гадливости, я набрал их штук двадцать в стеклянную банку и прикрыл дерновой землей.

Здесь же наловил мелких кобылок. Бесчисленное множество их сыпалось при каждом шаге из соломистой худосочной травы.

Надо было еще дождевых червей, без них не обходится классическая рыбалка, но достать их теперь было ох как мудрено. Две недели стояла июньская сушь. Еще в прошлый раз я перекопал все борозды в огороде, всю землю под навозной кучей и ничего не нашел, если б тот же Евсей Осипыч не посоветовал искать червей в крапиве за сараем.

Сейчас я снова перелопатил рыхлый чернозем и у самых бревен сопрелого сруба, меж влажных желтых корешков крапивы нашел с десятков больших червей-выползков.

Улов уже чудился мне. Ради него и спать я лег рано, вместе с хозяевами, хоть на улице было еще закатно-светло. Радиола гудела в клубе. Девчонки ходили по улице в обнимку, напевали что-то непонятно-размывчивое, иногда выкликая слова частушек отчаянными тонкими голосами.

Я ворочался, курил, смотрел в беленый потолок со вбитым в матицу, тоже забеленным гвоздем. Считал россыпь мух на потолке. Никак не мог настроиться на сон. Я заново обдумывал рассказ, мучился над словами, искал эпитеты, подбирал сравнения, мозг сам собой включался в работу. Не в первый раз убеждаюсь, что никогда так плодотворно не думается, как лежа в кровати, с намерением поскорее заснуть.

Было слышно, как у ворот кто-то прижимал старшую дочь хозяина, птичницу Зинаиду, неказистую лицом, литую телом деваху. Она ругалась притворно:

— Куда... дурак! Что ты, самошедчий...

...Проснулся я от тишины. Такая глубокая, немая тишина бывает в деревнях на сходе ночи. Холодом умыло заспанное лицо. Ежась, я прошел в огород смотреть зарю.

Земля спала. Восток сизел в сонных сумерках. На дачах чуть синело, чуть розовело. Глушь. Сверчки. Темнота. Роса. Дверь скрипнула. Хозяин в одних подштанниках, в рубахе вышел во двор.

— Будить хотел, само время идти,— позевывая на весь двор, сказал он.

— Что вы так рано-то? — удивился я, хоть и знал, что хозяин подолгу не спит.

— А хватит, выспался. Кто поздно встает, у того хлеба не стает. Мой тятенька-покойник так сказывал: рано встаешь — больше наработаешь, рано женишься — скорее подмога будет. Давай ступай прямиком. Улицей-то на полверсты дальше.

Я перелез через влажное, скрипнувшее прясло и зашагал в росистом мраке к околице.

Нигде ни огонька, ни лая собак, ни запоздалых парочек у плетней. Едва-едва наносит откуда-то замирающую трель трактора, да у последней черной и ветхой избы старухи Макарихи что-то скрипит колодезный журавель.

А в поле острый, полевой воздух. Ночью рожь дышит так чисто и свежо, что кажется: вся земля налилась ее запахом. Почему так приятно пахнет сено, цветы, волосы, раздутые ветром, и сам ветер, и кожа девушек, и все простое: вода, хлеб, трава и земля...

Небо не очень ясно. Тучки маячат на нем. Глядят меж ними и прячут глаза неяркие летние звезды. Комковатый суглинок дороги едва различим. То и дело я запинаюсь, цветы и сорняк ловят за ноги, хлещут по коленям.

Но иду я споро. Мне раздумчиво-весело. Мне хорошо. С юности я люблю бродить ночами в городе или в лесу. Вижу иную жизнь ночной земли и думаю, всегда думаю, как мало мы, люди, знаем ее, как мало видим за свою жизнь рассветов, как мало ценим поэзию тишины.

Ветерок ощупью бредет по кустам. Теплом и водой наносит из круглой мочажины. Днем она яично-желта — сплошь осыпана цветущим лютиком, сейчас темна, таинственна, нерассветна.

— Крэк! — вздрагивает там коростель.

— Поть, поть-воть,— освистывается перепел из ржи.

— Уть-уть... уть... уть,— хлопнет ночная птица-погоныш. Спящий в темном кустике дубровник роняет спросонок свою минорную гамму.

И снова все замолкает под звездами и тучами. Едва-едва шевелится рожь — знать, бродят в ней тихонько невидимые ночные существа.

Незаметно начало светать. Яснее дорожка. Розовый, красный, оранжевый свет полился издалека все сильнее, шире окрашивая небосклон. Заря рдела буйная, спелая, добротная. Еще было далеко до солнца, а птички на луговине за полем уж пели на все голоса. Их нежные звоны так удивительно сочетались с предутренней чистотой, истомой и холодом.

Поле обрывалось к лугу длинным ровным уступом. Весь большой луг, уставленный глухими купами кустов в некошеной траве, — старое займище.

Лет сто назад Тура была полноводнее, в разлив доходила досюда. Теперь она много мельче, уж никогда полая вода не трогает прежних берегов. Луг сушеет, обрастает мятликом, лисохвостом и полевыми цветами.

Ровный пробор тропы делится, бежит в три стороны. Сейчас надо выбрать верное направление, чтобы не уйти на перевоз к Туре или в деревню Сорочата.

Ноги вымокли в несильной росе. Она тепла и не вызывает озноба, как ледяное августовское молозиво. Иду по сонной траве, по закрытым бубенцам купавок. Где же старица?

А вон впереди гряда ив, кусты верб и осинник.

Старица. Кривое розовое стекло воды. Обрывистый берег. По плечи борщевник и конский укроп, непролазь шиповника, заросли стрелолиста.

Держа удочки над головой, не очень смело я ухнул в этот травяной овраг. Роса градом посыпалась в лицо, брызгала с листьев.

Вода. Она тиха и курится паром. И пахнет у нее по-особенному сыро и свежо.

Место я выбрал, кажется, хорошее. Большой ивовый куст спустился к самой воде. Лопухи кувшинок плавают неподалеку. Затонувшее бревно выступает из-под воды. На нем удобно расположиться.

Первые минуты перед забросом самые волнующие. Река представляется полной рыбы. Каждый круг на воде, каждый всплеск заставляет торопиться...

Скорей же... Скорей. Леса обязательно путается. Крючок норовит воткнуться в палец, наживка сползает.

Тьфу, пропасть! Ну, черт поберет... Ах, ты... Вот! Готово... Все...

Леска медленно утонула. Перовый поплавок насторожился на заревой воде.

Более спокойно разматываю другую удочку. Больше чем на две я никогда не рыбачу.

Прошло первое волнение. И я начинаю оглядывать старицу и берега. Искать красоту. А здесь ее столько везде: и в воздухе, и в небе, и на воде, что скоро весь уходишь в процесс созерцания, забываешь о поплавках, о рыбе, о себе...

Жизнь на старице идет своим чередом. Вот из-под воды навстречу заре появляются какие-то серые точки. Плывут к берегу, лезут на него, на треугольники стрелолиста, взлетают вверх прозрачным облачком. Мелкие букашки-однодневки. Их зовут по-разному: бабка, поденка, метлица. Где как...

Они танцуют над водой, толкутся, слипаются, падают. Жадно плещет рыба, кормится на том месте. Несколько букашек садятся на меня.

Тощенькое, молочного цвета хрупкое тело со стрекозиными крылышками и голубые с зеленью огромные глаза идеалистки, с восторгом, с изумлением глядящие на мир.

Мне всегда кажется удивительной жизнь стрекоз и поденок. Годы мрака на дне, среди вонючего ила, в безобразном облике бурой личинки, и всего часы, когда, прекрасная, голубоглазая, с прозрачными крылышками, она взлетает над розовой водой, видит свет, небо, солнце, чувствует благое тепло июньского утра, любит, и веселится, и падает тут же на воду, ко рту голавля или подлещика.

Несправедливо. Гадко. Ужасно. Может быть, для поденки часы жизни долги, как вечность... Может, и не надо ей иного, как отлюбить и умереть. А у меня где-то глубоко в душе против сознания бьется сопоставление с человеческой жизнью. Три четверти жизни человека — учеба, труд, самосовершенствование, поиски смысла и творчество, способность, казалось бы, перевернуть мир, пронизать мыслью космос — и проклятая глиняная щель в земле, где ложится большой, могучий, накопивший знание человек.

Двести, триста, пятьсот лет должен жить человек! Жить молодым, сильным, красивым, без гипертонии и склероза, без плеша и одышки. И куда полезнее было б

людям потопить навеки все бомбы и ракеты и засучить рукава над проблемой долголетия...

Что-то не клюет у меня никак. Рыба ходит везде, везде круги, всплески, бульканье. У затонувшей ивовой ветки нет-нет и выпрыгнут мелкие рыбешки. Знать, ловит их окунь или щука. Солнце дробится сквозь кусты, пятнами дрожит на воде. В густой уреме противоположного берега щелкают, аукают соловьи. Два куличка быстро-быстро взмахивают крылышками, летят, задевая воду. Стрекозы радостно потрескивают.

Левый поплавок кренится, оживает, плывет в сторону, окунается, снова встает, тонет! Юрк! Юрк! Ушел!

Удилище стало живое и трепетное. Плеск и блеск большой негодующей рыбы. Она пляшет на хвосте, взлетает над водой и... хлопается обратно. Сорвалась. Ах, какая сорвалась! Килограмма на три. На четыре! Впрочем, граммов триста, не больше.

Этим пытаюсь успокоить в себе голодного дикаря, потерявшего дорогую добычу.

Подумаешь! Еще клюнет. Раз уж начало — пойдет!

Надеваю на крючок личинку майского жука и снова забрасываю. Снова жду. Клева нет.

Что-то шелестит за спиной, спускается с откоса в траве.

— Чижик! Откуда ты? — приветствую знакомого злого кобелишку. Морда Чижики чуть теплеет, он шевелит крендельком хвоста, обнюхивает, словно не доверяя глазам, мою одежду и ботинки и трусит прочь вдоль воды.

Вот бродяга-то еще! Почему он здесь?

Шум и плеск у соседнего берега. Черное шевелится там, рождает круги. Различаю морду большой щуки. Она высунулась торчком, то вынырнет, то скроется. Впечатление такое, словно кто-то держит и дергает рыбу за хвост. Минуты через три щука скрылась, так и не объяснив, конечно, своего странного поведения.

По-прежнему у меня ничего не клюет, хоть бы насмех какой-нибудь чебачишка. Я уже устал смотреть на поплавки, устал ждать и менять насадку. Ни червяк, ни кузнечик, ни знаменитые личинки — ничто не соблазняло заевшуюся рыбу. Тогда я положил удочки на воду и сел в обсохшую траву под куст.

В траве сладко пахло какими-то цветами, зеленые треугольные букашки ползали по стебелькам, рыжие

жгучие муравьишки суетились в глинистом обрыве, вереницей ползли вверх.

Солнце ходило за тонкой пеленой облаков, и уже не золотой, а мягко-матовый свет лился с неба.

Тускло серебрились поникшие листья ив, примолкли соловьи, млели на воде бело-желтые кувшинки. Вот жучок спрыгнул в воду с одной из них. Спрыгнул весело, как мальчишка. Булькнул, ушел в глубину.

Серебристый день сменял солнечное утро. В такие дни еще сильнее чувствуется лето, тепло, благодать июньских дней, короткая радость безмятежной, блаженной поры. Кажется, это чувствует каждый листок, цветок, стрекоза, кузнечик, и муравей, и птичка, купающаяся в земляной ямке, и тонкий рыжий зверек с лоснящейся шерстью, что промелькнул пугливо в кустах.

Я сидел в траве, переполненный сладким чувством тишины, тепла и покоя, витал где-то над землей, над макушками ив в неясных, но тем не менее радостных полуощущениях, полумыслях. Очень хорошо, очень славно быть живым на этой тихой, летней земле.

Не знаю, с чем сравнить простую радость бытия, доступную каждой клетке кожи, каждому волоску, но я отлично понимал, почему поют птицы, скрипят кузнечики, плещет рыба, горят цветы.

Девичьи теплые, веселые голоса звучно раздались за кустами. Две косынки продирались в траве, переговариваясь, не замечая меня.

— О, Маруська, вода-то! Вода! Как молоко! — сказал голос пониже.

Вторая не ответила. Только засмеялась счастливо.

Минуты на три они замолчали.

Я не хотел спугивать женщин. Но все-таки привстал и тут же зажмурился. За кустом по колена в воде стояли две женщины. Одна огромная, словно из бронзы литая, с таким могучим развалом плеч и бедер, будто сама богиня плодородия, другая — тонкая, белая, с рыжеватыми волосами, с выступающими позвонками на изгибе спины. И обе женщины были прекрасны, просты и естественны, как прекрасны были их отражения в колеблющейся воде, руки, мелко прибирающие волосы, бедра такого различного, но равно чудесного очерка.

Посмеиваясь, женщины осторожно пошли в глубину и вдруг с визгом, с хохотом повалились животами в

воду, забили ногами, поплыли в кучах сверкающих брызг.

А потом они причесывались, удивительно по-женски, распустив волосы до пояса — две русалки из ожившей сказки...

Ханжа скажет: «Не надо было смотреть!» Но ведь я уже сказал, что поначалу зажмурился, да кроме того, ханжа и на классическую статую надел бы трусики, если б мог...

Оделись и ушли они так же скоро, как появились.

Я вытащил удочки. Насадка была цела. Ну и пусть, пускай не клюет. Буду лежать в траве, смотреть в облачное небо, буду запоминать его счастливые тона. Буду...

— Ззууу,— раздается над ухом грозное пение.

Вскакиваю и начинаю бестолково отмахиваться от чего-то желтого, полосатого, которое кажется воплощением жгучего зла.

Наконец оно ныряет в сторону, уносится прочь.

— Ну,— облегченно вздрагиваю я. Это ведь шершень. От его укуса тело немеет, как от новокаинового укола, а потом болит, будто проткнутое огненным шилом.

— Ззууу! — тот же визгливый, вибрирующий звук над ухом.

Вернулся?! Я бросаю удочку и отбегаю в сторону.

— Ззз! — Рука сама наталкивается на твердое, сбивает его в траву.

Со страхом слушаю, как шершень гудит и ругается там:

— Ззууу!

Мимо! Что же это такое?

Оглядываюсь. О-о! Я стою у дупливой пвы, и оттуда по морщинистой коре один за другим ползут желтолапые скелетно-полосатые шершни.

Пришлось спешно перекочевывать. Я пошел берегом у самой воды, давя раковины пустых катушек. Осы одна за другой проносились мимо.

Ну вас к шуту! Зачем только живет на земле такая нечисть? Вот и комары тоже... Щеки и виски зудят нестерпимо. Меня всегда любят комары.

Размышляя о них, я не сразу увидел согбенную фигуру рыбака за кустами. Рыбак был в кепчонке, в солдатской рубахе. Вот он тихонько взялся за удочку.

Хватать! И плоская зеркальная рыба хлещет, переплеском идет до берега.

Молодец! Вытащил.

Снова заброс.

Минута, две, три — и опять такая же рыбина шлепается на берег.

Меня разобрало любопытство. Я подошел поближе — на бревне сидел Евсей Осипыч.

— Ну чо, парень, как рыбка? — улыбнулся он.

Я показал пустую корзинку.

— Ни одной?.. Ать! — Он снова подсек и выбросил на берег порядочного подлещика.

— На что это у вас так клюет?

— Я ведь сказывал. На червяков навозных. — Он показал на ладони двух среднего размера личинок, немного похожих на майских. Очевидно, это были личинки мелких навозников-афодиев. — Больше ни на чо не берет. Пытаное дело.

— А много вы наловили?

— Вот, — он сбросил пучок травы с корзинки, на две трети наполненной серебряной и золотистой рыбой, бросил туда подлещика.

Чижик обнюхал мои руки, свирепо покосился белком карего глаза: куда, мол, лезешь не к своему добру.

— На-ко, попробуй! — Евсей Осипыч подал мне пару личинок.

Я насадил одну из них и закинул лесу. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Поплавок не шевелился. Словно и не клевало тут никогда.

В конце концов мне надоело испытывать судьбу.

— Пойду дальше, — сказал я, сматывая леску. — А то из-за меня, наверное, и у вас клевать перестало.

— Ну-к чо, айда попробуй, места много, — равнодушно отозвался хозяин. И пожалуй, я угадал его мысли: «Иди-ка ты к ляду, горе-рыбак».

Едва я удалился метров на десять, снова клюнуло. Хороший язь залопотал, захлопался по воде.

Я только вздохнул. Или действительно мне ужасно не везло, или что-то не так было в моих щегольских бамбуковых снастях с капроновыми лесами и нарядными поплавками. Ведь вот клюет же, хорошо клюет! Просто невезучий я на рыбалке, и ничего тут не поделаешь. Невезучий, и всё тут!

Больше удочек я не разматывал. Нашел у берега

открытый ключик. Вода выбуривала из берегового откоса, стекала вниз тоненьким ручейком.

Здесь я напился, умыл искусанное комарами лицо, съел краюху посоленного хлеба и вдруг почувствовал, что устал, смертельно устал, не знаю отчего.

День совсем разгулялся. Солнце глядит меж белых облаков. Льется на землю осязаемая золотая благодать, и чувствуешь, как дубеют, обливаются загаром руки, лицо и плечи. Найдёт облако — слегка потемнеет все, ветерок студит разгоряченное тело, шевелит волосы, гудит в ушах. И хочется мне кинуться в теплую траву, припасть к родной земной груди, сладко заснуть под шорох травинок, под басы шмелей и чиликанье ласточек.

Я карабкаюсь на откос, ложусь в траву подле берёзового куста. Травяно-сухо пахнет земля, сквозь полуприкрытые веки — мелькание бабочек. Кобылки сипят и сякнут вокруг. Голубые, зеленые, желтоватые тона...

И вот все путается, опрокидывается, тонет. Я сплю. Но даже сквозь сон чувствую тепло солнца, прохладные руки ветра и запахи, запахи земли...

...Будит тяжёлый грохот. Удары веских холодных капель.

Дождь? Гроза?!

Просто грозовое облако. Оно родилось тут же, в лугах; и встало высоко над землей. Крупный алмазный дождь сыплется в траву, щекотит по листьям, дымит по воде.

Мокнет моя голова, майка, брюки. Но разве побегу я прятаться? Пусть! Лейся! Я только моложе буду, чище буду... И холодно мне, и весело под ливнем.

Сладко пахнет намоченная дождем трава, свежее, наливаясь озоном, воздух, проясняется запах цветов.

Эх, как молодо-гулко бубухает гром, как откатывается за реку, припускает дождь — да тут же и стихает... Радуга сказочно вспыхивает над далью. Травинки кивают, роняя капли.

Все стихло на мгновение, будто пауза перед торжественной увертюрой. И разом, спеша внести свою лепту в общую радость, запели по кустам дубровники, засвистела чечевица, щелкнул, дрогнул раскат невидимого соловья.

И вот уж снова трещат кузнечики, ворошатся шмели, мелькают голубянки по синим цветам журавельника.

Иду домой, на деревню. Пустое ведро жалостно

брякает в корзине. Саднеют сожженные солнцем руки, одежда пропахла ветром и травой. Я устал не по-вчерашнему. Если может быть бодрая усталость, то вот она. Она лечится здоровым сном.

Поздно вечером мы сидим с хозяином у ворот. Курим. Молчим.

— Ну чо, не поманивает боле на старицу? — спрашивает хозяин и довольно щурится от махры.

Он принес почти полную корзину рыбы да еще метровую пятнистую щуку. Попалась на жерлицу. Может быть, та самая щука, что билась под берегом.

— Нет, — кратко сказал я.

— То-то. Рыба нонче умная стала, скоро ее не возьмешь, — не понял он. — Надо, вишь, ее к месту привадить. Прикорма не жалеть. Опять же удочки у тебя хоть красивые, а не чуткие. Поплавки яркие, не годятся. Надо, чтоб рыба снасти не боялась...

И он долго еще объяснял, как взять эту самую рыбу.

А я и слушал и не слушал его. Я вспоминал прожитый день, переживал его заново, видел все краски, слышал все его звуки. Я знал, что этот день останется со мной навсегда. Память будет любовно беречь и того жука, что нырнул с кувшинки, и мокрые волосы девушек, и цветы в дождевых каплях. Я понимал, что это был день, которого нельзя повторить, и мне не хотелось хранить его одному, пусть и другим он достанется тоже.

На озере

Темно и свежо. Утренняя сырость заставляет вздрагивать, руки и шея покрываются шершавой гусиной кожей. Так зябко, сонно и неуютно вокруг. Окованный железом нос лодки мокр и холоден от росы. Я захожу в темную воду, держась за борт, сталкиваю лодку с места. Она шуршит днищем по гальке, вертко покачивается, словно живая, и хочет выскочить из рук. Осторожно перешагиваю через борт, чувствуя упругую неустойчивость челна, сажусь на скамью. Лодка идет по спокойной черной воде, неслышно опускаю весла — не хочется разрушать плеском глухую предутреннюю тишину. Глаза привыкли к мраку, уже видны как будто очертания каменистого островка, возле которого надо остановиться. За островком всегда тихо, даже если дует широкий западный ветер и озеро покрывается белыми застругами пены. На западе темно. Правлю на созвездие Лебедя. Его широкий сияющий крест стоит над черной скалой островка, и кажется мне, что уже не по воде я плыву, а где-то в бесконечном мировом пространстве, среди звезд, рассыпанных в вышине и глубоко внизу, плыву, как межзвездный скиталец, минуя Большую Медведицу, Кассиопею и Андромеду со всеми их туманностями и галактиками.

Крик кулика возвращает меня на землю. «Уить-вить, уить-вить, кли-кли-кли-кли!» — кричит под берегом проснувшийся черныш. Скоро утро. Возле острова останавливаюсь. Втыкаю в дно длинные колья, накрепко привязываю верткую долбленку, на ощупь разматываю лески.

И вот первые поплавки столбиком встали на воде. Ждут начала клева.

Светает. Гаснут, растворяются в синеве первой зари созвездия, словно удаляются от земли. Бледная, неясная полоса рождается за моховыми болотами, за черными зубцами ельников восточного берега. Туман дымит над поймами, ползет над водой. А через полчаса редкие высокие облачка вдруг загораются радостно-золотым и розовым светом. Ярче и ярче рдеет заря, разливаясь над озером. Вот она обняла полнеба, отразилась в воде, словно огромное малиновое зарево. Нигде, как на севе-

ре, нет таких величавых и огненных зорь, может быть, они восполняют суровую бледность озерного края.

Тишина. Спокойствие. Простор. Утки, вытянув шеи, проносятся над поймой. Летят с пашен, с ночной кормежки. Свежей холодной сыростью до предела насыщен воздух. Пахнет водорослями, туманом и осокой. Сизый налет росы лежит на носовой скамейке, как чудесная жемчужная ткань. Я сижу неподвижно, смотрю на поплавки, прислушиваюсь к далекому крику петухов в деревне, и особое состояние спокойной радости владеет мной. Что-то принесет новое утро?

Сколько десятков рассветов встретил я на воде, и ни один не был похож на прошедший, не обманул радостного ожидания.

Идет август. Второй месяц живу я в становище на берегу светлого озера, скрытого лесами Северного Зауралья, и пока не тянет в город. Город остался где-то далеко, как воспоминание, и порой мне начинает казаться: да полно, жил ли я там?

Однако скоро начнет клевать. Вот на розовую поверхность воды вынырнули два темно-сизых жука-вертуна. Покружились, блеснули мрачными искорками и ушли в глубину. Станные жуки: они показываются лишь на утренней и вечерней заре, перед клевом, и так не похожи на своих родичей — блестящих жуков-вертячек, что стаями играют в солнечный день на мелких местах.

Дальний поплавок вздрагивает и ныряет. Хватаю удилище. Зеленый полосатый окунишка вылетает из воды. Такой крошечный — смотреть жалко. Осторожно освобождаю холодную трепетную рыбешку, бросаю в воду. Вильнув хвостиком, окунь уходит под лодку. Клев начался. Поплавки ныряют один за другим, будто кто-то спрятался под водой и, балуясь, дергает лески. Жадно берет мелочь: плотички, ерши, окуньки. Кладу в бадейку скользких колючих ершей, а прочих выпускаю, если они не сильно поранились крючком.

Между тем совсем рассвело. Ослепительный столбик солнечных лучей пробежал к острову. Зелено голубеет вода. На мостках у деревни стучат вальки. Ветерок забирает из-за острова, и длинная полоса мелкой ряби идет от галечного мыса.

Я вытащил уже более десятка крупных серебряных чебаков, несколько порядочных окуней с красными плавниками и треск подлещиков, плоских, как ладонь, когда

за удилище, закинутом подальше от борта, потянуло сильно. Поплавок медленно нагнулся, утонул и уж больше не показывался, леска бросалась то туда, то сюда. Я чувствовал, что тащить напрямик нельзя. Оборвет. Сильная тяжелая рыба ходила где-то у дна, кидалась в стороны. Лодка, хотя и была привязана с обоих бортов, угрожающе колыхалась. Я следил и за нею и за натянутой лесой, но готов был лучше нырнуть и опрокинуться, чем выпустить удилище. Лишь спустя несколько долгих минут, в продолжение которых я метался от отчаяния к надежде и, как маленький, повторял: «Хоть бы не ушла, хоть бы не ушла...», рыба обессилела. Я подвел ее к лодке и поддел сачком. Толстый лобастый язь тяжелым слитком живого серебра трепыхался в сетке, тарашил яркие желтые глаза, беззвучно разевал рот. От него пахло сырыми водорослями и озерной водой. В бадейке язь не уместился. Я положил его в лужицу воды на дне лодки и прикрыл пучком мокрой крапивы, которую всегда заранее рвал в темноте на берегу, немилосердно обжигая пальцы. В луже язь буйствовал, хлопал хвостом, брызгался, разбрасывал крапиву, не желая мириться со своим положением.

Вскоре на той же удочке клюнул другой язь — поменьше, а затем и еще один, почти такой же, как первый. Теперь уже руки не дрожали, волнение улеглось и я более спокойно клал в лодку желтовато-серебристых красивых рыб.

«Три язя — неплохая добыча. Может быть, еще клюнет. Наверное, косяк к отмели подошел», — думал я, закидывая добычливую снасть. Действительно, через некоторое время поплавок дернулся, утонул, я подсек, рыба заходила кругами. «Язь!» — подумал я, начиная тащить.

И тут леску потянуло с такой неожиданной силой, что удилище ткнулось в воду. «Зззык» — лопнула леска. Я же едва не ухнул вниз головой, за борт, потеряв равновесие.

— Вот так язь! — оторопело шептал я и растерянно смотрел на обрывок лесы.

Ощущение было примерно такое, словно я попытался остановить лошадь.

Что же это за язь и какого он был размера? Может быть, щука? Но она очень редко клюет на червя. К тому же рыба поначалу не казалась крупной. Зацепилась

удочка за корягу? Тоже нет. Ведь я чувствовал, как рыба потянула. Я вглядывался в спокойную глубину. Уж не живет ли в этом озере какой-нибудь озерный змей? Читал же я в журнале «Вокруг света» о чудовище из шотландских озер — Лохнесском змее. В журнале печатались даже туманные снимки этого чудовища. Почему бы такому не жить в зауральском озере?

Фантазия разбушевалась, и я сел на скамейку, охваченный смешанным чувством разочарования, удивления и любопытства.

Клев словно оборвало. Поплавки других удочек тихо кивали на легкой волне. Она стучала в корму, шуршала на отмели, перекатывая гальку. Занялся погожий августовский день. В такие дни жара уже не донимает, теплое ласковое солнышко с доброй улыбкой смотрит на землю и воду.

Стая серых тонкоклювых куликов бегала по отмели у островка. Здесь держались крошечные кулички-воробы, аккуратные песочники, нарядные галстучники, плавунчики.

То рассыпаясь, то сбегаясь вновь, кулички что-то высматривали и склевывали с деловито-озабоченным видом, плавунчики заходили в воду и даже плавали бойко и непринужденно. В стороне от мелких светлых куликов носился темный черныш. Этот черныш никак не хотел задерживаться на одном месте, то и дело перелетал, сверкая белым надхвостьем, и его громкое «кюи-кюи» несло далеко над водной равниной.

Я засмотрелся на птиц и забыл обо всем на свете. Очень забавно видеть, как кулички находят корм, кидаются на него все вместе, вырывают друг у друга, а счастливый обладатель находки что есть мочи удирает в сторону, торопливо заглатывая пищу. Ссоры, драки, сопровождаемые писком и воплями, то и дело вспыхивают на отмели. Вдали от острова белыми платками пролетели три большие птицы. Сделали круг. Сели. Лебеди. Видно, как они настороженно покачиваются на волнах, гордо и прямо подняв тонкие шеи.

На озерах Севера лебедь не редкость. И ни разу не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь его убил.

— Его грех убивать... Его убьешь — несчастный станешь... Не поднимается рука, чтоб, значит, такую красоту стрелить.

Таково единодушное и отчасти суеверное мнение, ко-

торое я слышал от деревенских охотников, рыбаков, мотористов рыболовецкой артели, не очень-то стесняющихся пальнуть по зверю и птице в запрещенное время.

Даже громадный орлан-белохвост никогда не трогает лебедей.

Пара этаких могучих орлов и сейчас кружит над озером высоко-высоко. Слышу их гортанный приглушенный клекот и любуюсь привольным простором озера, голубым и безмерным, как небо.

Пора сматывать лески. Пора к берегу. Я отвязал лодку, подогнал ее к отмели и высадился на остров. В центре острова за громадным валуном у меня была стоянка. Здесь я варил уху, пил чай, загорал, лежа на каменной спине валуна. Труднее всего на острове добывалось топливо. Весь он был не более тридцати метров в длину и пятнадцати в ширину. Растительность состояла из четырех сосен, искривленных, изуродованных зимними ветрами, одной березы, кустов шиповника и редкой травы. Каждый сучок, сосновая шишка и пук сухой осоки были взяты мной на строгий учет, и я никогда не соблазнялся привезти с берега охапку хвороста. Мне нравилось обходиться «местными ресурсами». Это была детская игра взрослого человека. Игра в Робинзона, попавшего на необитаемый остров. И теперь я с удовольствием занялся поисками топлива.

Отходит короткое уральское лето. На пороге осень. На острове близость ее заметнее. Вот и береза желтеет прядями, и шиповник между валунами усыпан светло-красными гладкими плодами. Тоненькими голосами синиц звенят сосны. Стаи пухлячков и мелких москочков идут на другой берег озера. Синицы не любят открытых пространств, и остров для них, как пересыльная станция. Отдохнут, покормятся — и дальше, низко над волнами. Есть на островке и свои — островные — птицы. В шиповнике тревожно чакают славки. Они знакомы мне давным-давно, особенно одна, с выдраным на затылке клочком пера. Доносится из кустов ворчливое, нескладное пение. Молодые самцы учатся... Сразу никак не получается... Начало песенки еще похоже немного, а дальше ничего не разберешь. Но птичка старается изо всех сил, и уж, конечно, к весне ее голосок будет звучать чисто и ладно.

Обходя островину шаг за шагом, я набрал мелких сучков, сухой соломы и шишек. Развел у валуна огонек.

Вскипятит чай и распивал его по-рыбацки до седьмого пота. А потом улегся вздремнуть.

Как ни странно, а на рыбалке устаешь сильно: блеск воды, напряженное внимание, чистый озерный воздух пьянят и утомляют не хуже работы. Я заснул под тихий плеск волн, едва положил голову на охапку бурых водорослей.

Мне снилось жаркое солнце, плоский необитаемый остров в океане, шум прибоя, зелень бесконечно катящихся валов. Явственно слышались голоса чаек... Их было много. Они летали, кружились над белым песком. Чайки кричали куликами, но ни минуты я не сомневался, что это чайки. Я бродил по горячему сыпучему песку... Я искал дерево... Надо было строить... Лодку или плот? Не помню. Но до сердечной боли хотелось уплыть, бежать прочь от этого острова, от желто-голубой пустыни, к людям, к земле, к своим. Я обходил желтые отмели и подбирал сосновые шишки. Они росли на пальмах. Такие большие шишки, как в Крыму на итальянских соснах. А шум океана нарастал. Голоса чаек становились пронзительнее... «Будет шторм», — подумал я и... проснулся.

В первое мгновение я ничего не понял. Казалось, сон продолжается. Жарко припекало солнце, пищали кулики, и едва я перевел взгляд на отмель, как тотчас со страхом вскочил, по инстинкту хватаясь за камень.

На отмели ворочалось что-то огромное, зеленоватопятнистое и страшное... Оно изгибалось, поднимало страшный плеск, брызги струями летели во все стороны. «Кто? Кто это? Крокодил? Озерный змей? Сом?» — оторопело думал я. Одна мысль стремительно отбивала другую. То ли крик куликов — они вились над водой, то ли камень, зажатый в руке, вывели меня из оцепенения. Я узнал... Щука! Невероятных размеров щука билась на отмели шагах в пятнадцати, выставясь на две трети из воды. Я шагнул и ясно разглядел длинную морду чудовища с высоко поставленными глазами, темно-зеленую в белесых и желтых камуфляжных пятнах. Из намертво защелкнутой пасти свисало птичье крылышко.

Взять! Я кинулся к щуке, как первобытный дикарь, с намерением оглушить, схватить поперек и выволочь на берег.

Но огромное живое бревно отчаянно заколотилось, камень бухнул мимо, и, обдав меня ливнем брызг, чудо-

вище соскользнуло в глубину. Бороздка волны протянулась от острова.

Я потрогал голову, провел руками по мокрой одежде. Нет! Не сон. Ноги стоят в воде. На волнах покачивается рябенький пух.

До сих пор я скептически слушал рассказы хозяина про «щук на пять пудов», которые будто бы водятся в озере, глотают уток, таскают за собой лодки. Он божился, что одна такая щука ушла от него с острогой в спине, когда он лучил осеннюю рыбу в Голубевой курье.

Своим глазам не откажешься верить.

Почему-то мне стало жутковато от всей этой истории. Крокодилья морда чудища не выходила из головы.

Я вышел на берег, присел на теплый валун. Выловил из воды несколько перьев, рассматривал их, пытаюсь определить, какой птице они принадлежали. Догадаться было трудно: кулики схожи пером, к тому же оно намокло и слипалось. После некоторого раздумья я решил, что перья скорее всего кулика-плавунчика. Он чаще других заходит далеко в воду и может плавать. Щука подстерегла стайку плавунчиков, занятую поисками корма, и, когда они удалились немного, метнулась на ближнего. Может быть, птица успела чуть-чуть взлететь, и огромная рыбина силой инерции вылетела на отмель по скользкой гальке. Ослепленная светом, задыхающаяся, она забилась... Вот он, прибор, который слышался во сне!

За первой догадкой пришла другая. Наверное, щука не первый раз ловит куликов и сторожит их у острова. Это она оборвала сатурновую лесу, как гнилую нитку. Ключнул-то, конечно, язь или подлещик. Хищница глотнула подсеченную рыбу. Вот почему торчком встало за борт удилище и возникла жуткая тяжесть, колыхнувшая лодку.

«Сколько весит щука? Длиной она была не менее двух метров. И весила если не пять пудов, то около трех обязательно. Доисторическое чудовище,— думал я, поглядывая на успокаивающийся к вечеру безмерный простор озера.— Может быть, в его глубинах водятся и еще более крупные рыбы... Как знать...»

На вечерней заре я снова рыбачил у островка. Село солнце. Мошкара толкалась над водой. Крупные ерши наперебой хватили насадку, глубоко топили поплавки, кололи руки скользкими иглами плавников.

Небо тускнело, подергивалось тучами, предвещая на завтра прохладную ветреную погоду. Прорезая тучи, тянул высоко-высоко реактивный истребитель с северного аэродрома. Сюда не долетал даже гул моторов. Казалось, над тучами летит маленькая серебряная комета.

Я кончил ловлю, поплыл к берегу, довольный и тем, что славно порыбачил, и тем, что спадала долгая жара.

Звезды уже загорались в просветах акварельно-лиловых туч, когда лодка подошла к откосу. На темном берегу меня встретил только серый дымчатый кот. Он скромно сидел на перевернутом дощанике, поглядывая на приближающуюся лодку зелеными дьявольскими глазами. Звездный свет отражался в них. Едва нос лодки зашуршал по песку, кот скакнул с дощаника, подбежал к самой воде, приплясывал, стараясь дотянуться до связки язей, и жалобно выпрашивал подачку.

Я всегда кормил этого приبلудного кота, а он каждый вечер терпеливо ждал меня на берегу.

Пока я устраивал лодку на ночь и отчерпывал воду, кот с хищным хрустом ел мелкую рыбешку. Он прикрывал ее лапой, дыбил шерсть, урчал и время от времени покрикивал: «Вау, уау, ау».

После дня, проведенного в полном одиночестве между небом и землей, я был рад даже коту. Тянуло к людям. И я пошел по проулку на огонек, размышляя о том, что Робинзон из меня, видимо, никогда не получится. Кот плелся следом, волоча недоеденную плотицу. Он тоже не хотел оставаться один на пустынном берегу.

Черный дрозд

А. А. Никоновой

Красивое имя у птицы. Помните, в «Записках охотника»? «Звучный напев черного дрозда внезапно раздавался вслед за переливчатым криком иволги...»

Всего одно упоминание — и вот он, среднерусский лес с громадами-дубами, тусклым листом орешника, пахучей калиной и белыми грибами под свесом еловых ветвей.

На Урале черные дрозды не водятся. Есть они где-то под Пермью, да и там из редкости редкость. А мне очень хотелось поддержать такую птицу. Ведь когда за свою жизнь повидаешь и соловьев, и зорянок, и жаворонков, тянет к чему-то слишком необыкновенному. Я мечтал о черных дроздах да по воскресеньям на птичьем рынке — своеобразном клубе птицеловов-любителей — слушал о них разные басни.

Больше всех рассказывал о дроздах некто Козленко, известный у птичников под названием «артист». Не знаю, был ли он артистом, но больше был известен как несусветный лгун. Двух слов Козленко не мог произнести, чтобы одного не приврать.

— Дрозды? — мягко, обвораживающе говорил он, глядя на собеседника благородными глазами испанского вельможи. — Так я ж их тысячи передержал. У Пятигорске у нас их — у каждом кусту.

— А что ж сюда не привезли?

— Та некогда ж было. Днем репетиции. Вечером спектакли.

— Ну-у! А выходной?

— Так я ж и у выходной с утра до ночи в театре. Пятьдесят две роли за сезон! Вы понимаете? Мне ж заслуженного хотели дать. Весь театр провожал, плакал...

— Ну а дрозды?

— Та я ж их тысячи... Гнездо у него на ели, на кипарисе то есть... Вьсако, вьсако. Шапка валится. Вижу, туда они залетают, а где ж достать? Носят вот таких червей да во-о-от таких бабочек, — на метр разводил руки артист.

Другой «старый птицелов», самоуверенный портной

Парамонов, говорил, важно попыхивая сигаретой из янтарного мундштучка:

— Я их в Саратове помногу ловил. Дикая птица... Не выдержать ее. Петь громко не будет. Под свой нос вполголоса пропевает.

— Вот в июне на Кавказ собираюсь, в Хосту, — говорил я, — может быть, поймаю.

— У Хосту? У Хосту? — удивлялся Козленко. — Та я ж там тысячи раз... Нич-чево там нет. Ловить негде — голые горы та колючий кустарник. Не-ет, дроздов надо у Пятигорске, у Нальчике.

...Такси неслось по извилистому горному шоссе из Адлера в Хосту. Мелькали сияющие солнечные склоны в непролази незнакомой зелени. На поворотах визжали покрышки, то прижимало к дверце, то откидывало в глубь машины.

Таксист торопился. Время — деньги. А на Кавказе особенно. Это я понял с прилета, когда толпа квартиросдателей взяла нас в кольцо прямо в аэровокзале.

— На берегу моря!

— С пансионатом...

— Со всеми удобствами... Пожалуйста к нам...

— Всего два рубля в день... — сыпалось со всех сторон.

Насколько можно было разглядеть в бешеной гонке дорогу, я таращился с любопытством новорожденного. Пальмы. Мостики. Ущелья. Странная голубая зелень эвкалиптов. Дачная белизна домиков. Открыточная красота кипарисов. Все это вместе с горячим воздухом, врывавшимся в окно дверцы, удивляло и тревожило.

В одном месте поднялась с обочины черная птица. Ясно увидел я черноту пера и желтый клюв.

— Дрозд! — крикнул я сидящей рядом сестре. — Черный дрозд!

Она равнодушно кивнула. Нельзя сказать, чтоб сестра не интересовалась птицами. Интересовалась, конечно... Но если гордо сравнить мой интерес к ним с потоком солнечного света, то заинтересованность сестры была светом лунным, отраженным.

В тот же день к вечеру на заросшей круче горы я снова услышал и увидел черного дрозда.

Он сидел на сухой макушке грузинского дуба и меланхолично высвистывал что-то лесное, неведомое. Он брал тоны выше и ниже, спускаясь до басового гу-

канья, и вдруг точно переводил какой-то регистр, и снова приятная флейта баюкала вечеряющий лес.

Мы стояли у подножия горы, слушали и толкали друг друга локтями.

— Завтра же пойду искать гнездо, — храбро сказал я. — Раз он там поет, значит, у него гнездовой участок.

Сестра с сомнением поглядела и промолчала. Она была здесь уже не в первый раз. Мои расспросы и суждения, наверное, надоели ей.

Уже поздно мы вернулись в гостиницу на гранитной набережной мелкой каменистой речонки. С гор дуло холодком. В темных кустах у входа мерцали светляки. Пронзительно свиристела цикада. Не то летучие мыши, не то огромные бабочки-сатурнии проносились на свет нашего окна, ширялись о стекло мягкими крыльями и пропадали. Мы заснули под кваканье, бормотание, лай и гомон здешних лягушек.

На другой день я понял причину скептицизма сестры. Привыкнув к уральскому лесу, я даже представить себе не мог, до чего же непроходимы заросли на Кавказе. Если есть нечто среднее между густым киселем и твердым веществом, то вот кавказская зелень. Едва я сунулся в молодую поросль и начал взбираться по крутизне, миллион мелких колючек впились в мои руки, ноги, одежду, задерживая всякое движение. Ежевичные плети кипятком ошпаривали ладони. Завеса плющей трудно рвалась, дрожа и цепляясь. Плющей было видимо-невидимо! И каких разных: то с треугольными листьями, то с сердцевидными, то — ни дать ни взять — березовыми... Они въедались в кору деревьев, оплетали ветки, ползли по земле. Я бился в них, точно муха в паутине, с проклятиями прорывался, карабкался, падал и скоро понял, что буду у заветного дуба на середине склона не раньше как через неделю.

Так же медленно, обдираемый колючками, я спустился на дорогу к подножию.

— Ничего, — утешала меня сестра. — Может быть, зайти с другой стороны горы?

Нового дрозда мы увидели бегающим в водосточной канавке подле каменной садовой стены. Это была самка величиной побольше скворца, бурая и рыжегрудая. С видом женщины, обремененной немалой семьей, она хлопотала в канаве, переворачивала камешки и гнилые листья. Вот нашла что-то, схватила и медленно улетела

в густой сливовый и черешневый сад за каменную стену.

— Пойдем, — сказал я сестре. — Поищем ее...

— Пойдем, — согласилась она, покусывая соломинку. — Но ведь там сады... Вдруг нас...

— А-а... Много ты понимаешь! Здесь же не такие хозяева, которые сад колючей проволокой огораживают, здесь Кавказ, Восток, гостеприимство...

«Приезжайте, генацвале, на-ри-на-ри-на. Выпьем с вами, генацвале, белого вина...»

И я уже взбирался по хорошо уложенной песчанником, чистой тропинке за белую чистую стену. Черешни желтели и краснели над нами. Абрикос раскинул свои похожие на иву перистые листья, и алыча, кислая, зеленая, сводящая с ума одним своим недозрелым видом, алыча была повсюду. Глядя на нее, я представлял разжеванный лимон и толченую клюкву.

Дроздов, однако, не было ни видно, ни слышно.

Зато из странного по архитектуре длинного и беленого строения, напоминающего огромную уборную, выглянула старуха в черной шали. Выглянула, исчезла.

Через секунду атлет-мужчина сине-чернокудлатый с волосами на голой груди и руках пошел навстречу.

— Зачем ходыш? Тэбе на дороге мало места? По садам шалыгаешь? — зачастил он.

— Да вот, дрозды... — не закончил я.

— Я тэбе покажу такой дрозды!

И мы повернули назад.

Может быть, только присутствие женщины спасло меня от большего.

Мы прожили в Хосте полмесяца и все ходили под вечер слушать того отличного певца на высокой горе, на грузинском дубе. Словно поддразнивая нас, он курлыкал, аукал и насвистывал, точно лесной Пан, и сестра говорила знакомым на пляже, что ей на меня жалко смотреть.

А пляжные знакомые мило улыбались, мило кивали, и во взглядах этих милых людей в плавках было: он же сумасшедший. Да, конечно, сумасшедший. Ведь только тронутый человек может ехать на Кавказ, чтобы лазить по горам за какими-то дроздами, ловить бабочек! Искать жуков! Тратить на всю эту гадость дорогое время отпуска, вместо того чтоб размеренно отдыхать под тентами на лежаках, жариться на солнце, купаться в море.

— Море — это йод. Море — это здоровье, — убеж-

денно говорил молодой инженер из Москвы. Он вбирал здоровье с утра до ночи, валяясь с книжкой на воздушном матрасе. Когда море гудело штормом и волны с ворчанием «оро-оро-оро» катились на водоплеск, он ложился в зону прибоя улавливать целебные ионы. И вообще казалось, что здесь все помешались на здоровье, и загорали, и отдыхали до изнеможения. Даже на головные боли жаловались, точно впрямь некуда было деться от этой дышащей зноем и ветром солнечной полосы берега, усыпанного пестрой морской галькой и сплошь заваленной темными и белыми телами в купальниках фантастических расцветок.

На третий день мне ужасно надоело злое южное солнце. Нагретые им до сковородного жара валуны и окатыши обжигали ступни. Непрестанный гул воли, соединенный с шуршанием трущейся гальки, нагонял тоскливое настроение. Поворотившись раз двадцать на дощатом лежаке, разомлелый и рассолоделый, я лез в расплавленно блестящую теплую и грязную волну.

Я не влюбился в море. Оно было обычно зеленым, а не синим и тем более не черным. Оно было огромным, но не таким величественным, как представлялось раньше. По нему плавали маленькие катера с трамвайными сиденьями и с пышным названием — теплоходы. Оно больно хлесталось камешками даже в слабый прибой. В нем не было видно ни рыб, ни крабов, ни дельфинов, ни других морских чуд. А знаменитая морская горько-соленая вода была не солонее Ессентуков № 17. Ее можно было пить.

Я подозреваю, что многие люто скучали на пляже, скучали за картами, за разговорами о загаре, за разглядыванием бедер и ножек. Наверное, хорошо чувствовали себя тут только кучки развязных юнцов в мексиканских сомбреро и с замурзанными гитарами через плечо. Они бродили по пляжу, перешагивали через загорающих и бесцеремонно рассаживались возле каждой смазливой девчонки.

— Подумаешь, нашелся критик! — скажут иные. — А что же делать у моря, как не купаться, как не загорать?

Сдаюсь заранее! Я и не против такого. Кому что нравится... Но почему должно нравиться всем одно и то же?

Вообще, прожив тут пару недель, я вдруг обнару-

жил, что Кавказ — великолепное место и для всяких тунеядцев, лодырей и лжебольных. И нередко думалось: а вот нашелся бы такой невод, что пропускал бы сквозь ячейки отдыхающих тружеников и задерживал тунеядцев. Ох, какой улов достался бы рыбакам...

— Чем ездить на Кавказ, ловить каких-то птичек, вы бы лучше позагорали как следует. Приедете в свою Сибирь, никто и не поверит, что на море были, — судила жена инженера, коричневая до фиолетового отлива на лопатках. По-видимому, не слишком примерная в школе по географии, она упорно помещала Свердловск в Сибирь и наивно спрашивала:

— А у вас и трамваи в городе есть?

— Есть.

— А троллейбусы?

— Тоже есть.

— А рестораны?

— Да.

— А что, строганину там подают? — более профессионально интересовался инженер.

Мы переглядывались.

— Конечно, подают. Но больше мы любим сырую рыбу живьем, — говорила сестра.

Тогда они смущались и начинали хохотать.

Наверное, сестра разделяла их взгляды на пляжный отдых. Иногда, заметив в ее глазах подобие тоски, я горячо убеждал ее пойти загорать. Но тем не менее она верно следовала за мной во всех походах, может быть, из солидарности, может быть, просто по доброте душевной.

В конце концов я предложил поискать дроздов в горах за Хостой. И вот по безумной дороге мы взбираемся на гору Ахун. Справа серая каменная стена, слева сосущая душу голубизна, от которой мерзнут ноги. Так почти все время, пока автобус не останавливается у какого-то санатория.

— Ну-у! — говорит бледная спутница, вылезая из машины. — Больше не поеду.

Мы шагаем вверх по санаторно-чистым дорожкам мимо розового благоухания, пузатых чешуйчатых пальм, искривленных юкк и прочей показной южности. Справа столовая — белоснежный храм еды. Сквозь окно — салфеточки в кольцах, фужеры, фрукты. Слева — двухэтажные коттеджи.

«Санаторий Минздрава» — красовалось на арке ворот.

Рослый садовник, подстригающий розы, дремуче покосился на нас.

Скоро мы миновали санаторий.

Выше по склону темнел лиственный перелесок. Сырая глинистая дорога ныряла в него. Мы вошли. Теплая сырость была тут. Ноги скользили. От духоты колотилось сердце. И везде перелетали, чакали в сумеречных кустах черные дрозды. Здесь было много черного. Черная большая змея гибко переползла дорогу. Черные жуки-скакуны перебегали там и сям. Я отвернул влажный черный камень, и под ним беспокойно завожился черный, вполне настоящий скорпион. Я никогда не видел живых скорпионов и почему-то представлял их желтоватыми. Похожий на маленького рака, скорпион совсем не торопился бежать. Подняв торчком свой хвост, он независимо переступал паучьими лапками. Весь вид его говорил: никого не боюсь, попробуй задень-ка меня! Я тронул его гнилым прутиком, и скорпион тотчас саданул в прут кривой ядовитой колючкой хвоста.

— Черт с тобой, сиди под своим камнем, — сказал я, заваливая булыжник на место.

Скоро перелесок кончился. Мы вышли на просторную плантацию. Тут росли персики, абрикосы и орех-фундук в бледно-палевых обертках, очень похожий листвой на обыкновенную нашу ольху.

Где-то журчала вода.

Где-то стучал дятел.

— Съешь орешек, — сказала сестра, протягивая руку к ветке.

— Что ты, что ты... — испугался я. — А вдруг сейчас появится такой хозяин и закричит?

Впереди открылась низкая ложбинка. Роща длинно-иглой сосны-линии темнела за ней. Стояла на переднем плане величавая и тенистая кавказская липа. А под липой, совсем как на французских пасторалях, любезничала парочка, ушедшая подальше от глаз людских.

В ложбине у грязной лужи бегали, задирая хвосты торчком, все те же черные дрозды. Их было не меньше десятка. Едва мы подошли ближе, дрозды заклохотали, зачакали и полетели во все стороны. Коричневая грязь по краям лужи была в крестиках их следков.

Благодаря пророчествам Козленко я не рассчитывал

встретить здесь в таком изобилии этих интересных птиц и не взял птицеловной сети. Со мной был лишь маленький лучок-самолов. Его-то и установил я на грязи возле лужи, насыпав в прикормку мелких бабочек, мух и лесных клопов. Как я сожалел, что не привез с собой личинок мучного хруща — самый лакомый корм для дроздов!

А потом мы ушли, поднялись повыше, сели на крутизне и замолчали. Было тепло, и был ветер. Шумела сосновая роща, и море внизу зеленело свинцовой зеленью. Было видно, как цепочками бегут по небу белыши, Игрушка-кораблик тянул за собой двоящийся след. Белая бабочка промелькнула перед глазами, уселась на цветущий татарник. Это был каменный сатир. Он покрутился по малиновому соцветию и затих, сосал медвяный сок. Кружились тут же и обычные бабочки: репейницы и голубянки. Пара зеленых дятлов хлопотала на засохшем дубовом стволе, простукивая его со всех сторон.

— Даже не верится, — сказала сестра. — Мы где-то в горах. Там Черное море. Древнее море. Эвксинский понт! Сюда плавали греки! Здесь жила волшебница Медея и стояли забытые города. Погляди, там не видно греческих фелюг? А ведь море и тогда было такое же, и горы, и лес... Вот мы смотрели тисовые деревья. Им по две с половиной тысячи лет. Значит, они росли еще при персидских царях Дарии и Ксерксе в пятом веке до нашей эры (сестра — историк и всегда ищет историю, даже в чебуречной).

— Да, — в тон ей сказал я, — они росли при всех людовиках, бонапартах, мамах, не говоря уже о династии Романовых. Просто удивительно, как это никто из властителей не повелел их срубить. Бедь властители стреляли зубров, травили оленей, жрали пироги из соловьиных языков, объедались паюсной икрой и все-таки упустили наслаждение срубить два тысячелетия сразу...

Она словно не слышала меня.

— А все-таки здесь все новое и древнее. Даже солнце. Тут очень яркое солнце...

И она потянула юбчонку на сожженные колени.

— Смотри-ка, смотри, — показал я вниз по склону, где росли два широких куста.

Черный дрозд нырнул в один из них.

— Видела?

— Да.

— Поняла.

— Нет.

— Зачем он в куст залетел?

— Ну, мало ли...

— Сиди и смотри, я схожу проверю самоллов. Если в куст еще раз залетит дрозд, значит, там у них гнездо.

— А-а...

— Бэ-э...

Я ушел. В ложбине у лужи по-прежнему бегали черные птицы. Ни одна не думала соваться в мой самоллов. Может быть, они стеснялись той парочки, что обнималась под широкой липой?

— И аллах с вами! — сказал я, снимая снасть.

— Туда еще дроздиha залетала, — радостно сообщила сестра, указывая на куст.

— Пошли искать...

Мы спустились по пояс в траве к темным кустам, которые оказались ни больше ни меньше как лавровыми!

Подумать только — настоящий благородный лавр, которым увенчивают победителей и лауреатов. Лавровый лист! Лавровый куст!

— Ты ищи там, а я здесь, — показал я спутнице на другую сторону куста.

От лавра вкусно пахло похлебкой. Он был так обширен и густ, что найти даже большое гнездо представлялось трудным. Помня из разных научных описаний, что черные дрозды строят гнезда у корней, я деятельно шарил в подножии куста. Большая ящерица вдруг выскользнула оттуда, холодно-цепко перебежала по руке и нырнула в траву.

Гнезда нигде не было.

В процессе поисков мы обменивались такими репликами:

— Ну?

— Ничего...

— Есть?

— Нет.

— ...

— Не ругайся, бессовестный!

— ...

— Ой, кажется, змея!

Я перешел на сторону сестры. Она стояла с растрепанными волосами, красная и перепуганная.

— Где змея?

— Не знаю...

— А гнездо? Да вот же оно!

Гнездо было у нее над головой, серый ком травинок, волоса и соломы, крепко вплетенный в развилку ветвей. Настоящее дроздовое гнездо. Встав на цыпочки, я жадно заглянул в него. Желто-серые комочки не шевелились.

— Есть! Кажется, три... Голые еще... Слепые... Пойдем! — радостно крикнул я и потащил сестру вверх по склону.

За все время пребывания в Хосте таким счастливым я никогда не был.

— Вот тебе, проклятый! — пригрозил я большому хищному сорокопуту, черные брови которого были, как у молодки, выходящей из парикмахерской при женской бане.

Сорокопут перелетел по кустам с жуком в клюве. Теперь нам оставалось молиться, чтобы все ястребы, ласки, хорьки и сорокопуты здешнего колючего леса не развели про гнездо.

Время нашего пребывания в Хосте подходило к концу, а дроздятам, по моим расчетам, шел лишь четвертый день. Я знал, что воспитание ранних слепых птенцов — дело хлопотливое и неблагодарное. И все-таки надо было их брать, отправляться домой. За эти дни я успел купить хорошенькую расписную корзиночку с крышкой и пытался запастись дождевыми червяками на дорогу. Самое удивительное, что в краю садов и садоводов я никак не мог раздобыть обыкновенной железной лопаты. После мучительного хождения, спросов и выпрашивания я раздобыл наконец ржавую совковую дрянь и ею с проклятиями ковырял перегной под мимозами и магнолиями.

Фикусовые листья магнолий стукали меня по голове. Опадали лепестки ее неправдоподобных стеариновых цветов. Голову ломило от запаха олеандров. Никаких «вот таких», никаких «вот таких» червей не попадалось мне. Ископав, наверное, полгектара, я нашел с десяток тощеньких, невкусных на вид подлистников и бросил пустое занятие вместе с лопатой.

— Выкормлю хлебом с молоком, — объяснил я сестре, и мы отправились на автобус, чтобы ехать к «своему» гнезду.

Оно было целым. Три оранжевых цветка марсиан-

ского вида потянулись навстречу, едва я заглянул внутрь. Кто не видел неоперенных птенцов певчих птиц, тот вряд ли может представить, до чего они уродливы. Уменьшите ощипанную куру до размеров лягушки, со всей привлекательностью этой твари, — и вот вам пятидневный птенец дрозда с невероятно разинутой оранжевой пастью (иначе не скажешь). Наверное, так выглядели в прошлом мелкие птеродактили и детки динозавров.

— Ой, какие маленькие. Ой, какие... какие... — запричитала сестра, не решаясь вымолвить ясного определения.

Я отделил гнездо от развилки, поставил в корзину, закрыл плетеную крышечку. Дрозды-родители не сопровождали нас, не прикидывались от горя подстреленными, как пишут в сентиментальных рассказах. Черный самец лишь вылетел на сосну, раздумчиво проговорил «так-так» и скрылся.

— Знаешь, мне все-таки не по себе, — сказала вдруг потускневшая сестра. — Взяли мы их деток, унесли, а они теперь...

— Не разводи глупости, — сказал я ей с притворной бодростью. Потом взглянул в ее круглое расстроенное лицо и понял, что она...

— Ну, ничего же не случилось! Ведь мы их не съели? Нет. Не замучили? Нет. Мы их выкормим? Да. Вырастим? Да. Одно облегчение дроздам, вот и все... Ну, что ты?

— Конечно, — вздохнув, согласилась она. — Мы их вырастим... выкормим... А все-таки...

Я быстрее зашагал вниз по крутизне. Я знал, что началась нелегкая полоса моей жизни. Пропали и отдых и беззаботное настроение. Целых три недели надо кормить, кормить, кормить прожорливых дьяволят. Зато у меня будет настоящий черный дрозд — вороной, желтоклювый с оранжевыми кольцами вокруг глаз. Он будет петь как тот, на грузинском дубе. И ради этого я был готов на многое.

Лишения начались на другое утро. В пять часов птенцы подняли нас на ноги, потребовали еды. Запаса червей хватило на один прием. После кормления каждый синевато-голый птенец поклонился и положил на краешек гнезда белый пакетик известного содержания. Мне осталось осторожно забрать пакетики картонным пин-

цетом и выбросить за окно. Так я вступил в обязанности дрозда-папы.

Через час мы отправились на аэродром с чемоданами и корзинами в руках. Как все отъезжающие, мы увозили гору персиков, абрикосов, яблок и мелких, едва поспевших груш.

Дрозды в корзинке, за неимением лишней руки, я повесил на шею. Мы тащились к автовокзалу по изрядной утренней жаре. Встречные ухмылялись. Дроздята скромно попискивали. А сестра краснела и все-таки сожалела о том, что нельзя еще прихватить огурцов и помидоров, ведь здесь они в три раза дешевле.

Мы отдохнули в автобусе, который буйно помчал нас к Адлеру, и за окнами потянулся пейзаж, с детства знакомый по цибикам с грузинским чаем.

В самолете дрозды потребовали есть, и я пропустил самый волнующий момент, когда самолет, точно тигр, готовясь к прыжку, ревет особенно грозно, и вот уже чувствуешь замирающее покачивание пола, уходящую вниз глубину.

Где-то над Эльбрусом мое семейство снова заверещало. Я пичкал его размоченной в молоке булкой. Пичкал и думал. Вот ведь чудо! Лечу над Кавказом. Выше всяких орлов, с отдаленной взлетевших вершины. Высота 10 километров. За иллюминатором — 42°. Вверху синее стратосферное небо. Внизу Кавказ. Отсюда он кажется кучей шлака, присыпанного снегом, да простят меня любители сравнений высоких и торжественных. Вообще в воздухе думается не совсем так, как на земле. Необычность обстановки заставляет сопоставлять и сравнивать. Может быть, тому виной легонькое покачивание салона, банное сипенье вентиляторов и постоянный приглушенный гул моторов. В окно кажется, что самолет стоит на месте, лишь едва клонит алюминиевое крыло. Дрожит ритмично на крыле пучок каких-то полосок. Внизу Ледовитый океан облаков. Настоящая Арктика с торосами, льдинами и редкими голубыми разводьями. Слой облаков так правдоподобно плотен, что ищешь на нем больших бродящих белых медведей; кажется, по нему вполне можно ходить. Иногда облака редеют, и тогда сквозь редкую голубизну проглядывают прямоугольники лесов, белые черточки дорог, рассыпанная крупа домишек.

— Скажите, пожалуйста, кто у вас там? — заинтересовалась соседка.

— Дроздята, — сказал я.

Я приоткрыл плетенку, и три оранжевых глотки разом воспрянули со дна.

— Ой! — взвизгнула дама и отодвинулась. — Фи, какие, как змеи...

Не стану описывать всех злоключений. Скажу только, что летели мы через Москву с остановкой на сутки, и в тот пасмурный московский денек не один прохожий с удивлением останавливался, глядя, как большой дяденька шагает по улице Горького с детской расписной корзинкой, заходит иногда во дворы и что-то там копается у стен, воровато заслонясь спиной от прохожих. И на месте каждой остановки оставались белые маслянистые пакетики.

Истекали последние отпускные дни. «В июль катилось лето». Я уже настолько привык к расписной корзиночке, что машинально хватался за нее, уходя из дому. Дроздята ездили в лес за черникой, гуляли по бульварам, обедали в кафе. Отрадно было одно, что с каждым днем они становились взрослее и красивее. Они оделись бурыми перышками и вырастили короткие хвосты. В один прекрасный день птенцы отказались сидеть в корзинке, одичало лезли вон, порхали на руки и плечи.

Гнездовый срок кончился, и новые инстинкты проснулись у птиц. Они вдруг утратили милую доверчивость. Перестали подбегать к рукам. Но самое главное — они начали есть сами.

Три бурых обжоры выстраивались полукругом возле консервной банки с червями.

— Есть, есть, есть хочу! — вопил самый крупный, белогорлый и прихлопывал крыльями.

— Есть, есть, есть! — жаловался средний, раскрыв клюв.

— Есть, есть, — плакал третий, самый невзрачный, самый маленький.

Они ждали, что черви сами ползут в рот. Через полчаса они начинали неумело хватать и скоро съедали корм подчистую. Аппетит питомцев приводил нас в трепет. Они уплетали в день пол-литровую банку червей, и только водяные мозоли на наших ладонях знали, как дается эта ежедневная «пол-литра». Правда, по нужде

птицы ели и хлеб в молоке, но ведь хотелось их выкормить крепкими, здоровыми.

— Хорошо все-таки, что их три, а не пять и не шесть. И как умудряется пара птиц без лопат выкормить такую ораву?— удивлялся я.

Читатель, не знакомый с птицами, скажет, зачем было жадничать, выращивать всех трех вместо одного. Ведь и хлопот в три раза было б меньше. Конечно. Никто не спорит. Беда в одном — все дрозды в птенцовом перье одинаковы: и самцы, и самки. А нам был нужен только один самец, ведь самки у певчих птиц не поют. Ну-ка, который он из трех — часто гадал я, оглядывая бурых приятных птичек ростом уже со скворца.

В августе дроздята начали ворчать. То один, то другой, то все разом, усаживались они на жердочке и тихонько мурлыкали, верещали нечто несуразное, подрагивая хвостами.

— Усе самцы, — заявил нам Козленко.

— Не может быть!

— Та я ж их тысячи... Раз заспивали, так уж самцы. Ну, может, этот вот, малой, буде самка, а те усе самцы...

Не полагаясь на категорические свидетельства, я ждал, пока дрозды начнут линьку, сменят птенцовый наряд на оперение взрослых.

Мы долго слушали нескладные их напевы, а потом, вспомнив, что все молодые птички учатся петь у старых, я разыскал пластинку с голосами птиц и ежедневно до вязкой оскомины крутил ее перед клеткой на проигрывателе.

Я возненавидел рафинированный голос диктора, тысячу раз повторившего мне фразу: «Вдали, торжественно и немного грустно, поет черный дрозд».

Утром солнце заглядывало в окно. Дроздята за стеклянной дверью прихожей начинали верещать и цвиркать. Их пение вполне походило на скрип рашпиля по неточеной лопате.

— Вдали, — просыпаясь, говорила сестра из соседней комнаты.

— Торжественно... — отвечал я.

— И немного грустно... — фыркала она.

— Поет черный дрозд...

Белогорлый и Средний старались: они исторгали целые каскады антимузыкальных звуков. Маленькая сум-

рачно молчала, отличаясь только невероятной прожорливостью. Маленькой мы звали ее по традиции, теперь она быстро догоняла Белогорлого и Среднего.

В конце сентября, когда терпению уже приходил конец, дрозды стали линять. Прекрасно поющий Белогорлый вырастил на груди ржавый крап и превратился в обыкновеннейшую самку, которую я с радостью выпустил. Оказался самкой и Средний. Я преподнес его прорицателю Козленко, и он его выпустил тоже. Осталась Маленькая — явная самка. «Неужели все три?» — горестно спрашивал я у Козленко.

— А что ж? И бывает. Вот у Пятигорске я выкармливал... Взял пять гнезд — и все самки. Я ж их тысячи...

Мы вздыхали вокруг Маленькой каждый день, поджидая, когда на ее грудке появятся проклятые рыжие перья — свидетельство принадлежности к непоющему женскому полу.

И вот через неделю я заметил, что на грудке у Маленькой проглянули перышки прекрасного угольного цвета. Самец! Самый настоящий, — ликовали мы, заваливая заморыша лучшим кормом. А он рос, оперялся в вороное перо и через месяц стал точно как тот, на грузинском дубу, — крупный, черный, великолепный, только клюв у него не пожелтел. Это ведь бывает к весне.

Дрозд поселился в большой клетке и начинал уже пробовать звучный флейтовый голос. Мы благоговели и торжествовали.

Однажды рано утром я был разбужен криком сестры с кухни.

Она кричала так, точно в квартиру вошло семеро разбойников.

Я вылетел в кухню и сразу понял все. Клетка была пуста. Дверца отперта. Дрозд сидел в раскрытой форточке и радостно приквохтывал, словно бы говорил:

— Ну, спасибо, друзья, за хлеб, за соль. Теперь-то уж я задам тягу...

Где он теперь, этот черный дрозд? Помнит ли нас или забыл? Может быть, вернулся он на Кавказ. Поет где-нибудь на горном склоне.

Вспоминаю... Чудится мне теплое солнце, зеленое море, грузинский дуб, колючая ежевика.

— Не поехать ли опять? — вслух думаю я...

Лешачья грива

У рыбаков, охотников, собирателей грибов и ягод всегда есть где-нибудь заветное местечко. И пускай другие говорят про лучшие места, пусть нахваливают улов, все-таки больше тянет на свое озеро, на давно знакомый мысок, на далекий ягодник. Сказывается ли тут привычка ко всему обжитому, родному или впрямь выбранное место лучше многих — право, не знаю. Но сам я не был исключением из общего правила и тоже из года в год наезжал в деревню Галашки, гостил там подолгу у давнего знакомого Петра Григорьевича Манина.

Манин жил в конце деревни, у речки. Его изба смотрела в поле, огород спускался к самой воде. За рекой начинались луга.

В доме Манина всегда было пустынно и необыкновенно тихо. Никто не мешал мне сидеть за работой хоть целые дни, а в перерывах, которые я сам себе устраивал, бродить по двору и огороду, лазать в заросли конопли и глухой крапивы за сараем. Я любил травяную глушь и крепь, любил сидеть там наедине со своими мыслями, рассматривать радужных жучков-листоедов, прислушиваться к пению деревенских петухов, остро обоняя запах конопли и пресную сырость скрытой от солнца земли.

Но чаще я приезжал в Галашки не писать, а именно бродить в полях и перелесках, лазать по болотам, охотиться и рыбачить. Писать о деревне можно было и в городе. На отдалении обострялась память, каждый лесной звук, полевой цветок, зеркальная капля росы вспоминались остро и отчетливо.

Места вокруг Галашек были чудесные: невысокие увалы, смешанный лес, пашни на склонах и в ложбинах, выгоны для скота вдоль реки, огороженные жердьём, и сама речонка Галашка, узкая, холодная, вся в зелени черемухи, вербы и хмеля.

На весенних рассветах здесь пели соловьи, скрипел невидимый дергач, синегорлые варакушки трещали и посвистывали с вершинок кустов, нарядные дубровники порхали по кочкам заливного луга.

На опушках, возле кромок полей, в поросли мелких елочек с пахучей и мягкой хвоей находил я гнезда черноголовых славок, тоненьких, серых птичек, которых редко встретишь в Зауралье. Здесь была обетованная земля для всякого любителя природы. Нигде не встречал я такого множества цветов, как на заливных лугах по Галашке, таких непугливых птиц, спокойно подпускающих на самое близкое расстояние. И я уже перестал удивляться, если находил гнездо горихвостки, устроенное прямо на столбике изгороди, не удивлялся лягушкам с кулак величиной, которых встречал каждое утро на крылечке. Длинным прыжком они соскакивали в росистую траву.

За десяток лет я узнал в округе всякую гарь, просеку и тропу. Одно только Черновское болото километрах в семи от деревни оставалось неисследованным. Оно растянулось к юго-востоку очень далеко. Лишь в ясные ветреные дни, когда исчезает туманная хмарь, с вершины самой высокой в округе Березовой горы можно было различить его край — волну сизых пологих увалов.

Дикое, заглохшее, необъятное болото... В поросли унылых ровных сосняков, в шапках дурманного багульника по кочкам, полях голубики и подбела, с черными глазами торфяных провалов и сухими релками, где в человеческий рост вымахивает розовый кипрей. Целая неизвестная, неразгаданная страна со своей жизнью, своим населением.

Майскими прозрачными вечерами в реденьких сумерках я подолгу сидел на северном, еще не облиственном склоне Березовой горы лицом к болоту и, отгоняющих комаров, слушал.

Тысячи звуков, иногда знакомых, иногда совсем неопределенных, тихих и громких, далеких и близких, доносилось снизу. Резко жвьякали кряквы. Цвирикали чирки. Однообразно покрикивал воробьиный сыч. А ближе, на вершине лохматой, чуть освещенной жидким розовым светом елки на все лады улюлюкал, высвистывал одинокий певчий дрозд.

Между привычными уху голосами вдруг рождались и пропадали другие: длинный сипящий свист, какой-то дальний лай, не то заяц кричал по-весеннему странно и жалобно, не то урчал козодой или другая ночная птица.

Я просиживал до темноты — и уходил, когда над зубчатыми елями болотной кромки начинали теплиться первые звезды. Меня провожал целый хор лягушачьих голосов.

Болото манило своей неприступностью и постоянно заставляло думать, что, может быть, среди его нехоженых пустошей, чахлых берез и бесконечных сосняков живут какие-нибудь неведомые существа.

В деревне Черновское не жаловали. Часто терялся там гулевой скот, по уши проваливались лошади. Рассказывали, что в давние времена немало и людей «загибло» в топях вокруг лесистого длинного острова с диким названием Лешачья грива.

Такие прозвища на Урале дают местам глухим и угрюмым. В Таватуйской даче есть, например, Лешачьи лога, река Шайтан и речка Шаманиха. Есть в Зауралье Чертово озеро, Чертова пойма, Лешачий мыс. А странное, ухающее колено в соловьиной песне названо «лешевой дудкой».

Бесконечное множество рассказов про болото выслушал я от хозяина избы Петра Григорьевича. Не лишне будет сказать об этом человеке. Люди, подобные Манину, есть в каждой деревне, в каждом селе. За свою шестидесятилетнюю жизнь этот лысый, испитой мужичок кем только не перебывал. Был он лесником, сборщиком хмеля, объездчиком, торговал в сельпо, работал пожарником, поставлял мясо в совхозную столовую, а в последнее время столярничал в колхозе. Делал грабли к покосу, домики для лис и песцов на колхозную звероферму. Был он вдов и имел трех замужних дочерей. Жил один, а к дочерям ходил лишь по праздникам, как сам он говорил, «пировать».

Вместе с редкой непоседливостью, добротой и покладистостью Петр Григорьевич был суеверен и боялся всего необычного.

Однажды, подходя на рассвете к глухариному току в самой обочине Черновского, он вдруг резко встал, сдернул шапку, закрестился, забормотал молитву.

— Что ты, Григорьич? — вздрогнул я, окликая его.

— Тише... Вон! Стоит... Он стоит... Пресвятая...

— Кто? Где?

— ...Оборони нас... Да воскреснет бог и разыйдутся врази его, — шептал Манин.

Я сдвинул предохранитель, приподнял ружье, всмат-

ривался в сизый сумрак. Впереди действительно маячило что-то высокое, черное, похожее на гигантскую фигуру человека с распростертыми руками.

Только непоколебимая вера в отсутствие чертей повела меня к немому предмету. Впереди все яснее стал обозначаться высокий слом горелой лиственницы с двумя сучьями, похожими на полуопущенные руки. Манин подошел не сразу, с опаской пощупал обугленный влажный ствол, вымазал пальцы сажей и уж тогда успокоился.

— Чтой-то ране я его не видал, — оправдывался он. — Тьфу, нечисть проклятая...

Точно так же испугался он, даже побледнел, когда к окну подлетела горихвостка и стала порхать возле створок, должно быть склевывая комаров.

— За мной она прилетела... По мою душу, — удрученно говорил он потом. — Это к худу, ежели птичка в окно стучит али вот еще кукушка прилетит к дому, закукует...

В тот вечер, помнится, Петр Григорьевич даже спать лег в избе, хоть обычно спал он в летнее время на дворе, в телеге, тепло укрываясь старыми одеревенелыми тулупами.

— ...А вот ты хошь верь, хошь не верь, а нечистое место эта болотина, — рассказывал он как-то в другой раз, восседая на печи с деревянной ладилкой в руках, сам весьма похожий на лысого домового. — Ты не смотри, что я тогда напужался. С кем чего не бывает... Я, парень, ране на медведя хаживал, рысей бивал, волков. Болото это не простое. Блазнит на нем.

А то, сказывают, стонет все кто-то... Ну, это, может, бабьи запуги. Стонать — ветер стонет, может, птица какая-нибудь, лесина тоже. А что я сам видал, от этого не отопрусь. Огни там светятся. В аккурат у Лешачьей гривы. Зеленые такие, нечистые огни. И здорово другой раз полыхают, ночью. Врать не стану. Ране у острова озеро было. Мне дед покойный сказывал, а ему тоже дед. Само собой не великое озеро, а дна там вовсе не было. Рыба водилась. Черная рыба. Вот просто и окунь тебе, и ерш, и щука в нем — как угольные. Надо полагать, оттого и болото Черновское прозвалось, а может Чертовское... На моей памяти еще рыбачить туды бежали... Васька, Афанасья Маркелыча, погодок со мной, отчаянная голова, все туды лазал. Сказывал, посуху,

мол, рыбу достаю. Продолблю пойму — и таскаю окуней. Под поймой и сейчас вода. Сверху ее только травой позаплело, мохом позатянуло. Я по молодости ко гриве хаживал. Гиблое место. Сперва ничего идешь — топко, а не проваливаешься, нога чует — твердо, ничего... Ну а чем дале, тем хуже... Зыблется под тобой сплавина, чамкает, волна под ней ходит... Страсть... Пойдешь и воротишься, а то думаешь: сгинешь ни за что ни про что...

Манин помолчал, с напряжением завертывая концы берёсты.

— ...Васька-то... сгинул ведь... — продолжал он, отставляя готовый туесок. — Ушел так-то... Нет его день, ночь, нет и ишшо день. Народ искать пошел. Мужики лыжи надели. Думали, не на островину ли пробрался каким случаем. Там, видишь ли, старики говорили, клады закопанные есть. Разбойничьи клады. А Васька страсть до всего такого охоч был: искать чего, гнезда зорить... Ну и в чужую клеть залезть. Все, бывало, по весне зовет: «Айда, Петька, сорочьи яйца искать. Ими клады отворяются...» Брехня, конечно: какие клады, кто наклал их? Воротились мужики, удочку Васькину принесли, сломанную, да шапчонку. Провал, говорили, в том месте, а в провале вода как деготь берестяный. Видать, под сплавину его, беднягу, затянуло. Не ходи туды. Хоть много лет прошло, а все равно гиблое место, будь оно проклято, — заключил Манин, принимаясь ловко соединять ладиллом кромку нового берестового бурачка.

Петр Григорьевич был во многом прав. Ведь уже не первый раз пытался я пройти на Лешачью гриву. Успешно продирался сквозь густейший сосняк-карандашник, проходил полосу сырого ольховника. Дальше шли огромные кочки, через них приходилось перелезать на четвереньках, то и дело вспугивая противных серых гадюк и юрких ужей. Еще дальше лес редел, но почва становилась топкой: ноги хлюпали по воде, застревали меж кочками, цеплялись за обнаженные корни. Здесь росли метелки тростника, высоко поднимал свои зонтики ядовитый вех, омежник, сочный дудник и болотные купыри. Пробираешься — как в сказочном травяном лесу. И вот наконец совершенно непроходимая полоса — узкая, ровная, моховая поляна, растут на ней скрюченные березки да елки, наполовину сухие, с ис-

кривленными больными сучьями. Это сплавина: ступишь — закачаются березки, закивают елочки, а нога медленно и неуклонно пойдет вниз.

Здесь я обычно останавливался, журавлем мостился на последней кочке, в бинокль разглядывал не такую уж далекую, таинственную гриву. Там стоял темный и хмурый бор. Толстенные сгнившие деревья наклонились у края, мертвые осины кое-где упали прямо на пойму. И над всей лохматой островиной величественно возвышалась гигантская лиственница с узловатыми черными сучьями и расщепленной молниями вершиной. Может быть, эта вековая уродина и придавала гриве вид унылого, окаянного места.

Но в сентябрьские голубоглазые дни, когда спокойное небо похоже на снятое молоко, грива совсем не казалась угрюмой. Ярко расписанная золотом берез, в нежной осенней дымке, она выглядела нарядной, манящей и неприступной красавицей на фоне тусклых, однообразно зеленых дальних сосняков. Весной она зеленела намного раньше; теплая вода под спавиной будила спящие деревья.

Может быть, я и не стал бы пробираться на Лешачью гриву, если б к тому не привел случай.

В самом начале мая бродил я в обочине Черновского болота, отыскивая глухариный ток. Ток был старый, давно известный. Я пошел на него один, так как Петр Григорьевич по случаю праздника пировал у дочерей. Вместе со мной увязалась в лес двухгодовалая собака Шубка. Манин завел ее вместо старой лайки, погибшей в позапрошлом году. Шубка не была чистопородной собакой, о чем свидетельствовали ее довольно длинная рыжеватая шерсть и склад морды, напоминающий дворовых Шариков и Жучек. Но хвост Шубки был закручен крендельком, ушки торчали, а птицу она искала азартно и страстно, ничуть не хуже тех благородных кофейно-пегих и чепрачных пойнтеров и сеттеров, которые получают медали на выставках и имеют длинные родословные с перечислением прадедов до двадцатого колена. Не раз я видел, как Шубка, соскучившись сидеть возле ворот да тявкать на редких прохожих, подлезала под прясло в огород, спускалась к речке, переплывала ее, нимало не смущаясь студеной весенней воды, и, отряхнувшись, исчезала в кустах противоположного берега. Она уходила охотиться и возвращалась

иногда через двое суток, усталая, но с туго набитым животом. Обычно она залезала под сарай отсыпаться на сене, свернувшись рыжим клубком. Уйти на охоту без Шубки было невозможно. Едва в полной темени выходил я на крыльцо с ружьем и котомкой, как она с визгом выкатывалась из-под сарая, кидалась под ноги, сепетила хвостом, поблескивала зелеными огоньками глаз, выражая радостное нетерпение.

Весной с собаками охотиться нельзя. Накануне по моей просьбе Манин привязал Шубку под сараем на веревку. Я ушел, провожаемый визгливым тывканьем, воем и неутешными собачьими причитаниями.

Через час она догнала меня на подходе к Черновскому болоту, радостно и виновато улыбаясь, с обрывком веревки на шее. Этот обрывок и самый вид собаки, покорно ожидающей, не закричит ли на нее человек, не заругается ли, до того умилили меня, что я махнул рукой и скрепя сердце пошел дальше вместе с рыжей помощницей. Теперь искать ток было почти бесполезно: собака разгонит глухарей. Я изменил первоначальный план, надумал пройти по обочине болота, поискать тетеревов. Они часто вылетали сюда кормиться сладкой весенней клюквой.

Долго лазали мы по соснякам, выбирались на чистинки, одолевали кочкарник — удачи не было: то птица вспархивала слишком далеко и долетал лишь волнующий грохот крыльев, то Шубка поднимала дичь где-то в стороне, то вдруг наворачивалась на верный выстрел рыжеватая тетерка. Я вскидывал и опускал ружье, провожая стремительно улетающую птицу. Было немного досадно, однако, если говорить начистоту, я не слишком огорчился многочисленными неудачами. Уж очень хорош был над болотом сухой и благостный майский день. Было жарко. Даже парило. По прошлогодней листве в осинниках шуршали ящерицы. Иногда пролетали маленькие красноватые бабочки. И везде, где было посуше, кучками росли подснежники на толстых ворсистых стебельках. Так пробродили мы до вечера и вышли к самому краю сплавины. Я уже хотел повернуть обратно, как Шубка вдруг высокими скачками перемахнула несколько кочек — из чащи справа тяжело заподнимались две пепельные птицы. Глухари! Я выстрелил мгновенно. Первая птица мельницей завертелась в воздухе, тяжело шлепнулась на сплавину. Дру-

гая продолжала лететь. Ведя стволами за ней и соображая «стрелять не стрелять», я не удержался. Было видно, как из глухаря брызнули перья. Он неестественно, столбиком стал забирать вверх, справился, оттого пошел на снижение и скрылся в кромке Лешачьей гривы.

Шубка жамкнула первую птицу, пулей промчалась по зыбкой сплаvine и юркнула в заросли острова. Скоро услышал я далекий визгливый лай. Очевидно, раненый глухарь сидел на дереве.

Как же теперь? Как достать убитую птицу, а главное — выманить с островины молодую горячую собаку? Я беспомощно топтался у края сплавины, свистел, кричал, звал. В ответ неслось потягивание собаки, — охваченная охотничьим азартом, она продолжала караулить глухаря.

Попробую выстрелить. Может быть, прибежит. Я заложил патроны. Два выстрела гулко раскатились над болотом, много спустя отозвалось эхо. Прислушался. Нет! Лает...

— Шубка! Шубка! Шубка-а! — звал я на все лады, свистел не хуже Соловья-разбойника, а в ответ был тот же редкий визгливый лай.

«Может быть, все-таки попытаться хоть убитого глухаря достать? Не оставлять же такую дорогую добычу», — подумал я и тотчас вспомнил рассказы о болотных огнях, об утонувшем Ваське. Деручий озноб волной пробежал от ног по спине. Захотелось немедленно вылезть из болота, выйти на сухую, твердую, безопасную землю.

А Шубка?! Ведь она до потемок будет сидеть под деревом, оглядываться, скулить, но не уйдет, верная своему собачьему долгу. Сходить в деревню за лыжами? Пока я вернусь, собака может потеряться в беспредельных трясинах чертова болота и не найти выхода.

— Нет! — сказал я вслух. — Надо успокоиться. Я переползу через эту паршивую трясину и ворочусь обратно. По крайней мере, доберусь до убитого глухаря. Надо взять себя в руки... Крепко.

Я сел на сухую кочку и стал обдумывать план действий, втайне надеясь, что Шубка еще вернется.

Однако время шло, а собака не появлялась. Почему-то я припомнил, как бежала однажды в городе за

трамваем такая же рыжая собачонка. Хозяин бросил ее и сел в трамвай, а она неслась вдоль линии, из последних сил стараясь не отстать, за бездушно звенящей, грохочущей машиной.

Я слез с кочки, выбрал две длинных, крепких березы, обсек лишние сучья, оставляя лишь самые прочные с обеих сторон. Чтобы сумка не мешала, я снял ее и оставил на кочке, повесил за спину ружье, подтянул до пояса высокие болотные сапоги и, не рассуждая много, ступил на зыбкие кочки. Первые шаги были не трудны — кочки колебались, опускались, но держали. Самое страшное было впереди — там, где лежал убитый глухарь.

Последняя кочка! Она тонет. Опускаюсь на четвереньки, опираясь на стволы березок. Держат. Так на четвереньках, а потом почти ползком двигаюсь все дальше и дальше. Вот и убитый глухарь! Скрестив лапки, привязываю его к поясу. И снова ползу. Ледяная вода вдруг заливает в рукава. Гулко, гулко стучит сердце. Теснит дыхание. Странное чувство овладевает мной: кажется, что ползу по поверхности воды. Слой трав и мхов прогибается, зыблется, чмокает.

Но так длилось недолго. Лешачья грива приблизилась, почва как будто стала тверже. Снова пошли кочки, сухие травы. Уже не булькает подо мной волна. Я встаю на колени. Иду, как странное четвероногое. Поднимаюсь. Осторожно делаю шаг, другой. Все... Позади опасная полоса. Видимо, там, где лужайка, был глубокий проток, а здесь уже велик слой земли, торфа и мхов. Я быстро дошел до края островины и вступил на новую землю. Страх не было. Было неясное волнение, ожидание нового и необычного; наверное, с таким же чувством вступали путешественники на берега неведомой земли. Вот она, Лешачья грива! В закатном солнце золотятся макушки сосен. «Тви-тви-тви-тви-тви-тю», — поет зяблик в пустой тишине. Высокая немятая трава с беловатым весенним налетом шелестит под сапогом. И кажется мне, что иду я в ворота древнего лесного царства, прямо в гости к еловому лешему с зеленой бородой.

Что-то гулко стукнуло впереди, слышалась возня, сдавленное рычание — и все стихло.

Даже жарко стало. Я замер, приподняв ружье к плечу, готовый стрелять в любую секунду. Кто?

Вот шелестит трава, кажется, будто ползет или волочится кто-то.

— Полоз? — ужаснула дикая мысль. Ведь говорили бабы, что живут в этом болоте змеи в сажень... Меж стволами мелькнуло темное, низкое, непонятное...

...Ой! Да это же Шубка!! Тащит второго глухаря! Шубка, милая! Я бегом бросился к собаке. И она тоже обрадовалась, отпустила тяжелую птицу, заскакала вокруг меня, прижимая ушки, стараясь лизнуть в лицо. Мы обрадовались друг другу, словно это была встреча двух людей, занесенных судьбой на необитаемый остров. И разом пропал весь страх. Даже злость на себя появилась. Какие полозы? Сроду их здесь не бывало. Пойду и нарочно облазаю всю гриву. Все-таки интересно побывать в таком месте, где, наверное, не ступала нога человека. Я привязал второго глухаря к первому, перекинул тяжелую ношу через плечо, осмотрел ружье и неторопливо двинулся в глубь чащи. Впрочем, ити быстро было нельзя. Колючий кустарник с засохшими синими ягодами то и дело цеплялся за одежду, колол руки. Ключьями висела на нем солома — остатки прошлогодних птичьих гнезд.

Древние колодины мягко рассыпались под ногами, и стояла величественная тишина, изредка нарушаемая все той же песенкой зяблика да вечерним юрчанием дроздов-белобровиков.

Я обошел всю островину, перевалил на противоположный берег, и там была та же зеленая топь, а дальше синели бесконечные низкие сосняки. Ничего особенного здесь нет. Лес как лес, глухой, нехоженный, мрачный. Вон большое гнездо на вершине сосны. Должно быть, той пары белохвостых орланов, которых из года в год видел я на недоступной высоте над болотом.

Я подошел к сосне. Хвоя у подножия была усеяна сизыми косточками птиц, рыбьими головами, клочками заячьей шерсти.

«Конечно, орланы...»

Пока я осматривал островину, в лесу начало смеркаться.

«Пора домой, в деревню», — спохватился я и с неудовольствием почувствовал, что ползти вновь через сплаvinу страшновато. Опять ложиться на сырой мох, зачерпывать рукавами студеную воду, ежесекундно опасаясь провалиться, сознавая, что стоит заползти в

«окно», и тут уж гибель, медленная, ужасная, беспомощная и глупая.

Вернувшись к месту «высадки» на остров, я поглядел на противоположный сосняк. Мой след заметной ложбиной пролег через пойму, кое-где в ней поблескивала черная, жуткая вода.

После долгих сомнений и раздумий я не решился вторично испытывать судьбу. Ведь если провалишься, не помогут никакие березы. И ночевка на этом глухом чертовом острове без еды (сумка-то осталась на той стороне) не была заманчивой, да что поделаешь. Я не один... Шубка между тем сидела рядом, пошевеливала хвостом и время от времени наклоняла морду набок, словно тоже прикидывала, как быть.

Я выбрал место повеселее, стал таскать сучья, сухие елочки, осыпавшийся колючий лапник. Все было готово для костра, когда я полез в карман и со страхом обнаружил, что спички полностью промокли, как и большой ломоть хлеба в боковом кармане.

Новое открытие опешило, заставило тотчас оглядеться. Темнело. Заря потухала за сосняками. Звезды начали проклевываться в густеющей синеве неба. Над сплавиной курился туман. Пахло сыростью, подснежниками и особенным весенним запахов молодой зелени.

Попробовать зажечь от выстрела. Я поискал в патронташе осекшиеся патроны, быстро разрядил их, высыпал дробь в карман. Потом собрал самый сухой мох, травинки — сложил кучкой. Выстрел — и... кучка разлетелась вдрызг, но ни один самый маленький кусочек даже не затлел. Я уменьшил заряд и снова повторил опыт с прежним результатом. Сзади захлопала испугнутая выстрелами птица. Я стрелял еще и еще. Сухая трава на мгновение начинала тлеть, а пока я наклонялся, чтобы раздуть крохотные красные точки, они гасли, а вместе с ними гасла надежда на веселый огонек. Я уже вслух проклинал себя и за неосторожный поступок, и за то, что не уберег спички и не переполз сплаvinу обратно. Сейчас уж подходил бы к деревне, а то и за самоваром сидел... Кукуй теперь в темноте без огня, без еды, в холодном болотном тумане. Страх, сомнения, самые глупые мысли, которые могут породить лишь отчаяние, глушь, одиночество и мрак и которые никогда не появятся днем, вдруг рождались и упрямо

лезли в голову. Я уже всерьез раздумывал, не перебежать ли через сплавину, лишь бы уйти из сырой мглы и этой жуткой тишины. Она обволакивала, давила, и все казалось, вот-вот прорвется каким-нибудь воем или хохотом...

Я сел на холодный лапник, погладил собаку, всячески стараясь успокоить самого себя, как делал и делаю всегда, если теряю приметную тропу и попадаю в непонятное место. Нет ничего хуже действовать, поддаваясь первому, самому сильному отчаянию. Нередко люди в таком положении, в лесу, начинают метаться, кидаться из стороны в сторону — и тогда беда.

Мало-помалу я стал успокаиваться. Наверное, сказывалось присутствие Шубки, о которой я вначале как-то позабыл. Шубка сидела смирно и время от времени принималась искать блох.

Темнота густела. Светлее было только на западе. Было видно, как дрожащими неясными силуэтами над кромкой гривы пролетали вальдшнепы. Шла тяга. Но я не думал браться за ружье. Все мои мысли сосредоточились на одном: как раздобыть огонь. Добыть огонь трением сучка о сучок я не пытался. Я по опыту знал, что этот способ дает хорошие результаты лишь в повестях о путешествиях, а в жизни пригоден как потогонное средство. Не было у меня и подзорной трубы, из которой я мог бы извлечь увеличительное стекло, да оно и не пригодилось бы: кругом стояла черная сырая тьма, как в подzemелье. Слева вдруг послышалось странное чмоканье, кто-то прошел по грязи, с трудом выволакивая ноги. Потом прошумели задетые кусты. И мне показалось, я слышу шумный тяжелый вздох: «Ф, фу-у...»

Леший... Он... Его грива.

Все смолкло... Тихонько ворчала Шубка, порываясь в сторону, но я крепко держал ее за обрывок веревки. Холодная испарина выступила у меня на лбу. «Огонь... огонек бы... огонек», — шептал я и вдруг вспомнил юмористическую картинку, которую видел когда-то давно в журнале «Огонек». Называлась она: «Добывание огня в каменном веке». Были там изображены два бородатых дикаря, из которых один стоял на четвереньках перед грудой поленьев, а второй колотил его каменным молотом по густоволосому черепу. Из выпученных глаз дикаря летели искры, над костром поднимался клуб дыма.

А что, если сложить кучку из травы, посыпать ее порохом и выстрелить?

Я тотчас ощупью принялся разряжать новый патрон. — Да будет свет! — сказал я, подводя стволы к посыпанной порохом кучке травы, которую едва различал во тьме. Выстрел грохнул. И вот оно, счастье! Целый сноп пламени и дыма взметнулся вверх, трава и мох вспыхнули, спички запыхкали одна за другой. Позднее я обнаружил, что опалил ресницы, но разве можно было огорчаться по пустякам, когда у моих ног весело пощелкивал, потрескивал, метался, прорываясь сквозь сухие прутья, рыжий язычок пламени и пахучий дымок першил в носу, выжимал слезы.

Теперь нам с Шубкой не страшны ни тьма, ни лешие, ни водяные, ни прочая чертовщина. Все вдруг стало обыкновенным: и ночь, и сосны, и болото. Я зарядил ружье пулей и картечью, улегся на хвою. Шубка тотчас примостилась возле ног. В глазах ее мерцали, отражаясь, два крохотных костерка. Я подсушил на огне промокшую краюху, и мы с наслаждением стали есть теплую, продымленную мякоть.

Как же меняется настроение человека. Полчаса назад сидел я впотьмах у ствола этой же сосны, одолеваемый страхом, а теперь все прошло, и на душе спокойно, даже весело, пожалуй...

А ночь над болотом непробудная, как сон-трава, чуткая, как волчье ухо. Далекие созвездия ясно обозначились в вышине. На северо-западе небо еще смутно бледнело. Белая яркая капля Венеры дрожала и лучилась низко над черными, спящими сосняками. Левее и выше ее разметнулось широкое созвездие Льва. Я разглядывал звезды и думал о них. Вот там, в угольной нездешней глубине, затеряны далекие, невообразимо далекие миры. Там свои солнца и своя жизнь, и, может быть, какой-нибудь охотник сидит вот так же на неведомой гриве, ждет рассвета, думает о чем-то и не знает, что я существую и тоже думаю о нем. Созвездия! Они всегда влекли меня, манили даже названиями: Северная Корона, Орион, Гончие Псы, Волосы Вероники... Вон они, Волосы Вероники, — горсточка чуть различных туманных огоньков.

Хруст сучьев прервал мои мысли. Я встрепенулся, сел, схватился за ружье. Вскочила, вздыбила шерсть Шубка, глухо зарычала, отвернувшись от огня. Тишина.

Только сердце стучит гулко. За деревьями снова тот же шумный вздох, хруст сучка под тяжелой ногой... И вдруг близко и тяжело затопало, зашелестели кусты. Собака юркнула во тьму, заливаясь злобным лаем. Топот удалился и быстро стих. К огню выскочила взъерошенная Шубка.

— Кто? — чуть не спросил я у нее и ответил сам себе: «Лоси! Конечно, лоси. Только они могли так топтать. Тогда как пробрались они на неприступную гриву? Известно, что лось легко ходит по непроходимым трясинам. Но как пройти через такую топь? Невероятно. А все-таки лоси подходили к костру. Безбоязненно, пока не почуяли человека и собаку. Теперь они убежали. Куда? Грива невелика...»

В раздумье я огляделся вокруг и снова едва не вскрикнул.

Шагах в двадцати от меня на берегу светились полосами слабые огни. Это был зеленый и холодный колдовской свет.

«Фу, какая чертовщина! Чудится мне, что ли?»

На секунду я зажмурился, открыл глаза: полосы светились на том же месте. Тогда я оглянулся на Шубку, спокойно лежащую у костра, и решительно зашагал к огням. После нового припадка страха все было безразлично... Шаг за шагом удалялся я от костра, и вот огни у моих ног. Это светятся гнилые стволы старых ольх и осин.

— Еще тебе, дураку! Не пугай сам себя, — вслух пробормотал я и, отломив кусок гнилушки, понес его к костру. В ярком свете костра она померкла и выглядела куском обыкновенной красноватой древесной гнили с белыми прожилками. Я спрятал гнилушку за пазуху, отвернулся, заглянул. Она светилась тем же фосфорическим мягким светом.

Я подкинул сучьев в огонь, лег на свое хвойное ложе и совсем спокойно стал следить, как прогорают тонкие сухие веточки, сперва раскаляясь до золотого блеска, потом бледнея, становясь вишневыми и наконец превращаясь в трубочки беловатого пепла. Пепел сыпался вниз...

Я проснулся от сырости и холода. Привстал. Костер давно прогорел, едва дымился. Белое утро занималось над болотом. Кричали журавли. Недалеко от костра клубочком спала Шубка. Юрчащие песни дроз-

дов-белобровиков раздавались со всех сторон. А на другой стороне гривы ясно пощелкивал токующий глухарь. Подальше ему вторил другой, в самом дальнем конце гривы слышался третий.

«Ток-то где!» — подумал я, прислушиваясь к щелканью ближнего петуха. Вот он издал скрипучий, скрежещущий звук, «заскричигал», как говорил Петр Григорьевич. Дважды басовито кокнула копалуха. Тетерева бормотали, балабанили где-то на сухих релках. Первый лучик солнца пробежал по макушкам сосен. Не хотелось нарушать радости утра выстрелами. Я стал собираться, и Шубка тоже вскочила, потягиваясь, виляла хвостом, умильно поглядывала смеющимися глазами то на меня, то на глухарей, висящих на суку. Вот встала как вкопанная, услышав знакомое пощелкивание вдали, однако я тут же схватил ее за веревочный ошейник и привязал на поясной ремень. Так было надежнее.

Мне захотелось окончательно убедиться, что ночью на остров заходили лоси. Вскоре Шубка и я наткнулись на свежие следы нескольких лосей шагах в пятидесяти от нашей стоянки. Они вели в противоположную сторону от глухариного тока, туда, где остров удлинялся и переходил в болото. Идя по следам, мы вышли на берег. С этой стороны до противоположных сосняков было ближе. Лосиный след уходил в пойму. Не след, а целая тропа, будто здесь гоняли стадо коров. Я сделал несколько шагов по пойме и с радостью убедился, что кочки стоят крепко, даже не зыблются. Все же решил не рисковать и снова вооружился длинными березами. Переход через пойму в новом месте оказался легче, чем можно было предполагать. Лишь с десятков метров переползал я, опираясь на стволы березок, да и то, быть может, потому, что боялся ровной сплавины. И все же, когда я выбрался к соснякам, ступил на безопасную полосу, я оглянулся и вздохнул с несказанным облегчением.

«Выбрался. Прощай, грива! Хоть и нет на тебе леших, а не очень приветлива ты», — подумал я и спросил себя: «А почему — грива? А потому, что она все-таки не остров, наверное, а полуостров, и не иначе как леший понес тебя пробираться к нему с самой опасной стороны! Горе-следопыт! Лоси лучше тебя знают, как ходить по болотам. Надо было сообразить, что раз остров вытя-

нут, раз он «грива» — значит, где-нибудь может соединяться с лесом. Не знаешь броду — не суйся...» — такую лекцию прочел я себе, сидя на широкой кочке. А потом мы отправились разыскивать оставленную вчера сумку.

Скажу лишь, что нашли мы не только сумку, а вместе с ней донельзя встревоженного Петра Григорьевича с целой гурьбой колхозников, которые собрались на розыски.

Звездный путь

Со станции Таватуй до села того же названия километров пятнадцать лесными дорогами.

Я сошел с поезда на узенький перрон, когда уж начало темнеть. К селу из станционного поселка начиналось несколько дорог. Все где-то сходились, и я выбрал правую — ту, что казалась короче других. Километра три или четыре я прошел в сумерках, а потом наступила настоящая ночь. Известно, что лесная темь самая темная. В полях и равнинах слабый звездный свет позволяет видеть очертания предметов, небо над горизонтом всегда светлее, а здесь стены леса стоят отвесно-высоко, лишь звезды заглядывают сюда. Так идешь по звездной дороге, все прибавляя шагу, стремясь скорее вырваться из лесного ущелья, где туман и сырая глина с разъезженной тракторами лежневки.

Вот начали попадаться незнакомые просеки, выруб-ки. Дорога двоилась, троилась, сбегалась в одну, и я отчетливо стал понимать, что заблудиться во множестве дорог еще легче, чем в нетронutom лесном массиве.

Теперь я шел, примерно выбирая направление, тракторная колея куда-то исчезла, но проселок был тор-ный — несомненно, вел к жилью.

«Выйду куда-нибудь», — думал я, покуривая и чувствуя, как на лопатках уже липнет рубашка.

Вдруг слабым сиянием заголубели вершины елей. Месяц засветился над ними, и лес внезапно кончился. Открылась вырубка — так показалось мне сперва в темноте. Но скоро я разобрался, что за вырубку принял старую гарь. Она была велика, конец ее терялся во мраке.

Идти дальше не захотелось. Дождусь утра, тогда разберусь в путанице дорог, а то ведь уйдешь незнаемо куда — ночные версты короче дневных.

Я сошел с дороги и сразу попал в нагромождение свалившихся сухих стволов, ломких сучьев и колючих елочек.

Глаза видели здесь хорошо и, наверное, светились, как у волка. Угрюма, тиха, черна была гарь. Месяц над ней светил так зелено, волшебнo, что показалась мне

она полем древней битвы, как на картинах Васнецова. Лежали, зарастали здесь побежденные богатыри-деревья — кипела когда-то неравная схватка. Стволы лежали часто и беспорядочно, иные еще стояли накренясь, иные скрестились, поддерживая друг друга.

Точно леший, бродил я во тьме, пока не нашел свободный от пальника клочок, и набрал, наломал на ощупь полное беремя сухих веток и бересты.

Костер разгорелся быстро, отемнил ночь, отгородил меня стенами света. Я сидел возле маленькой елочки, жмурился от дыма, то и дело натывался щекой на ее колкую вершинку.

Хотелось чая, да не было воды. Я пек на огне куски хлеба, ел их с луком и солью, горячие, хрустящие, пропахшие еловым дымом.

Время от времени я отходил от огня, присматривался, прислушивался. Приглушенная мысль: «А где я?» — не давала покоя. Знал, что не заблудился совсем, что дорога поблизости, что и село где-то тут, может быть в километре пути, и все-таки... Окажитесь не дома в осеннюю лесную ночь, и вы поймете мое беспокойство. Хоть бы собака со мной была. С собакой куда как добро: и спокойно, и поговорить можно.

Черное небо было ясно. Свет месяца не мог заглушить сияние небесных огней. В который раз уже я видел лесные звезды и все не переставал удивляться их яркости, красоте, бесчисленности. Незабываемо светили они над этой безымянной гарью.

Трехзвездный Орион — волшебное светило осеннего неба — горел невысоко на востоке, темнел под ним зубчатый лес. И сказкой, лесной печалью веяло оттуда.

Вдруг я увидел белую звездочку, которая жила, двигалась меж прочих. Спутник, ракета или новый космонавт летел там, в черной глубине, и уже привычным взглядом следил я, как пересекает небосвод творение человеческой руки.

От крохотной звездочки мне стало весело, не одиноко. Я снова сел на траву, подбрасывал ветки в огонь, а костришко грыз их, пощелкивая, и шевелился, осыпая каленые желтые сучки.

Сперва ночная гарь слышалась безмолвной. Но скоро стали различаться негромкие звуки. Они летели сверху, со звездной высоты.

— Цык... цык.

— Улю-тви. Улю-тви...

— Фить-вить... фить-вить...

— Цык...

Там был неведомый путь пролетных птиц, и они летели сейчас стая за стаяй. Может быть, кого-нибудь удивит ночной пролет, но ведь ночью прилетают и улетают от нас многие-многие птицы: певчие дрозды и соловьи, кулики и козодои, зорьки и дубровники.

Я слушал простые, понятные голоса, казалось, различал на миг скольжение теней меж звезд.

Вот летят дрозды-белобровики, вот кулички-черныши, песочники, снова белобровики... Летят, летят, летят.

Я раздумался о птицах, и самому мне хотелось лететь, как они, над бессонными огоньками земли, над спящими лесами и равнинами по знакам созвездий все вдаль, все вдаль — лететь, ощущая упругость воздуха, свободную темь впереди и чистые запахи земли.

Меж тем перевалило за полночь. Большая Медведица нагнулась к земле. В кустах завозился разбуженный ветер. Он быстро усилился, окреп и уверенно потянул на юг. Выплыли белые облачка. Месяц качнулся в них, как лодочка, и тронулись вдруг, полетели над землей доселе неподвижные звезды.

Ветер дул холодный, полярный. Временами чудился мне запах багульниковой тундры, а костришко лишь яростнее трепался на ветру, засеивал искрами темноту.

В конце концов надоело караулить ночь, хотелось спать.

Я сдвинул костер подальше, размел горячую золу до земли и, едва угасли все искорки, натаскал на кострище сучки и лапник, выбирая самый сырой и свежий. Сушняк нельзя класть на подстилку. Уснешь на нем, а он и вспыхнет, и проснешься тогда в положении средневекового еретика.

Постель была устроена. Я лег, укрылся телогрейкой и брезентовой курткой, а голову положил на свою котомку. Жарким печным теплом сразу обдало, охватило тело, запахло нагретой хвоей и смолкой, бросило в истомную дрожь.

«Эх, добро...» — думал я, лежа в тепле, поглядывая на костер, на бегущие тучи, на одинокий кораблик месяца. И скоро непонятно как заснул.

Снилось мне детство. Кухня. Лежанка на горячих кирпичках. Бабушка возится у чела, сажает ухватом

чугунки. Желтым светом огня освещено ее лицо. Теплые блики играют на посуде, на стеклах, на иконах в углу. Вот ушла с кухни, растворила дверь в сени, и понесло холодом.

— Бабушка! Двери-то! Двери-то! — кричу ей. А она не слышит.

Ух, как несет стужей. Ежусь, жмусь к теплым кирпичам, и, странное дело, они тоже холодеют. И все несет, несет ветром из растворенной двери. Да что же это?..

Проснулся. Вздрыгнул. Сел оторопело... Светало. Иней лежал на куртке. В слоистых тучах краснело, желтело, голубело. Уже обозначился лес, и дальние увалы, и желтый купол Березовой горы, что на задах Таватуя.

«Вон куда забежал!» — удивился я, с радостью признавая место.

А утро над гарью занималось добротное, осеннее, студеное. Все краски зелени и желтизны проступили отчетливо, ясно, с той необыкновенной свежестью, какая бывает только на заре, только в лесу. С изумлением человека, вдруг постигнувшего смысл земной красоты, я смотрел на девственную черную гриву елочек, на метелки трав, на полураздетые осинки, сухой пальник и брусничник.

Стая тетеревов пролетела в березняки, часто дробя крыльями, замирая в недолгом скользящем парении. Бело-серый заяц ковылял неспешно, то скрываясь, то показываясь в прогалах кустов, да звучно, холодно на-свистывали, перекликались снегири.

И снова я пронзительно-остро понял, как люблю эту зарастающую гать, все елочки, все муравейники, все листья брусники и одинокие сухарки, подолбленные дятлами.

Я думаю, что вечно чувство любви, рожденное природой. Вечно и непреходяще.

Второй хлеб

Белесый овес скупно и сухо шуршит на ветру. Бегут по нему, развеиваясь, жемчужные волны. Из этого перестойного овсища с коротким цыканьем взлетают просянки. Отлетные жаворонки невидимо тюрлюкают под тучами. Не по-сентябрьски хмурится день.

Я давно повесил ружье за спину — верный признак неудачной охоты — устал от неровной межи, шелеста и хрупа соломин и сплошной желтизны березняка, тянувшегося вдоль поля.

Он однообразен и уныл — тонкий березовый лес-пресняк. С него беспрерывно летят листочки, тычутся в овес, замирают на меже. И точно так же летят, западают куда-то в моей голове короткие несвязные мысли.

«Облака подсказывают бег земли. А ветер ведь повернул на север... Как бы снег не выпал». Однажды мальчишкой еще я копал картошку из-под такого внезапного снега. Копал, плакал и отогревал во рту непослушные ноющие пальцы. Как давно это было.

Я совсем не думаю об охоте. Да и что тут найдешь, в недалеких пригородных полях, захоженных охотниками. По правде говоря, я сам не знаю, зачем собрался сюда на заведомо пустую охоту. Все утро я бродил по межам и перелескам, забирался в осиновые кусты, шаггал через обсохший за лето выкошенный кочкарник. Единственный бело-рыжий заяц, поднятый в ивняке у небольшой мочажины, наверное, вспоминает странного охотника. Тот охотник вскинул ружье, повел мушкой впереди ушастой головы и не стал нажимать на спуски. Вспомнил, что в стволах пусто.

Я шел.

Я думал... У вас не бывает такого, когда вдруг засомневаешься вгору, нужна ли твоя работа? Что толку в том, если вышла еще одна книга? Где смысл всей этой возни с бумагой и чернилами, мучительной возни, за которой проходит жизнь? Незаметно, как запруженная река, она все-таки течет, уходит. И в какие шлюзы утекает она, какие вертит турбины?.. Блажен, кто пишет пером и кистью в несокрушимой уверенности нетленности всего создаваемого. У меня никогда не было

такой уверенности, а в последнее время творилось и вовсе непонятное. То, что раньше давалось легко, — теперь совершенно не склеивалось; то, что прежде осиливалось шутя, — давило стопудовой тяжестью; редкая радость удачи гасла, как гаснут разметенные угольки один за другим.

— Проклятая писанина, — бормотал я, натываясь на шумящие листом ветки, — ты высосешь меня, как паук. От меня останется только сухая шкурка.

На одной читательской конференции мне прислали записку. Женский почерк спрашивал:

«Бывают ли у Вас моменты, когда Вам хочется все бросить?»

— Бывают, — ответил я. Я вспомнил дни, когда с усилием читаешь написанное за день и озноб сомнения торопит поскорее бросить измазанные листы в стол или, наоборот, черкать и крестить их до чернильной грязи, чтобы завтра снова переписывать и перечеркивать.

Я шел.

Я думал.

Очень просто. Когда было детство и юность, все виделось впереди. Точно в солнечном утреннем тумане, стояли там голубые высотники мечты. И были крылья, чтоб лететь к ним, и был полет, и желание забраться выше, а ясная мысль, что все еще впереди, успокаивала, баюкала, если становилось трудно.

Я не нахожу...

Ну так найду.

Она не взглянула. Разлюбила.

Еще посмотрит!

Сломался рассказ.

Я переделаю его тысячу раз. Тысячу раз напишу заново. Я напишу заново — у меня все впереди...

И как же страшно почувствовать однажды, что «впереди» уже тут. Я иду по нему, топчу ногами, пробую на вкус. Голубой цвет его полинял, растворился. Все стало обыкновенным: деревья, земля, дома. А позади снова помаленьку голубеет. Я чувствую: пройдет сегодня, станет завтра, и ушедшее начнет покрываться солнечной дымкой времени. Там, позади уже, останутся голубые города. А мне ведь никак не легче от этого.

Я шел...

Теплые женские голоса слышались вдруг. Молодые голоса. Девичий хохот так звонко и ясно. Низким дымом

костра донесло по ветру, словно бы печеной картошкой. Я пробудился. Ноги сами прибавили шаг. Я свернул с межи, прошел по шуршащему перелеску. Холодные листья сыпались градом.

Другое поле открылось сразу. Оно было велико. Бесконечные борозды картошки с посохшими былками ботвы убегали в горизонт. И на этом просторе, под настежь распахнутым небом, как-то одиноко выглядела кучка девушек в платках, ватниках и синих спортивных штанах, изрядно отгорелых, испачканных землей. Они напоминали мне чью-то картину, и, точно дополняя ее, брела поодаль парная конная упряжка, человек в кепчонке горбился за плугом, ушагивал прочь.

«Студенты, должно быть», — подумал я, намереваясь пройти мимо.

Но девушки побросали ведра и корзинки.

— Охотничек!

— Геолог...

— Ни пуха ни пера!

— А добыча где?!

— В лес улетела!

— В поле убежала!

— Здравствуйте...

Два десятка озорных серых и карих глаз оглядывали умно, добро, с хитринкой, с лукавинкой, как умеют смотреть только девушки, да еще не просто девушки, а хорошие русские девчонки.

По тону их голосов, по выражению глаз я понял, что им донельзя надоело собирать и таскать в бурты бесконечную картошку, и они рады всему, что отвлечет их хотя бы ненадолго. Попросту, они взяли меня в плен. Я не знал, о чем говорить, и от робости закурил папиросу, хотя по всем правилам вежливости такое никак не полагалось.

А они обступили со всех сторон и стрекотали, точно молодые сороки. Одна, самая большая, черная и яркая ягода-смородина в красном платке, потрогала ружье.

— Так и нет зайцев?

— Так и нет... Одни девчонки на полях. Вот пойду дальше — может, встречу...

— А вы оставайтесь, пообедайте с нами, — сказала девушка, низенькая, круглая, но такая ясноглазая, яснозубая, что, глядя на нее, невозможно было не улыбаться.

— Оставайтесь, оставайтесь!

— Зинка вон кашу варит! У нас помидоры соленые есть... Хлеб... Молоко...

— И молоко? — глупо переспросил я.

— Да.

— Ну-у, тогда остаюсь... — я уже немного освоился в кругу девчат и даже попытался острить.

Кому из мужчин приходилось бывать в сплошном женском обществе, те знают, как это хорошо и плохо. Хорошо потому, что со всех сторон женщины и с ними просто и приятно быть накоротке. Они лучше незнакомых мужчин, душевнее и теплее. А плохо потому, что в их компании всегда найдется одна, которая посмотрит не так, как все. И ее настороженно-спрятанный взгляд тотчас будет замечен, растолкован и расшифрован с точностью поразительной.

Тогда либо беги из их общества, либо... Но, может быть, я просто ошибаюсь.

И я остался.

Минут через десять мы ели дымную, пересоленную и сдобренную пеплом кашу из алюминиевых кособоких мисок. Мы сидели кругом у широкого кострища с разбросанными головнями, которые то горели неярким дневным огнем, то вдруг начинали клубить синим, выжимающим слезу дымом. Девчонки смеялись и кашляли. Подъехал тот невысокий пахарь, бросил лошадей и оказался узкоглазым некрасивым пареньком с медлительными самоуверенными движениями. Он не спеша раздвинул девушек, сел на освободившееся место, к огню. Без ревности, но как-то кисло поглядел на меня и молча, толково принялся за подставленную кашу. Ел он тоже медленно, солидно, точно важную работу делал.

— К вечеру соток тридцать дадим, — трещала говоруша Люба, та самая маленькая толстушка. — Ух и надоело! Все руки у меня истрескались. Ни на что не похожи...

— Крысавица!! — лениво, из-под ложки сказал парень.

— Все равно не выполним норму. Вот разве Вася поможет.

— Васенька, наш милый, единственный! — хохотали девчонки.

Вася молча ел. Он вел себя с той уверенностью, какой отличаются студенты педагогических и медицинских

институтов, слесари камвольных комбинатов и швейных фабрик, где тысяча девушек приходится на одного счастливчика.

— Еще хорошо, что нас кормят здорово. А то в прошлом году в Шумилинском колхозе суп с тараканами приносили, — не унималась Люба.

— Там разве колхоз! Лавочка...

— И куда это столько картошки! С одного поля целый город накормить можно. А сколько мы ее не выбираем! Идем, дергаем за ботву, что на корнях есть — берем. Вася вон еще помогает — половину запахивает, — засмеялись девчонки.

Вася только бровью повел.

— Ну зачем, зачем нам такие задания дают? Гектар за день! — горячилась черная красавица Валя, по всем статьям комсорг. — Ведь знают, что мы не выполним. Мы бы меньше-то до картовочки все выбрали. Сами халтуру разводят. Говорю бригадиру, а он: «план, план...» Да к черту такие планы!..

Она встала на колени у костра и сердито поправляла волосы, перевязывала платок. Я залюбовался ее соболе-бровым с неуловимой татаринкой лицом. Оно было из тех женских лиц, что задевают каждого.

И тотчас поймал тревожный открытый взгляд маленькой Любы.

— Вы бы к председателю колхоза сходили, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. — Пусть сбавят норму...

— А-а, кому надо... Свиней выгонят, докопают, — ленивенько ответил Вася, турнул миску в сторону и положил голову на близкое и толстое Любино колено.

Она столкнула его и подвинулась. Вася, ничуть не обидевшись, достал сигарету и начал ее разминать.

Я поглядел в его вялые, словно заспанные глаза, спрятанные в щелках, без век, и почему-то мне захотелось возразить ему. Сказать какую-то большую правду. А что сказать, я сразу не нашел. Я тоже закурил, и мы посматривали друг на друга — мужчины из двух поколений. Мы не были отцами и детьми. По возрасту Вася сошел бы за младшего брата, если б такой у меня был. И вот, когда я представил его своим братом, что-то стало приоткрываться мне. Да ведь он просто боится показаться сопливым! Как же я сразу-то не понял? К тому же тут девушки. Помнится, девятиклассниками мы шли на вечер в школу, и маленький Виталька Зонов,

увидев издалека наших девчонок, заморгал белыми поросячьими ресницами:

— Кольша, дай папироску...

— Да ты не куришь же?!

— Ну, для солидности, не понимаешь, што ли...

И он неумело раскуривал ее, кашляя и пугаясь.

...Уходить сейчас, бросив гостеприимных хозяек, было никак невозможно.

— Спасибо за обед, — сказал я. — Давайте я с вами поработаю теперь.

— Ну, что вы! Что вы! Мы сами, — посыпалось в ответ, и девочки обернулись вдруг на толстую Любу.

— Нет, так в нашей деревне не делается, — решительно возразил я. — Буду копать с вами. Или лучше пахать пойду. Можно?

Вася посмотрел на меня, морщась от сигаретного дыма, проницательно, как следователь, искушенный в судебных делах, смотрит на обвиняемого.

Я неприятно отметил, что словно бы робею перед самоуверенным парнягой. Вот какое задачливое поколение! И откуда у них столько храбрости, помноженной на толику того, что обычно именуют нахальством?

— Ппыжалуста, — наконец выдал он.

Я пошел за плугом. Лошади в запряжке были старые, смирные, приученные ко всему. Я нашел в кармане ватника краюху хлеба, скормил им, похлопывая по гладким атласным плиткам скул. А пока они жевали хлеб и обмахивались хвостами, оглядел и поправил упряжь. Они взяли дружно, так что мне оставалось лишь направлять высветленное под серебро перо лемеха. Наискось он разваливал суховатую крепь земли. Открывались на свет чуть влажные желтые самородки клубней. Изредка ложился под лемех высокий осот. Беловатый пух уносило по ветру. Сладкий запах полевых коноплин, растоптанных копытами, вводил меня в памяти далеко.

Вспоминалось осеннее солнце. Огород у речки, за кособоким сараем. Зеленая стена конопляника, проросшего сквозь худой и гнилой заплот, спрятавшего в своей глубине его серые доски. Вдвоем с бабушкой мы роем картошку. Оба разомлелые, исполненные какой-то тихой осенней радости. Она не торопясь приступает на плечо треснувшей старой лопаты. Я тяну за гранчатую зеленожилую ботву, поднатужась, выволакиваю желтый и розовый земляной клад. Крепкий пасленовый дух ботвы

мешается с запахом сыри и огородного суглинка. Ползут в сторону неуклюже странные пауки-сенокосцы — одно круглое серое тельце, высоко поднятое на восьми паучьих ногах. Мы, ребятишки, зовем их «коси нога». И, бывало, отрываем половину их длинных ног, словно бы без всякой боли и затруднения. Ноги эти долго живут, сами «косят», а паук, как ни в чем не бывало, продолжает свой задумчивый путь.

Вместе с убранной ботвой открывается весь с первых лет на земле знакомый мне мир — мир чахлых теневых росточков, сизых жителей сырости — мокриц, неповоротливо-противных слизняков и золотистых жужелиц, бойко прячущихся под комья. Я гляжу на него. Осмысливаю его. И теплое родное чувство близости к этой быстро подсыхающей на солнышке земле сочится мне в душу.

Бабушка, видимо, занята не тем. Ей не до паучишек и жуков. Она оглядывает большую картофелину, всю в бородавчатых круглых наростах, точно матрешка с пятью головами. Лицо бабушки под белым горошковым платком строго, задумчиво. Глаза смотрят слезно и древне, как с иконы. Она перестает копать и все глядит на картофелину, медленно поворачивая ее в узловатых черных пальцах.

— Ты что?

Она молчит. Потом вздыхает:

— К худу это. К войне... К голоду такая картошка...

Она качает головой и, отложив картофелину, берется за лопату.

Я представляю войну не такой уж страшной. Мы, ребятишки, часто воюем. Лихо и весело прятаться под заборами, ползти в лебеде, лупить камнями, выхватывать железный наган и падать изломанно, как в кино, когда тебя «убьют», тыкаться носом в траву.

И, не огорчаясь нимало, снова тяну я за ботву. Стряхиваю на чистую землю, под солнце веские лапотки. Хорошо мне. Я люблю копать картошку в такой вот ясно-туманный день. Солнышко ласковенько печет мой стриженный затылок и сгорбленную спину. В конопле перекликаются реполовы, на пустыре слышно пиликанье щеглов. Редкие бабочки-веселушки перемахивают оттуда к нам в огород, садятся на поздние цветы крестовника и снова улетают за речку, в бурьян. И совсем бы лето, если б наши старые березы за сараем не роняли в ого-

род редкие светло-желтые листья. Листья лежат на замшелой крыше сарая, на коричневой убранной земле, как ясные весточки осени, а маленький кленок, притулившийся к столбику заплота, весь уже почти облетел, растерял свои нежные звезды-лапчатки. Невесть откуда взялся в огороде этот тоненький кленок, и я раздумываю, как он родился: может быть, ветер занес крылатое семечко с городских улиц, а может быть, обронил зимой красный с белым снегирь, прилетевший посидеть на заборе. Я люблю кленок так же, как худой заплот, солнце, бабушку и щеглов.

...Пробуждаюсь от своих дум, когда лошади сами начинают заворачивать. Все-таки есть конец у этого горбоватого поля. А моих девушек почти не видно за бугрищем. Желтая полоса выпаханной картошки убегает к ним. Я разворачиваю лошадей, настраиваю плуг.

— Но-о! Э, вот я... — само собой рождается по-крестьянски. Гнедые трогают плуг. Он поскрипывает ржавым неделовым колеском. Иду, держась за высветленные чапиги, слегка надавливая на них. Что-то древнее, забытое шевелится на дне души. Не по наследству ли тот инстинкт, что у земли делает землю ближе, рождает чувство вкуса к ней, будто к ржаной краюхе на вольном воздухе. Веками соленый крестьянский пот мешался с навозным лошадиным, веками пахарь гнулся над плугом в такой же просквоженный ветрами пасмурный день. Может, лишь поле было поменьше. Так думал я, поеживаясь на ветробое, принимая ветер с какой-то волчьей сладостью. Он пахнул волей, осенью и холодом, а низкое небо лишь дополняло его печалью предзимних облаков.

Навстречу уже шли девчонки с ведрами, полными картошки.

— Ну-у, за вами не поспеть!

— У Васьки половина в земле...

— Опять сотки свои не выполним!

— И пусть! — подошла высокая Валя. — Надо же совесть поймать. Не выполним норму, зато всю картошку уберем! Вы их не слушайте. — Она вздернула нос и пошла прочь плавной, гибкой, танцующей походкой.

— Пожалуй, правильно, — в спину ей сказал я. — А кто мог такую глупость установить?

— Бригадир, бригадир... А ему председатель. А председателю лишь бы отчитаться... Сводочку подать, — за

нее ответила Люба. — Вы не устали? — тут же добавила она и улыбнулась своей ослепляющей улыбкой.

— Не с чего устать. Теперь я повнимательней пахать буду. Только трудно сразу и за плугом следить, и лошадей направлять.

— Давайте, я их поведу, — тотчас нашлась она.

— ...
— Лучше верхом залезай, — посоветовал кто-то и засмеялся.

— А ну, вас, — отмахнулась Люба, беря правую гнедую за повод.

Мы пошли вместе. Я не знал, о чем заговорить, ненаходчивый, как всегда. Люба сперва бойко затараторила, но скоро замолчала, нахохлясь, ступала впереди толстыми невысокими ногами.

И путь наш к горизонту шел словно бы в одиночестве.

...Уже не было бабушки. На мокром ветреном рассвете я копал картошку под бисерной моросью, весь грязный, в облепленных глиной отцовых сапогах. Я был один. Мне было тяжело от безлюдья и холода мокрой земли, в которую влипали и никак не очищались мелкие картошки. Серые птички-коньки взлетали из бурьяна с тоскливым писком. Они летели на запад, откуда дул ветер. Там был фронт. Шла война. И там был мой отец, от которого с весны не приходило писем. Я застывал и следил за птичками, пока они не терялись. Я думал, как они пролетят над фронтом и никто их не убьет... «Он в окружении, — говорю я матери каждый день. — Из окружения письма не пришлешь». Мать приходит с работы и молчит. Она посерела и состарилась. У нее синё под глазами. А раньше она была веселая и толстая. Раньше, до войны. Теперь я уже знаю, что такое война. И стараюсь копать быстрее, выбираю и самую мелкую, как горох, картошку. По карточкам не хватает хлеба. А картошка — второй хлеб...

— Вот вы все молчите да молчите, и лошади молчат, и я, — говорит впереди Люба. — А вы расскажите чего-нибудь.

Она говорит так добро и мягко.

— Ну разве интересно? Ходил, ходил, ничего не убил...

— А вы просто так: про землю, про птиц, про деревья, — быстро говорит она. — Знаете, я родилась на

хуторе. Деревня такая маленькая, Выселки. И леса у нас кругом. Я люблю лес, все такое: луга, реку. Утром рано встанешь — корову гнать, — идешь по росе. За околицей туман, коростеля скрипят. Хорошо так везде... Земляникой пахнет. У нас земляники цветет — бело! Ведрами собирали. А охотников я не люблю. Они стреляют и хвастают. И еще они — пьяницы. Мой папа был лесник, и у нас все останавливались разные его знакомые. Настреляются, напьются... Малиновые все сидят за столом. И врут, что они природу любят... Ничего они не любят. А потом оставляют свои противные рубли. Потные рубли...

— Вот и я охотник.

— Да нет... А у вас жена есть?

— Какой лобовой вопрос...

— Ну, кем вы работаете?

Мне всегда трудно называть свою профессию. Скажешь «писатель», а тебе в ответ: «Не читали». И появляется в глазах собеседника этакий потаенный недоверчивый блеск. Наверное, один рассказ всего написал, а туда же: пи-са-тель. Тем более не похож я был на писателя сейчас, в телогрейке, в сапожонках. Писатель в представлении многих обязательно нечто большелобое, предельно интеллигентное, а когда у него еще берет, трубка, очки и московский выговор — вот он писатель несомненный.

— Что же вы опять молчите?

— Да уж так... Бухгалтером я работаю на товарном дворе. А сейчас я в отпуске, на охоте.

— Что ж, бухгалтер тоже нужная профессия, — немного потускнев, говорит Люба. — Правда, орденов за нее не дают. Но ведь не всем же получать ордена.

— Вот именно.

— А знаете, я тоже иногда люблю молчать. У нас дома есть такой большой тополь. У ворот растет. Я туда иногда залезаю и молчу. Так хорошо: листочки шумят, ветер дует, качает немного. И все видно. Далеко видно. И думается хорошо. Сколько я на этом тополе просидела. Вот кончу институт и поеду домой в районную школу. От наших Выселок четыре километра, если лесом идти. У нас такие хорошие ребяташки в деревне, понятливые, работающие. Буду их учить...

— И на тополь лазать будете?

— Нет... Я такая толстая. Никак не похудею, — пе-

чально отозвалась Люба. — И учителя не лазят по деревьям. Я с самого детства хочу быть учительницей.

Солнечный луч вдруг прорвался сквозь хмурую пелену облаков и пробежал по полю. На секунду он осветил идущую девушку, искорками сверкнул на кончиках волос, выбившихся сбоку из-под платка, и спрятался.

— Солнышко, — не оборачиваясь, сказала она, — вон как проехало...

Я все внимательнее приглядывался к ней. Странная девушка. Такая обычная и необыкновенная.

— Разве не все в вашем институте хотят быть учителями?

— Конечно, нет, — живо отозвалась она. — Вот Вася совсем не собирается. Он говорит, что умные любят учиться, а дураки — учить.

— Тогда он, наверное, относится к последним.

— Ой, что вы! Он такой умный, такой начитанный. И еще он — поэт. Его даже в газете печатали.

— Зачем же он учится в пединституте?

— Ну, просто нужно филологическое образование... Ой, смотрите! Мышь! Мышь! Вот она бежит, вот... Ой, какая хорошенькая!

Люба глядела с таким восхищением, вся лучилась. Так маленькие смотрят первый раз на лягушку, на птичку.

Рыжая крупная полевка спряталась от нас за земляной ком и, нимало не смущаясь, по-мышинному перетирала у мордочки лапки.

Мы согнали ее и двинулись дальше. Теперь я все чаще смотрел не под ноги, где однообразно разверзалась взрезанная лемехом земля, а на шагающую впереди Любу. Она шла и оглядывалась, каждый раз вспыхивая улыбкой, когда наши взгляды ударялись друг в друга.

Неужели вот так просто: появляется такая Люба, и все становится на место? Ведь постоянно и только что раздумывая о своей совсем не несчастной судьбе, я с горькой горечью убеждался, как много недостает в моей жизни. И хотя, казалось, я давно и осмысленно знал, чего не хватало мне всю тридцатилетнюю жизнь, точнее ее вторую половину, — сейчас я не верил себе. Когда-то я думал: двадцать пять — уже старость. Тридцать — бабье лето. Тридцать пять... Много это или мало? Для меня теперь мало... А для них, для восемнадцати-двадцатилетних, кто я? Помнится, какими стариками считал ребят с

пятого курса, когда сам учился на первом. А тихой девчонке с третьего курса боялся сказать два слова, хотя столько мучался, краснел, встречая ее в узких институтских коридорах. И она всегда словно что-то ждала. И ничего не сказал ей. Итак, молчи, человеке, если есть у тебя, как пишут в высоких романах, любимая работа, семья, призвание и, наконец, дети. И надо было только сразу уйти, поблагодарить хозяев за хлеб, за соль...

Люба вышагивала впереди. Я ловил себя на том, что люблю ее нескладной, по-женски округлой фигурой, широкой в талии и бедрах. Что-то немножко первобытное в ее походке-перевалочке и в то же время очень хорошее, свое. У ней все было свое. Она никому не подражала ни в чем и, видимо, только стеснялась своей полноты.

Уже вечерело, когда мы распрягли усталых лошадей. Мы ужинали у того же широкого костра, на зольной земле. Люба сидела рядом со мной. От печеной черной картошки губы у нее были черные с розовыми краями. Светлые волосы падали на густую некрашеную бровь. Люба молчала, не тараторила, как утром, и мне почему-то ничего не хотелось говорить. Ноющей истомой отходили руки и спина, а ноги казались просто бессильноватными.

Но скоро эта усталость прошла, и чем больше темнело, тем веселее становилось за нашим костром. Девчонки хохотали. Толкали друг друга под бока, визжали и кидались печеной картошкой. Иногда она падала в костер и, нетрудно обугливаясь, горела. Я все никак не мог подстроить себя под тот же веселый лад. Смотрел на блики огня, бегающие по беззаботным и круглым лицам, оранжево вспыхивающие на влажных губах. А память беспощадно толкала меня в прошлое, напоминала такой же костер в открытом поле. Мешки с картошкой. Закопченный казанок на огне. Голодное лицо матери и разломленную крахмальную мякоть, от которой шел такой вкусный и сытый пар.

Девочки смеялись. Одна только черная красавица Валя хмуро молчала, тыкала прутиком в костер, и глаза ее по-кошачьи мерцали. На закате за полем краснотлела недолгая осенняя заря. Вася вынул откуда-то обшарпанную, треснувшую по деке гитару и под восхищенные взгляды девочек равнодушно-ленивенько тронул струны.

Я понял, что надо уходить. Здесь я был все-таки «дяденька». И мне не хотелось стеснять теплую девичью ватажку, ее руководителя и стесняться самому, подлаживаясь под общую веселость.

Люба встала. Может быть, она бы пошла за мной, но на нее смотрели, и она снова села. Она даже улыбнулась и ждала, что скажут мои глаза. Милая девочка. Она была настоящая русская девочка из русского поля. А ведь поля и молча умеют говорить...

Я шел впотьмах через уснувшие перелески, через ровную неровность паханой земли. Мне было совсем не одиноко в этом поле под редкими осенними звездами, мигавшими сквозь бегущие тучи. Я видел края туч, светлеющие в мрачном аспиде неба, и теперь меня до радостных слез занимал их бесконечный, неостановочный бег.

Неоткрытая земля

Иногда кажется, что человек уж слишком много хозяйничает на земле, изменяет ее, подчиняет себе. Он рубит трассы, кладет дороги, перегораживает реки, строит города — и все меньше остается на земле, электрической и атомной, нетронутых углов.

Меньше моховых болот, меньше лосиных троп, много ли еще нехоженных пустошей? В самом, казалось бы, недоступном месте найдешь теперь то вырытый шурф, то водочную бутылку.

И все же одно такое место открылось мне лет пять назад.

Осенью в неласковый день я набрел на заросшее старое болото. Представлялось оно не очень широким, вполне проходимым и тянулось куда-то на северо-восток. Я прикинул по компасу и рассчитал, что где-то за болотом идет железная дорога. Надо было напрямик пересечь эту лесистую мшару.

Невысокий кочкарник, весь осыпанный палым листом, был сух и слегка шелестел, когда я шагал с кочки на кочку. Осинки роняли мне за ворот свои круглые пунцовые листья. Болотные травы кивали макушками, и запахи леса и болота, уже приглушенные поздней осенью, были здесь сильны и свежи.

Дальше лес стоял гуще, кочки неуступчивей, трава выше. Так прошел, а лучше сказать — пролез, я с полкилометра, взмок, устал и уже поругивал себя, думал, не повернуть ли назад...

Однако почва пошла суше, кочки поредели, первые елочки протянули мне лохматые руки, и я вышел не на линию, как полагал, а на сухую плоскую островину.

Тотчас затрещало в стороне, кто-то серый мелькнул в кустах, захлопалась с листвени большая птица, белка спокойно спустилась по стволу.

И так сухо, свежо и чисто было здесь, что захотелось сесть, отдохнуть, пожевать хлебца, оглядеться. Сиденье нашлось тут же — долгая лиственница лежала вершиной в болото. Она уже иструхла внутри, потеряла кору.

Я удобно расположился на стволе, ел хлеб, запивал

водой из фляжки, посматривал по сторонам. А жизнь на островине текла своим чередом.

Дятлы долбили по колоднику, лазали по сухарам, добывали шишки, ползая в хвое. То один, то другой, сорвав свежую нераскрытую шишку, летел к «станку» на сушине и там прилипал, упорно-быстро стучая клювом.

Маленький полосатый бурундук, задрав хвостик, бегал взад и вперед по склоненной сосне и садился охорашиваться. Красный снегирь прилетел из болота на елку, сел на ее верхнюю мутовку и поскрипывал жалобно... Плыли над соснами первозданные облака, шумел и утихал ветер...

Я с удивлением понимал, что здесь всегда так, независимо от меня, и днем, и утром, и ночами. Где-то идет иная жизнь, есть города, проспекты, небоскребы, есть автомобили, коммунальные удобства, атомные бомбы, ракеты, нацеленные клювами в небо.

А здесь все как было столетие назад, и два столетия и, может быть, еще больше.

Здесь своя богатая жизнь: от почек, глухарей, косуль и хвоянок до этого рыжего паучишки, что полусонно тащится куда-то по стволу, озябший, одинокий лесной паучишко.

Здесь своя любовь, свое солнце, зима и весна.

Когда в апреле я сижу за работой и солнце свстит мне сквозь пыльные зимние стекла, тут тает снег, сочатся ручьи, воркует лесной голубь-клинтух, возятся мыши, бегают рябчики, и все это без меня, помимо меня.

Большой дрозд-деряба уселся на высокую березу, косил пугливым взглядом, похрапывал настороженно. Вот снялся по ветру, нырнул в островину.

«Там рябина, наверное», — подумал я и снова сидел, слушал шорох ветра да скрип снегирей.

Когда долго живешь в лесу, ходишь изо дня в день по его сеням, он меняется. Его начинаешь любить сыновней любовью как нечто родное, дорогое. И уже не устаешь от него так, как уставал сперва, опьяненный дыханием чащи и тяжелыми лесными верстами. Самая лесная тишина не давит, не гнетет душу... Да, впрочем, нет тишины для привычного уха. Здесь все живет, дышит, шевелится, улыбается или грустит.

Вот сейчас непривычный городской человек обмер бы тут от тоски и страха, бежал бы отсюда сломя голо-

ву, жуткой показалась бы ему истоптанная елань, с буреломом, с подолбленными дятлом сухарами. А мне ничего. Я слышу лес. Мне не скучно. Тут разговаривают синички, бегают-суетится поползень, резко пищит полевка у корней выворотня, лепечет на ветру сосновая пленка-ветряночка, шуршат соломины высоких трав.

Треск и шелест впереди. Берусь за ружье. Большой высокий зверь ходко идет из болота. Словно бы лошадь. Лось. Он выскочил на островину и встал, уставил вперед стеблистые уши, потянул мордой, скосил белый глаз.

Постоял, дохнул шумно и вдруг сунулся в осинник, исчез в две секунды. Ничто не хрустнуло, не звукнуло под его копытами.

Зверь приходил сюда на отстой.

Я пошел по островине. Шуршала, никла некошенная трава, перестойные желтые цветы редко выглядывали из нее. Октябрьские, сиротские цветы. А вот грузди, засыпанные листом, стоят рядами в черном липняке. Их можно бы набрать здесь хоть телегу.

Птичьи гнезда, покинутые жильцами, висели в кустах там и сям, глухариный помет встречался кучками.

Здесь не было пней, и потому опять гнездились у сухостойника, взбирались на колодник дружными ватажками. И какой-то последний отчаянный мухомор еще не сник от холодов, алел леопардовой шапочкой...

...С тех пор не раз заходил я в это обширное болото, ходил и напрямик и по обочинам, а ту островину не мог разыскать, потерялась где-то в его дебрях, но все живет в моем сердце маленькая первобытная земля.

Белозерье

Декабрь пришел с ветрами. Непрерывный тугой поток упрямо дул с северо-запада. По ночам расчищалось небо, темнело мрачно-глубоко, и яркие звезды долго не хотели исчезать поутру.

Должно быть, скоро начнутся снегопады. Большие ветры никогда не обходятся без них. Пора отправляться домой, пока не перемело дороги, не огрубел снег...

Так рассуждал я, глядя утром сквозь мутное кривое оконце избы на пустынный простор замерзшего озера, по которому белесыми волнами без конца катилась поземка.

Я зажился в селе Белозерье уже больше месяца и теперь оказался в ловушке у рано нагрянувшей зимы.

Она пришла внезапно. Озеро встало за одну ночь. Еще вечером холодный осенний вал тяжело хлестал в подмытый берег, а к утру гладкое стекло льда синё блестело на ясном солнце, и я понял, что первая, самая короткая дорога к дому закрылась до весны. Через озеро ходил маленький катер с громким названием «Варяг», и на нем я обычно добирался до узкоколейки, ведущей на станцию. Можно было бы идти туда в обход озера, но до того унылой была эта долгая дорога, искрещенная лесовозными ледянками и лежневками, петляющая по сплошным вырубкам и покосам, что я не спешил. Все надеялся, что зима отступит и озеро очистится ото льда. Короткие дни бежали один за другим, и, прожив в селе еще полмесяца, убедившись, что гордый «Варяг» накрепко вмерз в лед у дощатого причала, я решил идти к городу пешком через леса. Я рассчитывал за день выйти к разъезду километрах в пятидесяти от села и уехать с ночной электричкой.

— И кака тебе перепита¹ пришла в этаку даль пешком шастать? Ужо попадешь в метель, заплутаешься... И мне беспокойно, — ворчала на меня старуха хозяйка Дарья Степановна, когда я объявил о своем намерении.

Она с неодобрением посматривала, как я укладывал рюкзак, чистил ружье, набивал патроны. За вечер она

¹ П е р е п и т а — североуральское, в смысле нужда, необходимость.

не раз принималась отговаривать меня, но, убедившись, что я не собираюсь менять свои планы, поджала губы и побрела на кухню, сердито шаркая стоптанными башмаками.

Лишь в полночь я закончил все сборы и вышел во двор посмотреть на погоду. Двор был крытый, как во многих деревнях северной уральской стороны. Над кровлей ровно гудел ветер, постукивала где-то полуоторванная тесина, а в прорезанный вверху четырехугольник ярко и чисто сияло далекое созвездие из пяти белых холодных звезд. Призрачные белесые облачка быстро набегали на него, и казалось, что весь двор несется куда-то в черную тьму в гудении ветра. Ясно. Значит, идти будет хорошо. Посплю часов шесть на дорожку и отправлюсь затемно, как-никак, а километров сорок отшагать придется. Зато погляжу, что изменилось на глухой дороге. Восемь лет не ходил я по ней...

Я вернулся в горницу.

— Уж ты, бабушка, не забудь меня разбудить, — попросил я хозяйку.

— На печь ложись-то... Прогрейся. Утре разбужу, — донеслось с кухни, перемежаемое невнятным ворчанием, из которого я разобрал: «Какой ноне молодяжник пошел...»

Старуха была очень добрая, одинокая. Муж ее, рыбак и охотник-промышленник, утонул лет семь назад. Двое сыновей не вернулись с войны, дочь жила далеко на кордоне замужем за лесником. Каждую осень и весну Дарья Степановна встречала меня, как сына, и ворчала тоже по-родственному. Я никогда не обижался на нее. Сколько таких одиноких, доживающих век стариков и старух попадалось мне, и все они, суровые, неприветливые с виду, на поверку оказывались роднее родных.

Я прилег на теплой печке и сквозь дрему еще долго слышал, как старуха брякала чугунами, месила тесто в глиняной латке и щепала косарем лучину для самовара.

Благодатное это место, русская печь. За месяц я привык к широкой лежанке, и не хотелось думать, что уже завтра я не буду засыпать на теплых кирпичах, под большим тулупом с таким домашним запахом сыромятной овчины, засыпать, слушая, как озерный ветер гудит в трубе, обшаривает закрытые вьюшки.

Мне припоминалось детство. Вот такая же большая

печь была у нас на кухне, и я любил коротать на ней долгие зимние вечера или, сидя на лавке перед ее широким челом, греться и смотреть, как широкий поток рыжего пламени лижет свод, рвется в трубу, и стаи рассыпчатых искорок без конца улетают в черноту...

— Вставай-ко! Да вставай нето! Ишь заспался! Уж третьи петухи поют.

Казалось, я и уснуть не успел, как услышал глуховатый голос хозяйки.

С трудом разлепил глаза, сел, стукнулся лбом о край полатей и только тогда пришел в себя.

— Ну спать ты мастак! Что медведь храпишь. Насилушки добудилась, — говорила Дарья Степановна, стоя на приступке и улыбаясь всеми морщинами простоватого крестьянского лица.

Я зябко ежился. После горячей лежанки в горнице было холодно.

— Умойся скорее. Сон-от и обдерет, — советовала старуха.

Сон действительно «ободрало», когда я плеснул в лицо ледяной озерной водой.

А между тем в горнице на столе появились самовар и тарелка теплых творожных ватрушек.

— Крепче ешь, — угощала хозяйка. — Дорога-то дальняя...

Я добросовестно ел и пил и в последний раз оглядывал полутемную горницу, освещенную семилинейной лампой — колхозный движок еще не работал. А со стен смотрели какие-то фотографии, густо насаженные под стекло в коричневую раму. Были там и древние желтые картинки с едва различимыми ликами, и продукция военных лет — тонкие карточки с надписями «Привет с Урала», и фотографии сыновей Дарьи Степановны, простоволосых ясноглазых ребят, снятых в каких-то нелепых черкесках с газырями и деревянными кинжалами, надпись на которых гласила: «Кавказ».

Над кроватью помещались два больших портрета в черных резных окладах. На одном — гладкая, толстая девушка смотрела с неприветливой важностью — сама Дарья лет пятьдесят назад. На другом — бравый молодежаватый солдат, вот-вот шевельнет лихой бровью.

Над портретами были укреплены лосиные рога с такими широкими лопатками, будто сняты они были с допотопного гигантского оленя.

Под рогами висели два хороших ружья. Ружья Дарья не соглашалась продать никому, хотя, очевидно, были они теперь ни к чему, да и нуждалась она сильно.

Пенсию в колхозе тогда еще не платили, а выдавали натуральный паек — не помню уж, сколько килограммов муки, гороху и мяса.

— Почто я их отдам? — говорила она про ружья. — Васька вон, Петра-то Алексеича, все наведывается, продай, слышь, да продай. А мне с емя спокойнее. Другой раз погляжу, раздумаюсь, и все кажется, будто старик мой промышлять ушел. У ево ишо третье ружье было. Утонуло вместе. Любил ружья, покойник.

Сейчас, оглядывая комнату и допивая чай, я мучительно раздумывал, как мне быть. Дело заключалось в том, что старуха всегда наотрез отказывалась брать с меня плату за постой, а уехать, не отблагодарив ее за все хлопоты, было невозможно.

Ничего хорошего я не придумал. И наконец, выждав, когда хозяйка ушла на кухню, положил деньги под тарелку.

— Не забывай старуху, приезжай по весне, — говорила она, провожая меня в темные сени. — Коли не помру, так всегда милости просим... На-ко вот тебе, пригодится, — она подала мне теплые носки, плотно связанные из грубой овечьей шерсти. — Бери, бери! Сунь в котомку-то. Ну а теперь ступай... Легкой дороги тебе...

Я зашагал по спящему селу, в синем предрассветном сумраке. Справа, за огородами, голубело заснеженное озеро, слева невнятно темнели отлогие горы. Гладко укатанная дорога поблескивала в полутьме, сворачивала к околице. Кругом было тихо, пустынно, только изредка взбrehивали собаки да сам собою побрякивал колокол на высокой кержацкой звоннице, ныне превращенной в пожарную каланчу. В доме у околицы, где жил председатель колхоза Петр Алексеевич, уже горел огонь, и я увидел, что председатель бреется, стоя у окна. На минуту я задержался в раздумье: не зайти ли, попросить машину до станции или хоть лошаденку. Но почему-то раздумал и тронулся дальше. С озера в спину дул упругий сырой ветер, небо затягивалось быстро бегущими тучами.

Зимний рассвет наступал не торопясь, степенно. Я отошел уже несколько километров, когда в светлеющем сером ольховнике по-утреннему стали перекликать-

ся снегири: «юч... юч... ю... ю...» Вот один выпорхнул к самой дороге. Сидит на голом прутике, алый и чистый, как кусок зари, настороженно вздрагивая крыльями и хвостом, ворочая головой, одетой в черную шапочку.

— Ю... ю... — вопросительно-печально выговаривает снегирь.

И от этого задумчивого пересвистывания красногрудых пушистых птичек, от мягкого снегового утра, от укутанных пальчиков молодых елок особенно хорошо, мирно, свежо на душе.

Полный рассвет настал незаметно. Дорога проходила мимо ярко-зеленых ельников, болот, заросших голым осинником, холодно-прозрачных березняков, белых, как сама зима. Заячьи наброды то и дело пересекали дорогу, изредка попадались строчки лисьих следов, сороки трещали, завидев человека, вороватым полетом отлетали подальше и, усевшись на вершинки елок, сгибая их, продолжали свой тарабарский разговор. Очень умная, злая, хитрая птица — сорока. Пожалуй, можно сравнить ее с лисицей. Человека с ружьем она замечает за полкилометра и редко-редко навернется на выстрел. Единственная птица, которую стрелял я всегда без сожаления и преследовал, как мог. Я знал, что каждая убитая сорока — это десятки целых гнезд, сотни птенцов, которые будут жить и радоваться солнцу. Словно угадав во мне своего заклятого врага, сороки переместились еще дальше, с прежним назойливым стрекотаньем, похожим на автоматные очереди.

Дорога свернула в горы. Лес пошел выше, темней и гуще. Ветер ослаб. Зато крупный липкий снег посыпался вдруг, мало-помалу усиливаясь, переходя в тихую метель.

Передохнуть я остановился в логовине у незамерзающего ключа. Он чернел полыньей среди свежего снега, выбиваясь из-под каменной плиты. Некоторое время ключ бежал свободно, потом скрывался под серебряной коркой льда со вмерзшими в него палыми листьями и наконец уходил под снег, терялся в глубине высокого ельника.

Торжественная тишина стояла в логу. От такой тишины кажется, что звенит в ушах. Ее не нарушает ни писк синиц, ни стук дятла. Словно мертвое, заколдованное царство, немо молчит ельник, а слабый шорох снежинок лишь усиливает впечатление помертвелости и по-

коя. И все-таки я чувствовал, что где-то здесь бьется скрытая жизнь. Тут обязательно есть рябчики. «Место очень подходящее», — сказал я себе. Рябчик любит глушь, еловые лога и ольшаники с такими вот ключевыми ручьями. Попробую-ка выманить его на пищик, хоть пора хорошего лёта на пикульку давно уж прошла.

Медные пищики-манки всегда были при мне, привязанные за петлю нагрудного кармана. Ими я подманивал любопытных синиц, «осаживал» пролетных чижей, на их тонкий писк ко мне прибегали полосатые бурундуки и крохотные землеройки вылезали из своих нор.

Я сошел с дороги, укрылся под сводом угрюмой пихты и стал манить. Но никто не ответил мне. Молчал ельник, сыпал снег, и глухо постукивало мое сердце. Прошла минута, другая и третья. Никто не отзывался.

«Да не может быть, чтоб такой нелюдимый лог оставался необитаемым», — думал я, убирая пищик. И вдруг услышал за спиной неясный шорох и звонкий бодрый свист птицы. Она была так близко, что я боялся шевельнуться. Было слышно, как у рябчика что-то даже сипело в горлышке, словно от сильного негодования. Я повернулся быстро, но за сплошной стеной колючих еловых ветвей услышал только шумный взлет да на миг увидел мелькнувшую пепельную спинку птицы. Оказывается, осторожный рябчик пришел ко мне пешком, молча несколько минут рассматривал мою спину и рюкзак, может быть, удивляясь, а может быть, посмеиваясь, если птицы вообще умеют смеяться.

За дорогой откликнулись еще два рябчика. Я взвел курки и снова зажал манок в зубах. Однако птицы не торопились показываться на вид. Второй раз они отзывались не так азартно, на третий откликнулся лишь один, на четвертый снова молчание. Тогда я перешел дорогу и, осторожно ступая, стал двигаться примерно в том направлении, откуда слышал голоса птиц. И снова шумный порх где-то за елями, тревожный свист и звенящая тишина. Через несколько минут я увидел рябчика в прогалинах вершин. Он сидел на тоненькой склоненной пихте, вытягивал шею, подергивал клинышком хвоста. Снег осыпался с макушки пихты белой пылью. Стрелять было безнадежно — далеко. Я закинул ружье за спину и выбрался на дорогу.

«Наверное, рябчики почуяли перемену погоды. Перед дождем или снегом они ни за что не летят», — подумал

я и, оглядевшись, увидел, что погода действительно испортилась. Снег сыпал, как пух из распоротой перины. Плечи и котомка мгновенно побелели.

Я прибавил шаг.

У края широкой, как поле, вырубki попались крупные свежие следы-кресты. Большой глухарь только что перешел дорогу, пешком отправился в чащу. Я свернул было по следу с ружьем наготове и вскоре попал в трущобу. Сваленные и перекрещенные стволы загораживали дорогу, сухие сучья целили в глаза, колючие ветки осыпали вороха снега. «Бо-бо-бо-бо», — раздался впереди грохот крыльев потревоженной птицы.

И я повернул к дороге, раздумывая, не следует ли податься назад, в Белозерье. Глухарь уходит — будет пурга, вспомнил я старую охотничью примету.

Но выбравшись на дорогу, я тотчас отбросил все сомнения и пошел вперед, стыдясь собственного малодушия. Снегу на дороге прибавилось. Крупный, мягкий, обильный, он летел в глаза, цеплялся за брови и ресницы. Холодно таял на лице. Даль совершенно скрылась за его мутной шевелящейся пеленой. Даже самые близкие горы едва-едва проступали сквозь эту мглу. Временами и они скрывались, и мне начинало казаться, что я иду в пустыне, не видимый никому и сам не видящий ничего, кроме снега, снега, снега со всех сторон.

Вот на мгновение проглянула слева сизая мохнатая вершина. Стожок! Значит, половина пути пройдена. Стожок — самая высокая гора в округе. Если в осенний ясный день взобраться на ее вершину, а оттуда по жидким стремянкам на зыбкую, гибельную площадочку пожарной вышки, видно, как далеко-далеко разметнулся великий простор лесов, видны синие глаза озер, прихотливые изгибы рек, дымки лесных деревень, высоковольтные трассы, прямые, будто полосы от удара хлыстом, виден один очень далекий увал за Лешачьими логами, по лысому гребню которого растут лиственницы чудовищной высоты. Давно-давно был я на том увале, но до сих пор сохранил чувство беспричинного страха, которое овладело мной при виде живых неохватных колонн, уходящих в небо. Что-то допотопное было в этих лиственницах, и пока я крохотным карликом бродил меж них, мне казалось, вот-вот раздастся хрюкающий трубный рев, на гребень выйдет мамонт с колоссальными гнутыми бивнями или волосатый носорог рыжей гро-

мадой вдруг поднимется из-за камня. Может быть, те лиственницы в самом деле видели мамонтов.

Сизая вершина Стожка куталась в полог метели и скоро скрылась совершенно.

По широкой вырубке гуляла выюга. Вихри крутились один за другим, и там, где они перебежали дорогу, нетронутым пластом ложилась снежная целина. Пробираясь сквозь тучи снега, полуослепленный, я слышал впереди странное гуденье. Минут через пять различил я у дороги одинокую тонкую сосну. Забытая лесорубами, она гнулась дугой и уныло шумела под напором ветра. «Какая тебе перепита пришла...» — вспомнились слова старой Дарьи. Скорей, скорей пройти эту вырубку.

Теперь я не думал об охоте. Ружье повесил на плечо. Почти в тот же миг стая тетеревов с квохтаньем вырвалась неподалеку. Птицы растаяли в снежной мгле, как призраки, а я даже не почувствовал досады...

...Давно кончилась вырубка. Уже более трех часов иду лесом. И по моим расчетам, где-то справа должен попасть поворот на высоковольтную трассу. Но его все нет и нет. Мне хорошо помнилось место, откуда начиналась боковая тропа. Там стоял старый межевой столб с неразборчивой надписью на расколовшейся дощечке: «Озерская лесная дач... В лесу не кур...»

Столб был почти у самой дороги, росла перед ним небольшая елка, лиловыми шапками цвел иван-чай, и большие черные мухи-ктыри мрачно сидели на дощечке, подстерегая добычу. Так было в июле, восемь лет назад.

Поразмыслив, я принял решение идти вправо напрямик, пока не пересеку трассу, и бодро углубился в чащу. Но чем дальше я забирался в эту непролазную глушь, тем медленнее становилось движение. В густом заснеженном лесу человек барахтается, как муха в паутине, с невероятными усилиями «прорываясь» вперед. А выюга отряхивает вершины, морозная пыль лавиной обрушивается на голову. То и дело приходится перелезать через бурелом и колодник, а снег забивается в рукава, за воротник, в сапоги. Тает холодно и липко. Не помню, сколько времени продолжалось так, однако лес начал редеть.

«Скоро трасса! — ликовал я. — Скоро трасса! Сейчас будет опушка».

Еще несколько шагов — и я вышел на нее, остановился, весь взмокший, как загнанная лошадь.

Вместо поблескивающих медью проводов на гудящих ажурных опорах передо мной было совсем незнакомое, унылое болото с желтыми косами сухого камыша, бесприютно шуршавшего на ветру. За болотом сквозь сеть снежинок темнел бесконечный ельник. Жуткое безлюдье было кругом. Сверился по компасу. Иду правильно. А очень далекие гудки электровозов доносились теперь почти с противоположной стороны.

— Надо перейти болото, а там видно будет, — сказал я вслух, чтобы подбодрить себя. Мой голос странно прозвучал в этой дикой тишине, будто сказал кто-то посторонний, стоявший рядом.

За стеной высокого камыша не гулял ветер, снегу было меньше, под ногами чувствовался гладкий лед. Я почти миновал болото, как вдруг что-то всхлипнуло, правая нога провалилась выше колена. Пропарина.

Инстинктивно я лег на снег, осторожно потянул ногу, вытащил ее без сапога, всю черную от зловонного жидкого ила. Дотянувшись рукой, с трудом достал сапог, полный воды и грязи. Переполз опасное место, а там уж встал, бессмысленно волоча сапог, вышел из болота, бросил рюкзак и опустился на заметенную снегом кучу хвороста под высокой елью.

Мокрая нога стала мерзнуть. Я же совершенно растерялся и лишь бессмысленно вытирал липкие от грязи руки... Смеркалось.

«Надо что-то делать! Нельзя сидеть на снегу. Скоро станет совсем темно. Скорее развести костер! Но сначала обогреть ногу».

Я надрал сухого мха со ствола ели, вылил грязь из сапога, обтер его изнутри. Потом развязал рюкзак, стащил промокший носок и поставил красную окоченелую ногу прямо в суму. Ступня уперлась в мягкую овечью шерсть.

«Носки! — вспомнил я. — У меня есть теплые сухие носки. Верно! Скорее... Вот спасибо Дарье Степановне! Вот спасибо...»

Переобулся и сразу почувствовал себя увереннее, бодрее, хотя ветер с болота дул по-прежнему, а выюга усилилась и не давала осмотреться. От леса синё надвигались сумерки.

«Разведу огонь. Хворост подо мной. Переночую как-нибудь...»

Я разметал снег, но там оказался огромный муравей-

ник. Да и откуда же быть хворосту в этом глухом месте? Как это сразу не пришло в голову?

Тогда надо ломать ветки...

«А почему муравейник с северной стороны? — вдруг спросил я себя. — Никогда не видал, чтоб муравьи устраивали жилье лицом к холодным ветрам...»

Дрожащими мокрыми руками я вытащил компас и поднес его к глазам. Светящаяся стрелка рыскала в стороны, но показывала в основном то же направление. Кто ошибался? Компас или муравьи? Не испортился ли он?

Муравейник может быть на юг, юго-восток, юго-запад от ствола, только не на север. Вот и мох на ели гуще с другой стороны...

Я вспомнил, что когда собирал вещи и клал компас в карман, стрелка его не была закреплена. А ведь он целых две недели лежал рядом с ружьем! Значит, вместо того чтоб идти строго на восток, я больше и больше уклонялся к северу... А может быть, к югу? Кому верить: компасу или муравейнику?

С отчаянием смотрел я то на дрожащую стрелку, что горела холодным зеленоватым светом, то на муравейник.

«Пойду по компасу. Все-таки инструмент не может сильно ошибаться... А теперь вперед! Надо использовать сумерки, пока в лесу не наступит полный мрак».

Пожалуй, никогда с такой отчаянной решимостью я не ломился через лес, весь облитый жарким потом, с лицом, исцарапанным ветками, исколотым хвоей. Шел, продирался и бежал, а сердце колотилось, как будто хотело пробить грудь.

Я потерял ощущение времени. Не знаю, сколько длился этот сумасшедший бег с препятствиями, иногда мне казалось, что я не иду и получаса, а иногда холодная мысль, что уже за полночь, заставляла еще упорнее идти, бежать, прорываться и снова бежать и идти.

Вдруг как-то внезапно я вылетел на широкую дорогу.

Это не была обычная лесная дорога. Это была широкая лежневка со следами гусениц, и как же обрадовался я ей — трудно сказать.

— Ну, все! Ну, вышел! — устало и радостно твердил я вслух, хотя и не знал, что за дорога, в какую сторону ведет. Лишь бы к людям, к жилью и теплу, лишь бы прочь из этого темного, угрюмого молчания.

Передохнув, я бодро зашагал по дороге налево. Казалось, там должна пересечь ее знакомая высоковольтная трасса, а может быть, на самую станцию приведет рубчатая тракторная колея...

Прошел час, второй, третий. Никаких признаков жилья и людей не появлялось нигде. Кругом мгла, черный лес и снег. Я едва-едва брел в темноте и снегу, с усилием переставляя ноги. Они стали какими-то ватными, непослушными, грозили отказать совсем. Все чаще присаживался я посидеть и все труднее, ужасным напряжением заставлял себя подняться, двигаться дальше. А дорога шла такая же ровная и широкая, лишь следы трактора уже не различались на ней, засыпанные свежим голубым снегом.

В конце концов ноги подкосились, и я не то сел, не то свалился в обочину и впал в тупое, усталое оцепенение, когда человек делается безразличным ко всему. Не чувствовалось ни страха, ни холода, не хотелось и спать. Только бы не идти...

...Меня разбудил сильный грохот, лязг и свет. С трудом разлепил глаза. Какая-то машина катилась на меня. Вот она встала, лязгнув и содрогаясь, ослепительно блестя глазами фар. Из-за дверцы показалась черная голова в ушанке.

— Эй, кто таков? — грозно долетело до меня. — Куда тебя черт занес?

А минут через десять я засыпал в теплой кабине трелевочного трактора, засыпал, вздрагивая и стучаясь лбом о ветровое стекло. Трактор шел из дальней лесосеки на ремонт в Белозерье.

Как выяснилось впоследствии, я оказался в противоположной стороне от трассы и линии километров за тридцать. Так далеко увел неисправный компас и лесовозная дорога из Белозерского на дальние увалы. Может быть, компас испортился от соседства с ружьем, может быть, размагнитилась стрелка, может быть, неизвестные гигантские жилы магнитных железняков проходят где-то вблизи Белозерья. Не знаю. Зато совсем просто объяснилась ошибка с тем граневым столбом у тропы на трассу, которой я не мог отыскать. Ведь перед ним росла маленькая елка. За восемь лет она, конечно, превратилась в зеленую стройную ель и скрыла столб своими ветвями.

Страницы осени

Она приходит незаметно. В одно сентябрьское утро вдруг почувствуешь, что лето кончилось и осень светло и ясно смотрит в окна.

В такое утро голубой солнечный туман долго стоит над землей. Им подернуты дали, нежно окутаны улицы и дома. Пьяно-вянувший запах осени течет из садов, с огородов, с окрестных полей. Пахнет коноплей, бурьянами, озябшей землей, и на тонкой прогонистой березе над крышей уж золотится первое монисто.

Осенние дни зовут в лес. Летом за устойчивым теплом и зеленью как-то не замечаешь течения времени. Зато сейчас каждый лист, падающий в траву у забора, напоминает о бегущей жизни.

И начинаешь думать, что где-то на зорях холодеют поля, последние цветы дремлют под ледяными росами на омежьях, где-то уже сыплет листопад и отлетные стаи держат в поднебесье свой неразгаданный путь...

И каждую осень страдаешь от сознания того, что не достанет сил охватить все величие образов и чувств, которые рождает осенний ветер и высветленное им прохладное небо.

Поневоле завидуешь художникам. Ведь на нескольких холстах живописец может остановить всю русскую осень с ее дождями и тучами, с усталой кротостью теплых дней и белой печалью первого снега. А как же быть мне?

Писать об осени, как ее видел?..

* * *

Раньше я жил на окраине города и часто ходил осенью в лес по грибы, за хворостом, ловить птиц или писать этюды грошовой акварелью — плачевные этюды, в которых преобладало лишь желание схватить лесную красоту.

Я вставал затемно, с первыми петухами, голосившими ночным, нездешним криком; одевался, не зажигая огня, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить домашних. Обычно это редко удавалось. То наткнешься спросонья на стул, то застонет вдруг неслышная днем половица,

то уронишь с печи тяжеленный болотный сапог, и он загрохочет по приступку, как двадцатипудовая гиря. Ковшик воды на дорогу. Краюху хлеба в карман. За плечо мешок со снастями, и вот выходишь на крыльцо, во двор.

Свежо. Темно и тихо. Тлеющие уголья звезд еще рассыпаны в вышине, но повозка Большой Медведицы склонилась дышлом за сарай. К утру.

Хороши ранние глухие часы, когда ночь уже кончилась, а утро еще не началось. Впереди утро — огромное утро, впереди день — не будничным, примелькавшимся, начинающийся со звонка будильника, а огромный и новый, как праздник.

Стучает калитка. Иду по темной улице, вдоль черных домишек и спящих тополей на свет белой зари. После темной комнаты и ватного одеяла зябнется, сонная дрожь пробегает по спине, но спокойно, весело на душе.

А петухи по сараям снова опевают ночь голосами домовых.

Вот кладбище за окраиной. Призрачные стволы берез, голубцы, кресты и колонки памятников встают из полумрака. И нисколько не страшно. И никто не бродит там, кроме утреннего ветра, да разбуженная горихвостка монотонно покрикивает: «уйть, уить...»

Шагаю и шагаю километр за километром мимо полей пригородного совхоза, вдоль насыпи железной дороги через гулкий мост, под просветами которого неподвижно течет черная вода.

И вот он, лес. Глухая рань. Иней в траве по низинам. Еще оцепенело молчат деревья, спят травы, дремлют кусты. Первая электричка, будто олень трубит в дальних лесах. Проступает слегка на опушке ржавая прожелть берез, светлое золото липняка, багрянец осин.

Знакомая ель будто замерла в ожидании, протянув ко мне темные, мохнатые руки. Сколько раз встречала она меня на пороге леса, сколько раз отдыхал я под ее шатровым навесом. Здесь прятался, пережидая летний «комарный» дождичек, когда капли сыплются тепло и редко, а комары взлетают из-под каждой травинки.

В лесу на любимых местах все запоминается отчетливо: глухариный копанец¹, брусничник и груздевище на года укладывает память. И потому, придя на место,

¹ Копанец — место, где глухари и тетерева купаются в земле.

ревниво следишь, не срублено ли чего, не подсечены ли елочки на опушке, не осталось ли где черное пятно низового пала.

Долго стою на опушке рядом с елью, трогаю ее блестящие ветки, слегка влажные от ночного тумана. Дышу холодным запахом утра. Смотрю, как просыпается небо.

Солнце ленивенько ощупывает макушки высоких берез, светится в сучьях лиственниц, высоко стоящих над лесом. В подлеске полумрак и покой. Листья кустов запотели. Сизеет заинежелая трава. Паутина серебрится узорным пятном.

Не желая рушить волшебное творение, обхожу его стороной, и все-таки мелкие паутинки садятся на лицо, прилипают к одежде.

Надо мне выбраться к току на вырубке, возле опушки березовой рощи. Там ловлю я птиц, смотрю, как живет лес, пишу свои заметки.

Иду сквозь чащу прямиком, по бронзовым папоротникам и лисьей осоке. Шелест шагов и хруст сучьев далеко отдаются кругом, и мне хочется ступать как можно тише — так оскорбительно громок любой треск в великом лесном молчании.

Множество грибов попадает на пути: синие сыроежки, горькие свинари, белые скрипицы, округлые волменки — все это богатстворосло на теплой, промоченной дождями лесной подстилке и пока не боится инеев, лишь ближе жмет к земле, укрывается хвоей, прячется в траву. Опята в коричневых касках приступом берут пеньки, осаждают колодник. Хитер осенний пехотинец — ведь гниющая древесина дает тепло, и недаром в пенках живут личинки, устраивают гнезда муравьи, зимуют бабочки. Бывает, пойдешь рано весной искать муравьиные куколки, и нигде в простых муравейниках нет, а в пенковых — целыми горстями.

Так, раздумывая о лесной жизни, незаметно уходишь дальше и дальше. Уже светло стало, и вот будто скрипка запиликала вверху: «пи-пие, пи-ти, пие-пи...» Идет вершинами пробужденная солнцем стая чижей. Перелет начался. Лес очнулся.

— Пинь-пинь! Финьк! — задорно начинают зяблики в березах.

— Кээ, кээ, кээ, — слышатся голоса гаечек.

— Та-та... та-та-та-та... та, — телеграфно выстукивает дятел.

— Краэрэк, — противно орет рыжая кукушка.

— Гви-гвик-ча-ча, — взвизгивает дрозд.

Утро началось.

Заспанный голубой поползень вдруг вылезает из дупла одиночной посохшей ели. Он потягивается перед самым моим носом, поднимает крылышки над головой, ерошит перья на темени и, сообразив наконец, что перед ним человек, цепко перебегает по шершавой коре на другую сторону ствола.

И чем выше солнце, тем радостнее рдеет, горит, золотится, благодушно посмеивается нарядный лес. Сколько безмерно щедрых красок вокруг: зелень и багрянец, прожелть и синева. Одних красных тонов не перечесть на каждой осине: рудой, карминовый, ржавый, охристый и оранжевый, а про желтые я не говорю, — все оттенки, от блеклого соломистого до яркого, как плавленное золото, пестрят в глазах. Отсюда, должно быть, от этой захватывающей цветности сентябрьского леса, яркие росписи Мстеры и Палеха, необыкновенные тона живописи импрессионистов. Здесь ключевой исток вдохновения Саврасова, Коровина, Левитана, Шишкина и целых поколений пейзажистов прошлого, настоящего и будущего. Не знаю, у кого как, но у меня сентябрьский лес всегда вызывал безмерное желание взяться за кисть и одновременно острую злость на свою художническую беспомощность.

Скоро открылась новая опушка. Здесь кончалась полоса смешанного леса. Широкая вырубка клонила к ольховому болоту, а по другую сторону вырубки стояла березовая роща.

Поперек вырубки гривой растут сосны, елки, осины и березы. Их пощадила ненасытная пила лесоруба. Ими, словно мостом, лес соединяется с рощей, и не случайно посередине гривки выбрано мной место для тока. По таким вот перехватам любят ходить птичьи стаи из одного леса в другой.

Подле гривки стекает в ольховое болото родниковый ручей. Я запрудил его, отрегулировал сток воды и образовал на току мелкую светлую проточную лужу для купания.

На этом точкѣ ловятся зяблики, лесные коньки, синицы, славки и мухоловки. Даже осторожные иволги и подозрительные дрозды изредка наведываются сюда.

Гриву с ручьем я нашел после долгих поисков. Не-

легко выбрать место, где певчая птица хорошо «валится», как говорят птицеловы, то есть спускается на землю, под сеть. Иная поляна всем хороша: и подлесок красивый, и пролет превосходный, а птичьи станицы не задерживаясь пролетают мимо.

Человеку, не посвященному в тайны ловли, она представляется примерно так: вы приходите в лес, вешаете на дерево сетку или клетку (для многих это одно и то же), сыплете в клетку крошек; нужная птица прилетает, ей очень хочется попробовать городского хлебца, она залетает в клетку, и делу конец.

Такие представления о сложной, исключительно трудной и увлекательной охоте так же далеки от истины, как Земля от звезд. Я, конечно не имею в виду ловлю птиц десягами — «промышленниками», которые кроют чечеток, чижей и щеглов стаями на приманных птиц.

Сначала я налаживаю на току сеть. Захлопнутая, она покрывает всю площадку тока, расчищенного между березами и елочками. Настороженная сеть собрана в линию к одной стороне.

Я ловлю на прикормку, и потому моя охота не в пример интереснее. Самые различные птички привыкают летать на ток, где для них круглый год открыта даровая столовая.

Каждый раз я оставляю тут кучки конопли, семян подсолнухов, овса и разных других лакомых кормов.

...Закончив хлопоты с сетью, замаскировав ее листьями, протягиваю шнур и ложусь в кустах шиповника. Отсюда хорошо видно ток, а зелень и желтизна кустов отлично скрывают меня.

Птицы уже здесь. Молодые зяблики один за другим прыгивают на ток, пьют и купаются на мели, безбоязненно лущат зерно. Вместе с ними вертится юркая пеньковка-теньковка. Она ни секунды не сидит на месте. То порхнет в кусты, то шмыгает по земле, то снова качается на ветке, негромко выговаривая: «ти... ти...» Ни зяблики, ни пеньковка не нужны мне. Достаточно подержал я этих милых, шустреньких, невероятно прожорливых крошек.

А птиц все прибывает: две серые славки, самка овсянки, лесной конек и горихвостка-лысушка хозяйничают на току, черноголовая синица-пухляк с интересом поглядывает вниз, сидя на верхней еловой мутовке.

Забыв про шнур, я гляжу, как конек покачивает

хвостиком, жеманно ходит по току, овсянка клюет то-ропливо, а пухляк по одному таскает подсолнушки и долбит их, зажимая лапкой, на ближней ветке.

Вдруг короткое стрекотание — и ток опустел. Уж не ястреб ли облетает свои владения? Нет. Не ястреб. Большой белобокий сорокопут сидит на елке у тока. Хищная певчая птица.

«Может быть, спустится», — думаю я и крепко наматываю шнур на кулак. Но сорокопут ныряет с елки и медленно летит вдоль гривы над самой землей. Уж он, конечно, разглядел человека своими зоркими, подведенными черными глазами.

Понемногу на току снова набирается разнообразная птичья компания. Выводок зеленушек, два зяблика, та же синичка-пухляк и близкий родственник зябликов — вьюрок. Все они хорошо знакомы мне, и, досадуя на неудачную ловлю, я понемногу отвлекаюсь от сети, смотрю, как идет в роще редкий золотой листопад.

На светло-голубом сентябрьском небе березы пленяют светлотой и солнечной окраской вершин. Что-то святое есть в березах осенью.

Глядя на них, я припоминаю, какое удивительное впечатление произвело на меня однажды это дерево. Я увидел его летним утром, подъезжая к Москве, километрах в трехстах от нее. Колоссальная многоствольная береза стояла в поле, как могучая и прекрасная женщина, сияя белизной ствола, кротко клоня долу зеленые пряди своих мелколистных кос. Такие величавые красавицы поражают самого равнодушного. И думаешь, как же добра ты, земля, творящая красоту.

Даже отсюда видно, как сухо, тепло в березовой роще, словно горит она спокойным желтым пламенем, и жаль, что скоро под студеными ветрами сникнут, потухнут костры берез, угаснет игра теплых тонов. Ведь, облетев, березы растворяются в лесу, будто говорят: «Вот, мы всё отдали».

Внезапное движение, писк и трепет выводят меня из березовых дум.

На ток словно упала серая рукавица. Что-то бьется там, взмахивает крыльями... Рука дергает шнур. Сеть стремительно кроет ток. Кто-то серый скачет у края, пытаюсь вырваться.

Со всех ног вылетаю из шиповника.

Сыч?! Воробьиный сыч!

Крохотная совка с пронзительными оранжевыми глазками, в пестрых штанишках яростно щелкает клювом. В когтях накрепко стиснут задушенный пухляк.

Бедная доверчивая синичка, какой печальный конец твоей жизни!

Жаль пухляка, но я доволен добычей. Только как достать сыча из-под сети, не получив хорошей царапины на память?

— Ах ты, паршивец! — говорю я маленькому злодею, прижимая его сеткой к земле. Теперь надо схватить его за спину. Вот так! Понемногу освобождаю от сети редкую птицу.

Воробьиный сыч — копия филина, уменьшенного до размеров скворца. Он охотится на мышей, полевок и птиц, чаще утром, как ястребок, бросаясь на добычу.

Сажая сыча в темную матерчатую клетку, снимаю сеть, сматываю шнур. На сегодня довольно. Надо в целости принести дорогую добычу. Обходной тропой шагаю назад.

День безветренный. Бабье лето. Солнце крепко пригревает плечи.

Тропа огибает лесистый кряж, выводит на южный склон. Сосновая опушка. Она дышит теплом, а кожаные подметки сапог оскользаются на сухой хвое. Сивые каменные лбы тут и там выступают из земли. Переросшие масляки семейками тянутся в гору.

Я забираюсь к вершине, ложусь на теплую плиту, посыпанную хвоей, и отсюда гляжу на ближние увалы и распадки. Хочется мне записать все это, поведать, как несказанно велика сила осенних далей, увалов и ельников, и синих каменных плит, от века лежащих тут.

Здесь истоки любви к земле, правде и поэзии.

Жалкой кажется моя записная книжка, в которой я чего-то черкаю, зарисовываю в стремлении вобрать, схватить, не упустить.

А рыжий лесной муравей забежал на страницу и, подогнув брюшко, на дыбках бросается на мое «стило». Он воюет с авторучкой по всем правилам нападения, словно не желает допустить, чтоб я писал о нем.

В конце концов осторожноенько стряхиваю задорного муравьишку за край плиты. Вижу, как он, постояв, подумав, берет жвалами сдвоенную хвоинку, кладет на свое рабочее плечо.

Я люблю осеннее ненастье, люблю наперекор дождю и мокрому снегу шагать по оловянным дорогам, по кислому суглинку и сырой листве.

Сеет холодный дождик, темна впереди брюхатая туча, в серую мглу размылся горизонт — все нипочем. Ненастье замечательно освежает душу. Не надо прятаться в теплые комнаты, проклиная дождь и слякоть. Право же, неплохо хорошенько озябнуть и вымокнуть, хотя бы чтоб полнее оценить простые жизненные блага: кровлю над головой, сухое тепло печи, стакан горячего чая.

Может быть, я странный человек, но я думаю, что непромокаемые плащи, теплое белье, автомашины и трамваи оставляют все меньше возможностей современному человеку ощутить сполна холодную прелесть мелкого дождя, свежее дыхание мокрого ветра и самый запах сырых полей, влажной листвы и вянувших трав.

В осенние дни хорошо оказаться на лесном озере — особенно величаво звучит здесь минорная гамма ненастья.

Под ветром без конца вскипают, катятся волны. Холодная волна хлещет и хлещет в береговые камни, студено-прозрачная вода облизывает песок, толкает груды бурых водорослей, моет пустые створки перловиц.

Северные пролетные чайки взад и вперед носятся над волнами на своих узких длинных хищных крыльях. Странно видеть морских птиц в лесной стороне. Зябко на берегу. Коченеют пальцы. Дождь кропит и кропит. А уходить не хочется. Хочется смотреть, слушать и думать, вбирая всем существом осеннюю стынь, хмурость и свежесть.

Караван казарок вдруг выдвигается из-за вершин леса. Гортанно звучат голоса. Торжественно плывет косяк прямошеих птиц, будто луки со стрелами нацелились в озеро.

Провожая их и думаю: «Хорошо бы написать этот мокрый пахучий пейзаж с низкими тучами, серыми волнами и облетевшими березами на берегу».

Холод. Ветер. Тучи. Удивительная поэзия севера. В который раз уже рождает она чувство невысказанной тоски и жадности — как бы захватить все это? Как передать самый вкус осеннего ветра, пролетевшего неведь над какими далями, как написать скупой, но величавый

свет дождевого неба, живую смену холодных тонов на гребнях волн, печаль обнаженных берез.

...Вот по сырой дороге вдоль озера идет куда-то девушка в телогрейке. Ржаные волосы, неласковые глаза, упругая щека, короткая юбка.

Прошла.

И снова дует ветер, шумит лес, летят листья, хлещут валы. А за далеким берегом, по-над крышами безымянной деревеньки вдруг брезжит белая размытая полоса. Оттуда будет конец ненастью.

* * *

Октябрь. Ясное утро с инеем. Я забрался в еловый дог и сижу на выворотне возле ручья. Смотрю и слушаю. Только так можно понять и почувствовать всю прелесть лесных тонов, запахов, света и негромких звуков. В одном этом моховом елвище столько нетронутой красоты, что ее хватило бы на сотню художников с талантом Шишкина.

Как жутко-величавы высокие сухары-обломыши! Издолбленные дятлами, источенные ходами короедов, опаленные пожарами и временем, они стоят — темноликие языческие идолы.

Тонкие березы взметнулись над ручьем. Мягко золотятся, чуть-чуть трепещут их поределые кроны. Уставив в небо зубчатые вершины, задумались ели. Спокойны пихты.

Ледяной сиверок слегка гуляет в вершинах, и я смотрю, как непрерывно и косо сыплется, падает желтый лист в черном ельнике. Лес облетает сильно. На прозрачной воде с незаметным течением листья плавают цветными корабликами. Листья всюду: на молоденьких елках, на сушняке с редкими прямыми сучьями, на кочках мха, на моих коленях.

Лист сваливается тебе в руки, как откровение, как прощальная весточка осеннего леса.

Скоро конец листопаду. Вон молодые липки уже разделись догола. Желтыми, палевыми, голубыми половичками устланы их подножия. Ломкая утренняя тишина. Ни стука дятлов, ни синичьего писка.

— Цви, цви, цви-цири-ти-ти,— вдруг звучно и задорно несется из сумрака елей.

Рябчик.

— Цви, цви, цви-цири-ти-ти,— точно так же откликается другой из-за ручья.

— Кси, кси, кси... тюль-тюль, тюль-тюль,— плаксиво и жалобно вскрикивает в стороне невидимая самочка-рябушка.

Вот из-за нее, тихони-хохлушки, которая сейчас где-нибудь под елочкой кокетливо перебирает перья в подхвостье, будет целое сражение.

Прррр-прр,— гремит шумный порх.

По-над ручьем, на согнутой в дугу, растерявшей листья липе уже прогуливается чернобородый сердитый петушок.

Ослепленный ревностью, он не стережется. Не до того. Свались сейчас ужасный тетеревиатник, пугало леса, подползи куница-белогрудка — всё ни о чем.

Не видит петушок и того, что черный зрачок ствола уже прицелился в его рябую грудку... Что же дальше?

А дальше я тихо опускаю ружье, отвожу его в сторону. Слышу, как позади слегка шелестит. Кто-то бежит там по земле. Вот на замшелой колодине точь-в-точь такой же чернобородый красавчик с приопущенными крыльями, с поднятым хохолком.

Первый комом слетает вниз. Вижу, как рябчики надуваются, подпрыгивают, как забияки петушки на деревенском прогоне. Летит перо. Наскок за насскоком, второй теснит первого, и скоро оба, перепорхнув ручей, убегают в ельник друг за другом, вертко поворачиваясь меж елочек и кочей.

Снова молчание. Лес не любит показывать своих картин с быстротой кинематографа. А посидишь, послушаешь, присмотришься — и... вон белка перемахивает с вершины на вершину, ползет в кочкарнике сонная гадюка, полосатый бурундук выбежал на ту же липу-дугу. Сидит умывается, по-мышьиному поводит лапами перед мордочкой.

Стая клестов сваливается в вершины елей. Падают шишки, скрипуче поют желтые и красные самцы, лазают по ветвям. Одинокое пиликает чиж, отбившийся от стаи. Мягко мяукают, чечекают чечетки. Раз идет пролет этой серушки — значит, над Полярным Уралом уж сыплет снег и зима ползет с холодных гольцов.

Мне нравится пряный и сырой запах лога. Здесь пахнет елью, мохом, водой, немного туманом и завялыми листьями. Впрочем, в лесу всякое место пахнет по-свое-

му, и никогда не спутаешь сухой и томный запах сосновой опушки с запахом холодной осиновой чащи.

Вспомнив про осинник, подымаюсь с места. Надо заглянуть и туда, пока не поздно, до него от ельника близко, рукой подать. Осиновый лес, да еще молодой, считается из последних. Осина — чертова лесина — небрежно высказался народ о трепетнолистом дереве. Но право же зря. Нет в осеннем лесу, после березы, дерева более великолепного. Хороши его дрожащие листья-ладошки, скромная сероватая зелень стволов. Что-то тоненькое, детское, робкое есть в ней. Осина, как девочка-подросток, выросшая в несласковой семье.

Зато какое удивительное зрелище являет осинник в октябре, когда после долгих дождей и ветров сбросит свой багряный наряд. Несказанно прекрасны обнаженные осинники с худыми плечиками ветвей на золотом, оранжевом и голубоватом пологе опавшей листвы. Тихий теплый свет стоит тогда в осиновых чашах даже в самый сырой, непогожий день. Как пахнет здесь тополево — тонко и горьковато!

Изящные белые синицы-долгохвостики любят бродить по таким чашам. Пухленькие и легкие, они порхают по веткам и, непрерывно тоненько «тюряка», перекликаясь залихватскими голосами, цепочкой двигаются одна за другой...

* * *

Глубокая осень. Снегу еще нет, но земля уже промерзла, закоковела от морозов. Скупа багровая октябрьская заря. Дни разгораются нехотя. Синеватые, пасмурные, нерассветные дни. Все ждет снега. Выдается на денек солнечная голубая погодка, и оттого лишь холоднее, просторнее в лесах; безжизненно лежат поля.

Прощаться с осенью я приехал на полустанок Рябиново. Разъезд — на два двора. Кругом высокий нехоженный лес, березняки, ельники да несметное число рябины.

Мне очень нравилось провожать осень в этих больших лесах. Здесь она задерживалась подольше и всякий раз дарила меня чем-нибудь — котелком переспелой брусники, корзинкой листопадных груздей, чудом уцелевших от инея, или просто светлой лесной печалью, без которой не полна картина уходящей осени.

Когда я спрыгнул с подножки вагона под откос, немолодая стрелочница со скатанным желтым флажком

покосилась на меня и что-то пробормотала, вроде «черт носит...».

В стрелочной будке горел огонь. Отчаянно срал младенец. И, видимо, я со своим ружьишком в чехле, одетый в рваную телогрейку, явился для женщины тем козлом, на которого и обратилось раздражение, скопленное за бессонную ночь. А может быть, здесь проявилось обычное пренебрежение сельского жителя к городским охотничкам, именуемым по уральским деревням метким словом — «пужало».

Поздняя осень — тихое время в лесу, редко увидишь каких-нибудь птичек, еще реже зверьков. Все засыпает, прячется, откочевывает, забирается в норы, в укромные уголки. Только на ягодниках заметнее осенняя жизнь. По склонам увалов рябинник на каждом метре. На иных кустах ягода крупная, сладкая, с легкой рябиновой горчинкой, а тут же рядом растет такая кисло-горькая лешевка, что отведаешь, и лицо кривится страшной гримасой.

Ягод я всегда наедаюсь до изжоги. Не то чтобы жадность одолевает или голод, а просто идешь мимо куста — как не отщипнуть сочную подмороженную кисточку? И обираешь ее, терпкую, холодную, вкусную, пока не засвербит во рту.

Благодаря рябиннику отлетная птица скапливается здесь, собирается с окрестных лесов.

Сытые дрозды с квохтаньем и храпом загодя снимаются впереди. Черноголовые снегири алеют яркими грудками. Чисто-серые самки с ананасным зобиком держатся отдельно. Снегирь лущит ягоду, как торговка семечки, сорвет и лузгает в клюве, выбирает семена, отбрасывая пустую кожуру. Славные спокойные птички. Они так украшают бедную тонами палитру октябрьского леса. А их печально-звучные голоса как нельзя лучше подходят к этой поре.

Рябиново — место гористое, и потому почти не идешь ровняком: то лезешь на крутой увал, то опускаешься в лог. В логах теплее, не так прохватывает ветром, как наверху, и, глядь, еще цветет кое-где в затишье упрямый тысячелистник, желтеет осенний одуванчик-кульбаба. Так и уйдут они под снег с непокрытой головкой.

Дорого все, что редко. Летом мало кто позарится на тысячелистник. Зато сейчас так хочется собрать букетик последних цветов, что я долго брожу и ползаю по скло-

ну на четвереньках. Не сегодня-завтра все заметет вьюга, а на моем столе еще долго будут стоять эти белые и розоватые мужественные цветы, напоминая об ушедшем лете.

Перевалив еще один широкий березовый кряж, я сажусь отдохнуть за ветром. Развожу теплинку — обогреть коченеющие руки, и от маленького огонька жизнь чудесно хороша своей суровой правдой, пролетающими снежинками, блеклым листом на лесной подстилке, озябшими темными елочками меж светлых берез.

День перемежается: то наползут тучи, то проблеснет солнце. Белый свет падет на березняки, и они заголубеют нежно, холодно, стыдливо, как женщины, скинувшие платья перед тем, как войти в студеную воду.

Сидя у костра, вглядываюсь в потаенную лесную жизнь. Она бьется тихо, но еще заметно. Вон, на макушке березы, грудно усаживаются хохлатые северные птички — свиристели.

«Ти-ли-ли... ти-ли-ли-ли-ли...» — негромко, серебряно переговариваются они, прикидывают, какую рябину облюбовать в подлеске. Посовещались, и один за одним вся стая слетела в широкую рябиновую поросль. Видно, как крупные розовые хохлатки, сгибая ветви, жадно щиплют кисти, глотают ягоды. Свиристель с прилета прожорлив, и обдергать дочиста рябиновый куст такой стае на десять минут.

Вдруг вся станичка с маху бросается в сторону и улетает.

«Это почему?! — раздумываю я. — А вот...»

Меж стволами берез мелькает, приближаясь, светлая узкокрылая птица с длинным хвостом.

«Перепелятник?» — с сомнением хватаюсь за ружье.

Не долетев, птица наталкивается на невидимую стену, взмахивает крыльями и ныряет назад. «Ки-ки-ки... кьяк, кьяк...» — насмешливо звучит ее голос, постепенно удаляясь.

Ну какая досада! Ведь это не обычный разбойный ястребишка, а редкая ястребиная сова — дневная хищница с грудью, расписанной как березовая кора.

Я откладываю ружье подальше от костра, и вскоре, словно чтобы еще более подразнить меня, на спуске к ельнику неторопливо ковыляет заяц. Весь он какой-то белесый, белолапый, сквозь рыжую шерсть идет новый зимний волос.

Я затоптал костерок и с ружьем на изготовку заторопился вниз. Узкая тропка попалась мне, а по этой тропе навстречу бежала целая листовенная кочка. Еж, укатавшись в листьях, спешил куда-то. Заметив человека, он вздрогнул, свернулся и замер. Я попробовал задеть его носком сапога — еж поддал иглами в подошву и засопел. Сердитый.

Брать домой его не хотелось. Не однажды я приносил из лесу колючих зверьков, и они не доставляли никому особенного удовольствия. Днем ежа нигде не было видно — он спал в темном углу, под кроватью или шкафом, а ночью бродил по комнате, как домовый, пыхтел, стучал коготками и оставлял на полу вонючие «визитные карточки». Говорят, что ежи хорошо ловят мышей, однако с этим делом не в пример лучше справлялся кот Васюта, который смотрел на ежей с глубоким кошачьим презрением.

Еж на тропе был огромный, старый. Он походил на футбольный мяч, оклеенный листьями.

— Иди-ка ты прочь да не попадайся больше, — сказал я ему и толкнул под горку. Еж скатился далеко под мелкие елочки, развернулся и затрусил восвояси.

В логу была темь и тишина. Деревья готовились к зимнему сну и стояли сосредоточенные, углубленные в себя, в свои еловые думы. Все дремало здесь, поджидая снега: елки, сухары, пеньки и колодины, даже крепкий осенний груздь — скрипица, в широкой шляпке которого застоялась коричневая вода. Один красивый трехпалый дятел с золотым хохолком не хотел спать. Он возился на гнилом березовом обломыше, тихонько скалывая труху и деловито оглядывая ее; так плотник, потесывая бревно, останавливается взглянуть — добра ли работа.

Мне не захотелось оставаться в логу, и я вылез на гребень нового увала. Сильный ветер порывами хватал с севера, прочесывал кроны берез, невидимкой рыскал в траве, взвивая и разбрасывая листья. Солнце больше не показывалось. На севере было мглисто и хмуро.

По березняку валом валила пролетная чечетка. Тысячные стаи беловато-серых птичек осыпали макушки деревьев и, посидев недолго, слетали густо и дружно, оглашая воздух заливчатым чечеканьем.

Никогда не видел я такого массового пролета.

«Значит, скоро жди зимы. Птицы никогда не тревожатся попусту. Наверное, непроглядная вьюга уже ша-

манит по гольцам Приполярья, засыпает багульниковую тундру».

От раздумий о близкой зиме становилось тепло. Как ни хороша осень, а первого снега я всегда ждал, как дорогого гостя, и радовался ему, пока в новую весну с той же радостью не встречал первую проталину.

Громкий свист-улюлюканье долетел со склона, прервал размышления.

«Щуры прилетели», — сказали уши.

Птиц я увидел скоро. Дымчато-розовые, малиновые и желтоватые, они сидели в рябиннике, меланхолично обрывая ягодку за ягодкой. Я приблизился, однако доверчивые северяне даже не покосились в мою сторону — так были спокойны и заняты едой.

Тогда медленно, шаг за шагом я подошел к рябинам вплотную. До ближней птицы буквально было рукой подать. Наверное, я смог бы коснуться ее крыла.

Кто не видел щуров с прилета, не поверит мне. Только дальневосточный рябчик-дикуша да городской голубь-сизарь так же доверчивы, как щуры. Птицы определенно принимали меня за лося или медведя, от которых им никогда не бывало никакой беды. Зато мой охотничий азарт вдруг разгорелся, как дегтярная береста. Вот бы поймать того малинового, который так спокойно лущит ягодку крепким клювом.

Ни сети, ни западни у меня не было, я знал, что щуров ловят даже петлей из конского волоса, укрепленной на длинном удилище.

Так же тихо, чтоб не потревожить стаю, я отступил, срезал гибкий рябиновый прут и задумался, где взять силок. Без силка нечего делать. Может быть, из своих волос? Так поступали первобытные люди, да, видать, волосы у них были получше; мои же, плохие и тонкие, никуда не годятся. И все-таки я решил вопрос с гениальной простотой. Распорол подкладку пиджака и вытащил из бортовки целый пучок прекрасного прямого волоса нужной длины. Через минуту немудрая снасть готова. Снова осторожно, стараясь не глядеть в упор (взгляд очень пугает животных и птиц), я подошел к щурам. Теперь малиновый самец сидит выше всех. До него едва дотянешься, а надо поймать именно его. Тихо-тихо поднимаю удилище. Подвожу к щуру. Рука трясется. Очень трудно надеть силок на голову птицы. В конце концов задеваю по клюву, щур мотает головой и боч-

ком поднимается по ветке еще выше. Вот незадача! Теперь не достать.

Решаюсь согнать птиц и делаю это, чуть ли не тыкая их прутом, вот так сгонял своих ленивых голубей сосед Пашка Подкорытов.

Щуры с легким хюхюканьем лепятся на соседнюю рябину, и я снова обхаживаю их с терпением лисицы.

На этот раз малиновый самец сидит низко. Петля на шее! Через секунду птица трепещется на земле. Щур страшно напуган. В руке у меня он вертит головой и повторяет, словно котенок: «мяя... маа... маа...» Великолепная чистая малиновая птичка с коричневыми добрыми глазами.

Не имея с собой ни мешка, ни клетки, я посадил щура в дырявую шерстяную варежку таким образом, что голова его была наружу, а туловище и хвост внутри варежки.

А пока я возился с птицей, погода совсем испортилась. Крупный снег повалил вдруг, закружился пуховой метелью.

«Вот она зима, легка на помине», — подумал я и заторопился назад.

Перед самым разъездом я вспомнил, что надо бы набрать щуру ягод. Вскоре попалась раскидистая рябина у ключика, вся увешанная тяжелыми потемнелыми кистями.

Сбросил сумку, положил щура в варежку на землю и стал собирать ягоды кисть за кистью в шапку.

Временами я посматривал на щура. Он сидел в рукавице спокойно, не то примирился с положением пленника, не то задумался о чем-то. Одной шапки рябины показалось мало. Зима долгая, надо побольше запасти. И высыпав ягоды в сумку, я стал собирать еще и еще, не забывая при этом угощаться сам. Громкий свист щура прервал мои занятия. Я глянул вверх.

Малиновая птичка сидела на суку березы. Она радостно отряхивалась, чистила крылья и хвост и вообще вела себя как человек, выскочивший из переполненного трамвая и довольный тем, что все пуговицы целы и ребра на месте.

«Неужели?!» — подумал я, и взгляд мой упал на пустую варежку, уже припорошенную снегом.

Теперь щур не стал дожидаться, пока я подойду к дереву.

— Растяпа! Разиня!— ругал я себя.— Не надо было жадничать! Куда теперь целый воз рябины?!

В конце концов, всегда найдешь, чем утешиться. И вот размышляя о том, что щуру все-таки лучше будет на воле, чем в садке со всеми удобствами, и что клеткой у меня, к счастью, будет меньше, и что рябину отлично съедят мои другие птицы,— я надел сумку и шапку и спокойно тронулся к разъезду.

Снег между тем сыпал гуще и гуще, путался в ресницах, холодил лицо, оседал на траве и елках. Ветер утих. Умолкли птичьи голоса. И только непрерывный шорох снежинок едва-едва тревожил ухо.

На разъезде та же неприветливая стрелочница чуть-чуть помягче оглядела мою полную сумку и с сомнением спросила:

— Чо, полно рябков набил?

— Много,— соврал я.

— Видать!— понимающе усмехнулась она и вынула из-за пояса свой желтый флажок.

Из-за поворота вынырнула электричка.

Сидя у окна вагона, я вглядывался в мутные перелески под низким небом. Смотрел, как мелькает убыстренный движением снег. Зима хозяйничала там.

Земля белела, как заячья шуба.



Маленькие
повести

Валя Медведева

I

Наверное, счастье бывает, пока еще не знаешь этого слова. Тогда Костик не знал его, никогда о нем не думал — что оно для десятилетнего? — зато отлично представлял, какой у счастья солнечный вкус и какова его теплая спокойная радость, когда вспыхивает она в тебе и стоит долго, будто сухая летняя погода.

— Скоро на дачу! — сказал за ужином отец, кладя ложку.

С того вечера началось счастье... С той самой минуты, как Костик вылез из-за стола, запрыгал на одной ноге, засмеялся, обнял мать, сунулся в колючий подбородок отцу и после нескольких: «Когда? Когда? Когда?» — беспрекословно пошел спать. Спал или не спал — просто лежал в темноте, думал и улыбался...

С того вечера началось счастье... Им пахло каждое новое утро и даже пасмурный свежий полдень, грустило им грозовое облако, влажно-серое и счастливо-лиловое, им смеялся из-за облака разворот солнечных лучей, величаво и ласково трогавших мокрые довольные крыши. Счастьем благоухали тополевые ветки, сломанные грозой, лавка у ворот, темно намоченная дождем, вся в обитых почках и сережках, и даже мокрое куриное перо — Костик подобрал его за воротами, воткнул в жесткие, подростные за июнь волосы.

Теперь он все время представлял, как выйдут они с чемоданами за ворота, пойдут серединой улицы, прямо по одуванчиковым колеям и все старухи и женщины, которые вечно сидят по лавочкам, будут смотреть, а ребятишки кричат: «Костик, куда? Куда поехал?!»

Потом будет нетерпеливое ожидание трамвая с бабушкиными вздохами, причитаниями, отцовским поглядыванием на часы, материной руки на Костиковом плече, на стриженной его голове и с почти физической болью нетерпения, боязни опоздать на тот прекрасный поезд, который везет в счастье...

Будет вокзал с его постоянной теснотой и суетой, пеленочным запахом, орущими младенцами, цыганками,

семечками, мешками, чемоданами, спящими на них пыльными людьми, тележками, полными брякающих бутылок, небритыми загорелыми носильщиками, которые похожи на дворников в своих фартуках с бляхами. Этих носильщиков, подозрительно косясь, будет старательно обходить бабушка, потому что все они грабители, им бы только за чемодан взяться, а там дай-подай рупь-целковый, а лишние рубли у нас не водятся. Эти слова хорошо помнил Костик и тоже испуганно обходил носильщиков, а мать и отец словно бы покрепче держали чемоданы.

Дальше будет туннель, где дует сырым ветром и звонко отдаются шаги и голоса, и, наконец, перрон — полоса асфальта между голубых рельс, — куда медленно, весь содрогаясь от тяжести, кляцая, сипя паром, капая водой, подкатит и пройдет мимо черный огромно-опасный паровоз с красными и тоже огромными колесами. «Су» — будет у него на будочке, из окна которой всегда выглядывает равнодушное мазутное лицо машиниста в такой же мазутной железнодорожной фуражке.

И уж совсем ясно представлял Костик, как неловко, наступая коленкой на высокую, закапанную темным, неудобную и тем не менее прекрасную лесенку, полезет он в вагон, а сзади будет спешить и волноваться бабушка, потому что на вокзале и возле вагона она всегда начинает невероятно суесться, охает, всех торопить, терять и находить билет, кричать Костику: «Где ты? Где? Да иди же, иди... Стой! Где ты? Не теряйся, за меня держись... Где ты?»

А он уже будет на крашеной лавке у окна, вперед всех, будет дергать, тянуть за боковые ремни неподатливое окно, и, может быть, — о счастье, счастье! — рама поддастся, плавно уйдет вниз, а в лицо ударит сырое тепло перрона, его железнодорожный запах, и под окном будут стоять улыбающиеся мама и папа. Они будут говорить, чтоб он закрыл окно, когда поезд пойдет, чтобы не простудился, не пил сырой воды, не купался много, слушал бабушку, не играл с собаками — могут укусить, у них грязь, глисты, — чтобы не подходил к лошадям и опять, чтобы не простудился, не...

Он знал, что будет кивать отцу и матери, даже верить, что все это сделает: и к собакам не подойдет, к лошадям тоже, но окно не закроет, будет ждать, когда наконец раздастся тот лихой переливчатый свисток

главного кондуктора, усатого и краснолицего железнодорожника,— уже два раза он проходил мимо, важный, как генерал, с цепочкой на груди и сумкой через плечо — и паровоз ответит ему басовым послушным эхом.

Какое это мгновение, когда пол вагона начинает покачиваться, плыть, люди, перрон и вокзал тоже поплывут, мама достанет платок, будет улыбаться, вытирать глаза и нос, а отец там возьмет ее под руку. И вот уже нет их, а только рябящее мелькание вагонов, стук стрелок, рельсы, чадающие паровозы, какие-то кирпичные унылые здания, свалки, заборы, провода, пока поезд не вырвется на простор, и вдали медленно, плавно будет облачный покой горизонта, а вблизи в такт жаркому паровозному дыханию станут мелькать столбы и березы, помчится у самых колес серое рядом земли. Одинокие будки у переездов. Ждут машины и телеги, смотрят козы, верещит, удаляясь, долгий звонок. Мальчишки, которые всегда машут или бегут вприскок, поддериная штаны, озорно мелькая грязными пятками. Тихие речки в глине оврагов. Свет заката, отраженный в них. Сырая зелень лугов. Лес в непрестанной перебежке берез и осин, пестроте цветов — синих, белых и желтых, в молчании сосен, черноте елей и глубокой тишине дубов. Ветви орешника. Запах маленьких станций, где паровоз отпыхивается и томится в ожидании встречного, и ты тоже томишься, высовываешься чуть не наполовину, не слушаешь бабушку, глядишь на кирпичную одиноко-загадочную башню водокачки, завидуешь этой башне, ее долгой жизни при железной дороге, на станции — столько она видела поездов, эшелонов, всяких встреч, всяких провожаний,— смотришь на тонконогих девчонок с голубыми добела глазами, на каких-то стариков и женщин, оживленно, громко переговариваясь, влезают они в вагон, проходят мимо, и от них пахнет лесом, коровами, деревней — тем, что ждет впереди, от чего радостно мерзнет спина, скулы и руки...

Разве перечислишь, что думалось и грезилось, тотчас возникало, едва отец или мать говорили: «Скоро уж... Скоро...»

И в этот раз отъезду предшествовала целая неделя ожиданий, сомнений, сборов.

Подбирали коробки для жуков. Мать шила новый марлевый сачок, и он опробовался на обыкновенных

капустницах, перемахивавших забор откуда-то с разбеленного зносом неба. Бабушка закупала крупу и лапшу, сетовала, что много не возьмешь — там еще есть ли, нет ли, а с запасом-то как хорошо... Даже отец, обычно неразговорчивый и неторопливый, возвратясь с работы, подчинялся семейному оживлению, тоже что-то искал, обсуждал, вспоминал свои детские годы, рассказывал матери допоздна — так что Костик, которому всегда приказывали ложиться в десять, долго видел свет в родительской комнате из-под двери и приглушенный разговор, прерываемый смехом.

И отец, и мать называли дачей всего-навсего окраину полевого захолустного городка, где четвертое лето подряд снимали у разных людей комнатухи, руководствуясь одним правилом, чтоб в доме было чисто, не было клопов, да поближе к лесу. Выбирать «дачу» всегда ездили оба родителя, и, наверное, это давалось им нелегко, потому что возвращались они нескоро, усталые, раздраженные, жалующиеся бабушке на дороговизну, хотя последнее соображение для Кости не имело никакого значения. Важно было одно: ехать, ехать, ехать — и в этом было все.

Какой счастливый, новый, остуженный и легкий запах в степи и как радуешься ему, когда тебе десять и ты только что сошел с поезда — поезд вон он, еще не успел уйти, — а телега, запряженная гнедой потной лошадкой, уже катится тряским проселком прямо к заре, к чернеющим на ней избам. Сумерки с прохладным ветром, с теплом и сыростью встают от земли и травы, и непрерывно-уютно, в лад с телегой и степью, в тон мигающим звездочкам и бренчанию телеги свиристит что-то заливчато и сонно: не то кузнечики, не то сама степная тишина. Чем темнее становится, тем сильнее наносит мокрыми от росы пряслами, глушью лопухов, крапивы в фосфорном блеске светлячков, а заря все загадочнее погорает и никнет, синея, уступая ночи. И вот уж одна только светящаяся синева и лиловый край узкой тучи над нею.

Никогда так не пахло в городе, не дышалось так легко и вольготно. Никогда не было так весело и свободно, как здесь, на телеге, вместе с лошадиным пофыркиванием, стуком копыт о клеклую землю проселка и

дрожанием грядущки, в которую вцепились худые и неотмывающиеся Костины руки.

Сейчас Костя не думал ни о чем, только дышал, слушал и смотрел. Все его тело прониклось этой свежей тишиной, дыханием лошади, ее тряской рысцей, дрожанием телеги, и даже хотелось открыть рот и тянуть, как маленькому, счастливое, дрожащее: «А-а-а-а-а» — так было хорошо. Он бы и затанул, да стеснялся сгорбленного молчаливого возчика, который только потрагивал вожжами да изредка чмокал, похоже было, что спит.

Когда телега остановилась у каких-то низеньких темных ворот с коньком и бабушка стала рассчитываться с возчиком, Костя нехотя слез с телеги, опасливо подошел к лошади и боязливо провел ладонью по гладкой, теплой морде. Лошадь была приятна и непонятна ему, хотя он ясно чувствовал ее доброту, покорность и какую-то большую силу, которую лошадь знает, а никогда не выскажет, словно бы вот понимает Костино молчание и тоже по-доброму, по-умному молчит.

Потом он долго ворочался на незнакомой твердой постели, никак не мог заснуть, привыкнуть. Все здесь было незнакомое: воздух, стена, кровать, сундуки, даже кошка, некрасиво тощая, совсем не похожая на их пышного светло-серого кота с умными болотно-зелеными глазами. Эти глаза у кота в момент становились черными, когда он дурачился и играл, а шерсть замечательно пахла, если возьмешь его на руки и ткнешься в нее носом. А тут даже бабушка отдалилась — спала на сундуке у печки, и Костик подумал вдруг, почему она храпит, будто какая-то чужая старуха.

И снаружи все было не так. Не слышалось привычного звука ночных трамваев, не подвывали, проезжая, грузовики, лишь неумолчно свиристели кузнечики, и вдалеке то возникал, то удалялся ровный деревянный стук: «Таки-таки-таки... Таки... таки... таки... Таки... Таки... Таки...— Таки». «Кто это?» — думал Костик, прислушиваясь. И не мог понять. Сейчас ему было совсем не радостно — может быть, уж слишком перерадовался за эти дни, пока ехал, или просто затосковал по дому, где остались мать и отец... Как далеко они... И наверное, спят... Или, может быть, пьют поздний чай и воспомина-

ют его, как он их. Можно ли вспоминать одновременно, вот сейчас в эту минуту? А что если можно?! В темной комнате с такими родными окнами и низеньким потолком пусто стоит его кровать, которую он перерос — кровать с деревянными точеными перильцами, кое-где уже выломанными. Он вспомнил, как выламывал, выкручивал точеные глянцевые палочки, как перелезал, безмерно усталый за свой долгий-предолгий день, норовил уснуть так, с пыльными ногами, если не заметит мать и не потащит его, хныкающего и упирающегося, на кухню мыться. В своей кроватке он засыпал в ту же минуту, как голова касалась подушки, а иногда, наверное, даже раньше, даже стоя на четвереньках. А здесь... Костик заворочался с досады, хотел сесть, но тут же вспомнил, что ведь он на даче и уже завтра начнется то, о чем он мечтал все эти тягучие дни перед отъездом. Отъезд, отъезд — он грезился даже в ветровом шуме тополя, в бледнеющем к вечеру небе на закате, в луне, непонятно как являющейся среди дня и загадочно белеющей, усмехающейся над Костей. Вспоминался поезд, станции, поля... А завтра! Завтра будет летняя улица... Может быть, речка с мостками, возле которых чистый ласковый песок, неопасная глубина, холод воды, обнимающий босые ноги, рыбки, которых сперва не видишь, а приглядишься — сколько их! — они ходят у дна зелеными рядами, пугливо снуют, взблескивая белыми искрами, и весело загонять их на мелкое место, где они начинают бойко выпрыгивать, все-таки ускользают вглубь, а ему остается радость. Может быть, достанется и рыбка, похожая на кильку, только живая, желтоглазая, она будет плавать в стеклянной банке и тыкаться носом, пока он не захочет ее вылить в реку. Вдруг завтра вечером найдет он такого же огромного, колючего и ребристого жука с лакированным рогом, как нашел в прошлом году, на другой даче, в огороде, в брошенной дырявой сельнице, которой растаскивают навоз. Может быть, он залезет на березу и там будет гнездо кобчика с двумя коричневыми крапчатыми яйцами или поймает зеленую ящерку, ту самую, что убежала, когда ловил ее меж березовых пеньков, даже схватил за хвост, но хвост остался, живой и извивающийся, а ящерка скрылась, наверное, теперь у нее вырос другой... Или она живет так, бесхвостая?.. На каменной стенке у мельницы, что стоит в затоне, перед плотиной, он будет опять рыбачить.

на темных рубиновых червячков, и вдруг клюнет большой окунь, как тогда, у высокого парня — невероятный полосатый окунь в две ладошки длиной...

Только бы не было дождя... Ненастья. Дождь — это плохо. Скучно... Но его, конечно, не будет, и с утра они с бабушкой пойдут в лес, и там опять будут белки, земляника, маслята в тонких пленочках, с налипшими на шляпки хвоинками, птички, каких он никогда не видел и не держал в клетке, и, конечно, бабочки, бабочки, бабочки... Белые, коричневые... Голубые... Кругом...

Он проснулся с таким сильным ощущением радости, что засмеялся спросонок. Еще не протерев глаза, ощутил, как веет летом и полями в раскрытую дверь и как привольно-светло, тепло и радостно там. Он спустил ноги с кровати, потянулся, запрыгал, начал торопливо одеваться — скорей-скорей туда, на воздух, в свет, под солнышко. Он выбежал на крыльцо, постоял жмурясь, наслаждаясь звонким воздухом утра. Но тень от сарая мешала ему, он побежал за ворота, на улицу, растворил калитку и только здесь понял, почувствовал, как хорошо утреннее раздолье широкой улицы-поляны, ее смеющийся туманный воздух вдали, жгуче-белый и голубой луч из-за крыши сарая и холод росы в траве, в которую непривычно приятно окунулись босые ступни. Роса еще не высохла возле ворот, светилась радостными слезами-жемчугами.

Большая девочка — волосы закрывали ей лоб до бровей — стояла у ворот, властно смотрела светлыми желто-коричневыми глазами. Он застеснялся, потупился, не знал, что сказать, а она все смотрела молча, точно курица-наседка на приبلудившегося цыпленка. Девочка была плотная, широкая, в коротком тесном платье, и ноги у нее были тоже очень крепки, загорелы и толсты. На одной ноге была тонкая коричневая царапина, на другой — полоса белых ссадин, какие получают, если лазать по заборам. Все это заметил Костик, наверное, потому, что стеснялся взглянуть на нее прямо, а смотрел только на ноги. И по тому, как твердо, уверенно стояли эти ноги в траве, он понял, что девочка чем-то сильнее его, даже очень сильнее.

— Меня Тамара зовут, — сказала она, когда Костик все-таки поднял голову. — Купаться пойдешь?

Она сказала это «купаться», как-то особенно налегая на «ть», и в то же время просто, обыкновенно.

«Купаться!» — даже зажмурился, не ответил Костик. И в голове опять счастливо закружилось, замелькало все, что ждало впереди. Облачный полдней зной, жар песка, сыпучее вспыхивающее на быстрине серебро реки, зеленый холод воды, когда заходишь в нее, обжигаясь и стуча зубами, а потом упругое ласковое блаженство и горечь в носу, если хлебнешь, и вечное бабушкино: «Вылезай, вылезай, я кому сказала... Да что это такое! Вылезай сейчас же, кому говорю?..» Благое тепло мостков, ощущение нагретых замытых досок, где укладываешься, стуча зубами, дыдыкая, дрожа посинелой пупырчатой кожей, радостно приныкая к ним, лежишь закрыв глаза, как бы в забытье, во власти солнца, воздуха и реки, отданный им и словно бы рожденный ими.

Так началось все...

Тамара, как сразу понял Костик, была не просто младшей дочерью хозяев. Она была еще кем-то вроде атамана-коновода всех окрестных девочек. Девочек ли только? Ее взгляду и голосу подчинялись без исключения, хотя трудно было понять сразу, что тому причиной. Может быть, сила этой рослой четырнадцатилетней девочки — Тамара как-то шутя подняла Костика за локти над головой, и он не посмел даже брыкнуть, хотя в душе остался недоволен, смущен, растерян (подняла, как маленького, а он был уверен, что уже большой, ведь ему шел одиннадцатый), — или была причиной какая-то материнская справедливость, взрослая уверенность во всех ее жестах и поступках, или... Трудно сказать. Тамара не терпела ни ссор, ни драк. Она разгоняла взъерошенных петухов, гуси на нее не шипели, собаки, даже незнакомые, виляли хвостами, кошки подбегали ластиться, тереться о ее загорелые ноги. Даже Костина бабушка, существо исключительно недоверчивое, боязливо подозрительное и хлопотливое, доверяла Тамаре — иначе разве бы она отпустила Костика в лес, тем более на реку.

Тамара... Спустя годы, когда Костик стал высоким бородатым человеком, он по-прежнему часто вспоминал ее и, усмехаясь, думал, что, наверное, Тамары всегда были столпами негласного женского матриархата, ими спокойно и уверенно держится мир, и шагает в будущее постоянный в своей невзрелости капризный род мужской. И еще он думал, что Киплинг написал свою жен-

щину из сказки о кошке, гуляющей сама по себе, ту женщину, что приручила и собаку, и коня, и корову,— конечно, с какой-то знакомой ему Тамары, иначе и быть не могло, ведь Тамара была всегда, даже когда ходила в юбке из мамонтовой кожи.

Глядя на нее, на то, как ловко она проносит ведра в калитку, как снимает их и одним движением головы снизу вверх поправляет волосы, как стирает белье в цинковом корыте, а потом полощет, синит, выжимает, развешивает на солнце и ветру все с той же упругой, уверенной силой, Костик ловил себя на том, что ему нравится, очень-очень нравится следить за ее работой, хочется помочь и подчиниться, хочется, чтобы она позвала, попросила что-нибудь сделать. Но почему? Почему? Ведь когда бабушка стирала белье — он убирался подалеже восвояси, он терпеть не мог, когда стирают. А теперь, незаметно для себя, он подходил, как загипнотизированный, ближе и ближе, и только когда начинал понимать это, вдруг краснел и нехотя плелся назад.

Тамара не звала, не обращала внимания, губы ее были то озабоченно приоткрыты, если она разглядывала белье на солнце: белое ли? — то мрачно сжаты, если она опять принималась тереть его на волнистой рубчатой доске, по которой и Костику хотелось поводить козонками. А когда она, закончив работу, небрежно вытирала руки мокрым передничком, облепившим ее, вид у Тамары был неусталый, но такой взрослый, что от одного ее случайного взгляда Костя вспыхивал и отворачивался или убегал на улицу.

...Еще несколько дней назад он был равнодушен ко всем девочкам, к ровесницам и к старшим, пожалуй, он даже спокойно презирал их за рев, за какие-то свои игры-тряпочки, за то, что девочки не любили играть в войну, а если их брали во враждующие отряды, так только для счету, чтобы было больше. Вечно они не понимали, как надо стрелять из ружей и пистолетов, как падать, когда тебя убили,— посмотрели бы, как умел это Костя,— вечно их в разгар игры посылали то за хлебом, то за молоком — и они шли,— вообще не было в них ничего толкового: дуры и дуры, прыгают на своих скакалках, играют в классы, качают кукол да еще дразнятся, высовывают языки: «бе-бе-бе»... Почему же Тамара не такая?.. Он давно понял, что не презирает ее, когда

она идет за хлебом в магазин на станцию или за молоком к соседям Петуховым, у которых черная страшная корова. Он чувствовал, что сам бы с радостью побежал за Тамарой, только бы позвала.

«Может быть, я стал не такой?» — испуганно думал Костя, стоя у ворот, и смотрел, как Тамара, кончив стирать, мыльной водой моет крыльцо. Ловко двигают тряпку ее сильные руки, переступают толстые загорелые ноги, вдруг она оборачивается, взглядывает на Костю, одергивает короткое ситцевое платье, такое короткое, что видны края ее розовых штанов, а Костя хмурится, смотрит на скворечник. Туда только что прилетел скворец и сует оголтело орущим, высовывающимся птенцам что-то черное, земляное.

— Принеси чистой воды из бочки, — говорит, наверное, понимая его, Тамара. — А эту вылей в борозду. Ковшиком начерпай, не ведром, смотри!

И Костя, краснея, радуясь, бежит исполнять, возвращается, расплескивая воду по двору. Тамара укоризненно смотрит... И почему ему не хочется идти искать жуков? Почему на улице без Тамары скучно? Где безоблачные прошлые дни, та простая радость бегать по улице, лезть на сарай, скакать, размахивая деревянной саблей, рубить крапиву и лебеду. Как-то сложнее пошла жизнь, и неиспытанная печаль вечерами томит душу. Может быть, хочется домой — стосковался по своим игрушкам, книгам, пулемету с трещоткой, оставленному в дровянике, по велосипеду и двум заводным танкам — или, может быть, видится опять, как Тамара развешивала белье или как Валя Петухова расплела вчера после купания свои светлые желтые волосы, и они покрыли ее до самой травы — она сидела, точно удивительная волосяная копна...

Тамара редко бывала одна. А если оставалась, то очень недолго. Не проходило и десяти минут — брякала щеколда, отворялась калитка, появлялась то одна, то другая девочка с одним и тем же вопросом:

— А Тома дома?

С девочками, сколько их было — сказать трудно, Костя перезнакомился быстро. Наверное, благодаря Тамаре они приняли его во все игры, и он с первого дня уже играл с ними в мяч, лазал на сеновал искать куриные

гнезда, ходил встречать коров, когда пригоняли из степи вечернее стадо, запускать в девчонок недозрелыми репьями, а когда ходили купаться, таскал и прятал их платья и туфли, получая в награду девчоночьи щипки и тумачки.

Девочек звали: двух — Танями, двух — Нинами, одну — Лидой, одну — Наташей, одну — Валей, почему-то с добавлением фамилии — Валя Петухова, а еще были Нюра, Рита, Рая, Вера — все лет по двенадцати-четырнадцати, все в линялых ситцевых платьях или в кофточках, загорелые, стриженные или с косичками, босиком или в каких-нибудь стоптанных туфлях. Девочки — все разные и в чем-то очень одинаковые. От них одинаково пахло жарким девчоночьим потом, когда они принимались дурить, валяли Костю или кого-нибудь из младших братишек по траве. Они одинаково хохотали, одинаково причесывали растрепанные волосы и поправляли платья — это были все-таки обыкновенные девочки, у них было только что-то небольшое от Тамары. У одной замечалось в голосе, у другой — в походке, у третьей — в манере смотреть. Костик вдруг научился улавливать и понимать это, и оно всякий раз озадачивало, останавливало его. Оно было так тонко, почти неуловимо и странно, как волшебство... Взмах косы... Приподнятое колено... Изгиб лодыжки... Движение губ... Взгляд... Подол платья, встрепанный шальным степным вихрем.

Дни устоялись одинаковые, сухие и пеклые. Степное лето входило в силу, и все багровее остывали зори по вечерам, холоднее становились ночи. С утра небо цвело, манило, в степи многозвонно пели жаворонки, в проулках щедро сияла росой счастливая гусиная трава. А в полдни плотно стоял зной и степь молчала. Тогда и в березовых колках за городком и в сосновом лесу не было тени, и все дымилось слегка, словно бы перед тем, как вспыхнуть, земля дремала с кошачьим скрытым терпением, забывалась медовой истомой. Одни насекомые ошалело жужжали, звенели, переносились, сверкая в воздухе, и везде трещали, плавали, сцеплялись и падали синие гремучие стрекозы. Это было какое-то стрекозиное лето, и странно дополняли его глухие, чуть слышные раскаты: невидно гуляли короткие сухие грозы.

Теперь вся девичья ватажка не отходила от реки. И в тот день тоже все загорали на истоптанном травяном пригорке, над пологим откосом к воде. Девчонки,

как обычно, собрались кружком возле Тамары, а Костя лежал поодаль, опираясь на локти, выставив худые лопатки, жарил фиолетовую спину на отвесном солнышке. Спину теперь уже не брало ничего. Все разморились, молчали, точно ждали, когда подойдет плывучее облачко, родит ветер, остудит каленый безнадежный зной. Оно не торопилось, это легкое спокойное облачко, точно знало себе цену.

Вдруг девочки повернули головы, стали смотреть, как с дороги к реке спускается по откосу еще одна девочка в красном цветочном халатике. Почти в голос они сказали: «Валя Медведева! Валя Медведева идет». Даже невозмутимая Тамара повторила: «Валя Медведева», чуть улыбнувшись при этом.

Сначала Костик не обратил внимания на подошедшую. Он был занят хлопотливой пчелой, которая суетно лазала по блеклым голубеньким цветочкам среди прямой травы, пока не нашла один, должно быть, самый лучший, и надолго замерла, словно бы заснула и зачаровалась. Из венчика торчало лишь яркое ворсистое брюшко, испачканное пылью, и ноги в пушистых желтых штанишках.

— Валя!

— Валя-то!

— Валя Медведева!!

Он поднял голову. Девочка в красном халатике молча снимала с ноги туфлю.

Костик перевел взгляд на ее лицо...

Он забыл про пчелу, про солнце, калившее затылок и плечи, про речку с никелевым блеском, может быть, он забыл и свое имя — потому что темное, слегка завешенное от него каштановыми прядями лицо девочки было нежно, несказанно-невиданно красиво, красиво удивительно изогнутыми губами, голубизной зубов, мелкими родинками и черными ресницами, из которых настороженно и ласково мерцали спрашивающие, таящие что-то глаза. Он не знал, сколько это было. Может быть, очень долго. Пока она не разрешила двинуться, немножко отвернулась, встала боком и, приподняв свое платье-халатик, быстро вздела его над головой.

Она стояла, подняв голову, и жмурилась, загорелая, в черном ловком купальнике, жмурилась и встряхивала головой, как бы отрицая нечто желанное, о чем тайно спросило ее солнце.

Она села к девочкам и больше не смотрела на Костю. Теперь он видел ее узкую матовую спину в овальном проеме купальника, спину с легкой расходящейся ложбинкой, щеку, ресницы и уголок ее капризно-мучительно изогнутых губ.

Лицо Вали, как понял он потом, было из немногих редких лиц, которые не оставляют равнодушным никого. Оно не походило ни на кого и в то же время напоминало многих. Это была живая, жаркая, смуглая, скромная, капризно-упрямая и своенравная красота, яркая, как степной мак, и нежная, как северное утро, очень нежная, точно смущенная сама собой. Такая бьет без промаха, ошеломляет, мучает, как болезнь, и долго-долго ходишь потом отравленный, а помнишь — всегда. Наверное, сама природа, рождающая массовый ширпотреб, нарочно творит ее в минуты прихоти, единственно затем, чтобы показать живущим: «Смотрите, любуйтесь, мучайтесь, стремитесь к ней — такой может быть Она. Такой должна быть...»

Так размышлял он потом. Тогда же он просто смотрел, и было одно: боялся, что она обернется, и было стыдно — дрожали упертые в траву руки — опять хотелось до неведомой жажды, чтобы она снова стояла склонившись и не отпускала, не разрешала отвернуться.

Он положил голову на руки. Нос уперся в щекочущие жесткие травинки. Он ощутил запах поляны, сухой земли, травяных корней. Запах не обрадовал, как раньше, не позвал сладко потянуться и блаженно замереть под солнцем, он заставил лишь скорее поднять голову.

Наверное, и девочки понимали всесилие Валиной красоты, хотя женщины меряют ее какими-то своими женскими мерами. И они смотрели на Валу не так, как друг на друга, не так как на Тамару. И сама Тамара улыбалась Вале, говорила ей что-то очень оживленно.

Валя поднялась. Пошла к реке. Костя смотрел, как плавно она идет к солнечной воде, поправляет сбоку волосы, и все в ней гибко, чутко, естественно: от узеньких нежных плеч и шеи до изгиба талии, спокойных окружностей под черным трико купальника и неожиданно крепкого, мощного начала ног, обтянутого двумя круглыми желтыми поясками.

— Счастливая... — сказала одна девочка.

— Красивая... — вздохнула другая.

Конечно, они не знали, что красота не бывает счастливой.

Она вошла в воду и стояла так. Блестело вокруг нее солнце, носились ласточки, текла река. В том, как она стояла, было что-то высокое, весеннее, простое и общее, точно Валя принадлежала этому блеску, солнцу, летней воде и опрокинутому в нее небу, облакам и ласточкам. Хотелось, чтоб она дольше не двигалась. И опять Костик скорее почувствовал, чем увидел, что на Валу смотрят все и понимают, кажется, так же.

Она поплыла. Она не взмахивала руками, не колотила ногами по воде, как обычно колотят девчонки, не визжала и не хохотала — она плыла легко и быстро, так же, как шла к воде, прямо держа поблескивающую каштановую голову, а Костя подумал, что так, наверное, плавают какие-нибудь красивые звери — олени, антилопы...

Он не знал, что это тяжело. Это очень тяжело и мучительно. Вспомните... И хотя, странным образом, оно смыкается с прежним ощущением счастья, даже словно возвышается над ним — это все равно тяжело и трудно.

Это — когда дни заполнены только одним, и ничего не хочется, не идет, не получается, а есть одно-единственное желание: видеть Валу, искать, ждать, а если она приходит — на нее не смотреть, удерживать себя, уходить, убегать, глядеть в щели ворот или еще как-нибудь, только на нее, на нее, на нее.

Этого нельзя высказать никому — ни Тамаре, ни бабушке, а сказать хочется, о как хочется сказать кому-то такому же, как сам. И если бы он был, такой второй, Костя рассказал бы ему все-все, может быть, стало бы легче и, может быть, даже радостнее...

Хорошо, что временами это отходит, и он снова начинает возвращаться к прежнему. Тогда он опять может играть с кошкой, лазать на сеновал, качаться на скрипучей качели, бегать наперегонки с теми ребятами из соседнего двора, которые сначала украли, а потом отдали ему его бамбуковые удочки. Когда это отходит, можно искать жуков под камнями, в перегнивших навозных кучах, обросших лебедой и поганками, в маленьких глиняных ямах с желтой стоячей водой и на пересушенных солнцем изгородях. Тут бывают большие усатые, мрачно блестящие жуки, которые много знают об этой летней

солнечной жизни. Они недовольно скрипят, когда возьмешь их в руки, шевелят усами и потихоньку кусаются, пытаюсь вырваться, — один такой жук прогрыз ночью спичечную коробку, сбежал, и Костя даже не слишком огорчился — ведь жук искал себе свободу. Жуку тоже нужны солнце и ветер, и эти серые изгороди, за которыми бело и розово цветет картошка.

Когда отходит это, можно подстерегать зеленых и серых кузнечиков с полосатыми лапками, то жарко сидящих, то стрекочущих звонко-звонко где-то в густом пырее, в белых и сиреневых жестких цветах, в траве под пряслами. Нужно лечь возле такой травы, ждать, смотреть и не шевелиться. Тогда почувствуешь, как дышит земля, как растут цветы, бездумно покачиваясь под звон цветочных мух, жужжание пчел и басы шмелей; почувствуешь по-новому солнечную благодать, медово льющуюся, соединенную с теплой травой и сухой землей в едином безмятежном счастливом мире, и вдруг увидишь, как на травинку-соломинку, на солнечную сторону голубого источенного столба потихоньку выберется зеленый, готовый скакнуть кузнечик. Сначала он оглядится овально-выпуклыми, в радуге, глазами, повернется поудобнее, замрет и вдруг засипит быстро-быстро, дрожа лапками, и тотчас ему откликнется другой, третий, четвертый. Зачем он так строчит? Кому нужна его летняя песенка... А вот кому! На том же столбике уже сидит еще один такой же кузнечик, поменьше и поизящнее. Потоньше крылья, зеленее глаза, круглее светло-зеленое брюшко... А первый кузнечик весь дрожит от напряжения, строчит свое звонкое «цы-цы-цы». И все понятно, кому, для кого. Они сидят на столбике, поют и слушают, пока не найдет облако, и земля счастливо притихнет под его тенью, сильнее запахнет летом и травой, и ласково капнет раз и другой из темнеющей облачной глубины. Холодная капля стукнет по голове, пробьет рубашку, еще напомним о прежнем счастье, о том, как много его на земле... И нет кузнечиков на голубом, и тут же вспомнится все теперешнее, потому что счастье всегда встречается с ЭТИМ, и тогда прежнее вдруг померкнет, станет маленьким и дальним, а будет опять ЭТО...

Вечерами он уходил за ворота. Он не стал спать после обеда, никакие уговоры бабушки уже не действовали. Потому что спать днем — быть все еще маленьким, а он теперь не хотел этого, ненавидел

себя за это, он хотел быть взрослым, и, кроме того, так скорее можно было увидеть ЕЕ.

Валя жила недалеко, через десяток домов. Дом у них был новый, но какой-то очень строгий, глухой, выкрашенный темно-зеленой краской. Даже белые с голубым ставни не оживляли его, а только выделялись своей чистотой и строгостью. У дома были плотные, крепкие ворота в той же глухой недоступной зелени, и палисадник перед окнами тоже был прочен и ровен, по вершинкам планок обит крашеной колючей проволокой. Лавочки у ворот не было. И Костю удивлял этот дом, так не схожий с Валею, словно бы не ее и ничем не подобный ей.

Иногда у дома стояла неприветливая женщина с некрасивым, но отдаленно напоминающим Валю лицом, или вдруг выходил жирный мужчина с большим животом, в белой майке и в черных сползающих с живота брюках, в галошах на босую ногу. Он был глянцево плешив, у него был длинный загибающийся кверху нос, маленькие недоверчивые глазки и черные широченные брови, растущие как-то сверху вниз. Он удивительно походил на принюхивающегося медведя или, еще лучше, на барсука, если бы барсука заставить встать на задние лапы. Постояв, колюче взглянув на Костю, мужчина скрывался в зеленых воротах. А Костя брел мимо и опять думал: почему здесь живет Валя? Отчего она тут и что общего у нее с этими ее родителями,—разве только фамилия? — но фамилия нравилась ему, он любил ее повторять всегда вместе с именем. Валя Медведева... Валя Медведева... Валя Медведева... Так ее звали все.

Она редко выходила из ворот. Костя видел ее лишь, когда она шла в магазин или с ведрами к колодцу. Она и воду носила не так, как все, не шла под коромыслом, а медленно, плавно танцевала. Она была и гибкая, и, должно быть, очень сильная. Ведра у нее не плескали, коромысло лежало легко, а ноги, словно бы не чувствуя тяжести, приятно несли ее всю. Тамара тоже была сильная и тоже легко несла коромысло. Но у Тамары была другая сила — уверенная, женская и взрослая, а Валя была по-другому проста даже и тут: красота, любующаяся сама собой, своей упругостью, молодостью и плавностью.

Он, запинаясь, брел противоположной стороной, пока Валя не скрывалась в зеленой калитке. Валя Медведева... Валя Медведева... Валя Медведева... Валя... Имя было слито с ней, и не было прекраснее ее имени. Валя... Только Валя... Это совсем удивительно, не похоже ни на что. Он никогда не поверил бы, что не сможет вот так просто уйти от зеленого мрачного дома, как идут редкие прохожие. Неизвестная ему сила приковала его здесь, и он должен был ходить и ходить взад и вперед, иногда присаживаясь на большой камень-валун, торчавший на пригорке, наискосок от ее дома. Сидя на камне, Костя смотрел на белые занавесочки, на калитку и ворота. Ему хотелось лишь одного — чтобы Валя вышла, появилась, опять бы шла к колодцу и обратно или бы просто постояла у ворот.

Такая радость давалась нечасто, и, если была, он прилагал все усилия, чтоб Валя не заметила, не поняла его. Он то смотрел в другую сторону, то что-то искал в траве, краснея до озноба, то быстро вскакивал и шел в другую сторону. Но далеко он не мог уйти, Валино колдовство разрушала только бабушка, когда она выходила на темнеющую улицу и принималась протяжно звать:

— Ко-о-ости-ик! Где ты-ы-ы?!

Тогда он сумрачно шел домой.

Никто не догадывался о его беде. Для всех он был еще слишком мал, в том недостойном возрасте, когда тебе отказывают в признании старшие, считая младенцем, а малыши сторонятся, потому что ты уже не способен к их играм в песок и «в магазин», когда надо раскладывать на фаянсовые черепки и чашечки крошенную траву и одуванчики, продавать и покупать, а потом еще и есть, если не взаправду, то хотя бы так — пожевать и выплюнуть. Он отделился от всех, остался совсем один в нелегком, хотя и нужном ему одиночестве.

Быть с девчонками теперь тоже не хотелось, разве только с Тамарой, но Тамара была вечно занята, а бабушка целые дни вязала, варила обед, ходила с матерью Тамары на базар и все ахала, возвращаясь, как здесь дешево: мяса фунт — столько-то, яйца дюжина — столько-то. Бабушка все считала на свои фунты-аршины и других мер не признавала. Раньше, в прежние приезды

на дачу, Костя редко отходил от бабушки, словно был привязан к ней, а нынче совсем и резко отдалился, и она, конечно, замечала это, не понимала его. Когда он сидел, мрачный, где-нибудь на крыльце, на лавочке у ворот, она полошилась, спрашивала, где болит, нет ли у него жара, щупала лоб и за воротом холодными жестяными руками, а он досадливо увертывался, убегал, не глядя, как она стоит и горестно качает седой головой: «Экой взрослый, непослушный стал...» Нет, чтоб прибежал, пободал стриженной головенкой, как раньше, показал пойманную бабочку. Вот и сачок валяется во дворе, прибрать надо. Так, охая, сокрушаясь, она уходила.

А Костя забирался в переулки, туда, где неприступно стоит цветущая крапива, где только бродят куры, пиликают цыплята да лопоухий белоногий теленок таращит ласково-глупые глаза.

Он забирался в каменную, обвалившуюся яму, зачем-то вырытую давно и брошенную, наполовину залитую. Другая часть ее была вся в лопухах, в малиновых башнях пустырника. Ему хотелось быть одному, потому что люди мешали думать о Вале.

Иногда он прятался в сарае на сеновал, лежал там долго, кусая травинки. Здесь был пыльный запах старого сена. Здесь было темно, тепло и душно, и хотелось на волю — слышно, как вольно там дует ветер, шелестят тополя, светит в щели белое небо, — но здесь лучше думается, еще лучше, чем в той лопуховой яме. Можно, не закрывая глаз, увидеть, как Валя спускается к реке, как облепляет ее тоненький халат-сарафанчик и красные большие цветы удивительно в тон ее блестящей темной каштановой голове, ее темным бровям и мучительным губам. Вот она опять стоит в солнечной воле, солнце улыбается ей, улыбаются вода и берега... Вот она сидит, задумчиво склоненная, скрытая от него свесом волос... А вот она улыбается, и ласковой полосой мерцают меж губ ее голубые зубы, а ресницы спят чутким и тоже смеющимся сном. Она поднимается по угору, и смотреть на нее уже невозможно... Она идет с ведрами, и опять неприступно опущены ее ресницы, они и в тон, и в контраст ее спелым губам; если Валины губы смеются — ресницы тихо отражают смех, но больше грустны они, эти, словно бы ненастоящие, удивительные ресницы, а когда грустят губы, на Валию снова невозможно смотреть.

Валя ничего не оставила ему, даже и ту простую радость, которая всегда жила в нем и с которой он был всегда, с тех пор, как помнил себя. Эту радость несло ему раньше поджидание весны, первое тепло, осенние лужи, запах палых листьев и конопли, снежинки, дожди и грозы, облака и радуги, и голос ветра. Все ушло, заменилось одним — и это была Валя, Валя Медведева, смуглая девочка с каштановой головой, темными бровями и грустно-ласковым взглядом. Валя, которая ни о чем не догадывается, не узнает и не захочет узнать... Ведь он никогда не посмеет сказать ей ЭТО. Да и КАК? И ЧТО? И ЗАЧЕМ? Ей, наверное, целых шестнадцать. Ему одиннадцать. Будет осенью... Пять лет... Пять лет!! Как далек человек от человека в эти годы. Они равны расстоянию до звезд, до самых далеких, едва различимых.

Он думал, если б Валя захотела сделать его своим слугой — с какой радостью он стал бы работать для нее. Он носил бы воду, колол дрова, ходил для нее в магазин, хоть сто раз в день, он помогал бы ей стирать и развешивать белье, он мыл бы для нее посуду, топил печь, даже надевал бы ей туфли, стоптанные красные туфельки, в которых она ходит всегда... — ах, все это, конечно, смех и глупости, зачем он ей, зачем...

К ней, конечно, приходят старшие знакомые парни. Они учатся с ней в одной школе, и, может быть, с кем-то она сидит за одной партой! За одной партой!!! Неужели можно сидеть с ней за одной партой? Вместе читать учебник, подсказывать ей, давать ей списать пример... Такого счастливого невозможно было ему представить, и все-таки он пытался представить такое, может быть, даже видел.

Изредка к Тамаре во двор заходили одноклассники. Очень длинные, с виду очень нахальные, взрослые парни. Они умели самодовольно усмехаться, говорили грубыми мужскими и тоже какими-то самодовольными голосами. Среди них выделялся Толя Мальцев, самый высокий, с красивыми развернутыми плечами, в рубашке с закатанными рукавами, из-под которых выпирали загорелые бицепсы гимнаста. Блестящие рыжеватые волосы Толи были причесаны назад и наискось, а на губе темнели мягкие усики. Даже Тамару этот Толя звал просто Тамаркой, и, кажется, она не обижалась. И конечно, Толя любит Валию Медведеву. Это Костик понял

мгновенно, по каким-то взглядам, интонациям Толиного голоса. Один раз Толя, Тамара и Валя стояли и разговаривали на улице, у Валиных ворот. А он несколько раз прошел мимо, даже остановился, даже вприщур посмотрел на Толю. Конечно, Толя не обратил внимания на Костика, как не замечали его, впрочем, и все другие взрослые ребята, приятели и товарищи Тамары и Вали. Но Костик возненавидел только одного, только этого, этого... и ох, если бы стать старше... Почему он не старше? Зачем так медленно идут его годы, так медленно! А раньше он редко думал об этом. Когда же наконец он будет ходить в школу такой же взрослый и с такими же девочками, как Тамара и Валя?..

Или, может быть, потом, позднее, когда пройдут эти тягучие годы и он станет взрослым, уйдет служить в армию и станет полковником или комбригом с ромбами в петлицах, как Чкалов или Серов, когда о нем узнает страна и газеты будут печатать его портреты, он вернется в этот притихший под солнцем степной городок, придет на эту улицу. Найдет Валю... Да нет же! Нет! Нет! Проклятые годы... Ведь к тому времени Валя, наверное, уедет куда-нибудь, выйдет замуж, может быть, за этого Толю с усиками, у нее будут дети и муж, муж,— тьфу, какое противное слово. И что тогда он скажет ей? Даже если найдет? Что?

Ну зачем вы смеетесь? Зачем... Неужели у вас у самих не было так? Было же! Было!! Только сейчас вы не помните, не хотите вспомнить. Или уже не можете вернуть дни, когда от одного имени ее хотелось плакать... Да нет же! Вы помните... Помните вы... Так было...

Это степное озеро — в пяти километрах от городка. О нем рассказывали много: то Тамара, то девочки, и Костик знал, что оно огромное, как океан, что у озера «не видать того берега» и что на озере живут дикие гуси и утки, а один раз даже видели пеликанов.

— Не пеликанов, не пеликанов,— спорила упрямая желтоволосая Валя Петухова.

— Ну, этих, которые с длинными ногами,— пыталась поправить рыженькая и рыжеглазая Нюра.

— С розовыми крыльями,— добавляла тихая скромница Таня.

— Это уж в другой раз, в другой раз писали в газете,— говорила Нина.— А про пеликанов тоже было, в прошлом году. Про пеликанов и про этих...

— Фламинго? — счастливо спрашивал Костик.

— Точно.

— Правильно.

— А ты откуда знаешь?

— Давайте спросим Тамару.

И подошедшая Тамара сказала, что на озере видели пеликанов и больших розовых птиц — фламинго.

О, какое же должно быть это озеро, если на нем гуси, пеликаны и фламинго! Костик часто думал о нем. Он представил его еще более чудесным, населил всем, что подсказывало воображение, и на озере уже водились крокодилы (почему бы им не жить, раз есть пеликаны), а где крокодилы — там могут быть и бегемоты, и кувшинки-сковородки в тихих заводях, как видел он в одной книге о Южной Америке. На озере жили туземцы, плавали в узких пирогах, охотились с острогами за крупной сверкающей рыбой, а вокруг озера росли темные тропические леса, там были попугаи, пальмы и лианы. Конечно, вряд ли там было такое, но Костя хотел, чтоб оно было, и так видел его, может быть, так озеро снилось ему после того вечера, когда Тамара сказала, что завтра пойдут туда с утра. Он обрадовался: зажглось в нем то легкое и светлое, которого уже не было давно, хоть он побаивался, что Тамару опять куда-нибудь пошлют, что-нибудь заставят мыть или стирать — ведь сколько раз уже собирались.

Он поднялся раньше всех, еще и бабушка спала. За воротами он томился на лавочке, навевался во двор, пил, торопливо завтракал, ждал, пока Тамара закончит мыть пол — зачем это она каждый день моет? — ждал, пока соберутся девочки, и все было хорошо и ладно. Но вот зачем-то пришли эти Тамарины друзья, большие ребята, а потом пришла Валя. И вместе с ней вразвалочку Толя Мальцев. Когда подошел этот Толя Мальцев, Костику сразу не захотелось никуда идти, все потухло, показалось скучным. Кажется, он не мог даже скрыть, потому что Тамара внимательнее обычного поглядела на него, и он отвернулся. Потом он все-таки как-то скрепился, пошел будто бы со всеми, а сам был

отделенный от всех и даже старался не смотреть на Валу, она шла впереди с Тамарой, Толей и ребятами.

За окраиной вышли в пыльную пожелтевшую степь, в поля, знойно шуршащие белесым щетинным колосом. От полей и проселка пахло пылью, иссохшей землей и кузнечиками. Степь с утра дышала зноем, кузнечиковым звоном, а может быть, это звенело в накаленной голове, потому что сразу за околицей пригородной деревнюшки Костик выбросил в крапиву свою детскую белую шапочку. Шапочку сшили два года назад, когда начали ездить на дачу, и Костя еще тогда возненавидел ее за длинный младенческий козырек и какой-то младенческий фасон. Эту шапку надевал он только после самых решительных угроз и приказов. Надел и сегодня — бабушка иначе отказывалась отпустить, — и теперь он выбросил ее навсегда, выбросил и злорадно усмехнулся, видя, как она скрылась в сомкнувшейся зашелестевшей крапиве. «Скажу, потерял, — подумал он. — Пусть кто-нибудь найдет...» Ему стало немножко легче, он пошел спокойнее, даже попытался вернуть себе свою утреннюю улыбку, но улыбка не получилась... Ему не хотелось, чтоб кто-нибудь его понял.

Они шли страшно долго. Какие же пять километров — все, наверное, тридцать будут, и, когда уже Костя терял терпение, озеро открылось как-то внезапно, и внезапно повеяло оттуда прохладой, запахом камышей и большой воды. Оно было в самом деле огромное, в одну сторону почти безбрежное, вытянутое — и голубое-голубое. Но было и совсем не такое, как представлял Костик. На берегах никаких лесов, а прямо из воды поднимались сочные и унылые в своей зеленой ровности заросли камышей. Камыши тянулись бесконечно далеко, над ними кружила пара коршунов: один побольше, другой поменьше, и, конечно, не было никаких пеликанов, никаких фламинго. Хорошо еще, что там, где вышли они, камыш не рос, было видно твердое каменистое дно, и Косте стало еще скучнее. Он подумал, зачем было идти сюда, на это унылое степное озеро, лучше бы уж на речку, туда хоть ближе — не все равно, где искупаться, — раздевался машинально, медленнее всех. Девчонки уже с визгом и хохотом бежали в воду, не торопились только Валя Медведева, Тамара и этот противный Толя Мальцев. Он и раздевался-то с достоинством, снял пока только рубашку, у него в брюках был взрослый плете-

ный ремешок, как у совсем больших мужчин и парней. И, прежде чем раздеться, Толя закурил тоже по-взрослому, сложив ладони лодочкой, прикуривая от спички. Почему-то Костя смотрел теперь не на Валю, а только на него, на этого длинного, самодовольно-красивого.

— Валька, хочешь до середины доплыву? — внезапно спросил Толя, улыбочиво поглядев на стоявших рядом девочек.

— Зачем? — отозвалась Валя.

— Хоть третью часть проплыви... Хвастун, — сказала Тамара.

— И проплыву... — Он бросил окурок, даже не затоптал и стал быстро раздеваться. Потом он, сильный, коричневый, упруго пошел к воде. И в каждом его шаге было: «Вот я... Вот какой... Смотрите...»

И девочки смотрели.

Он поплыл. Красиво и быстро. Но во взмахах его было то же самое, то же противное: «Вот я... Вот какой... Вот какой, смотрите...»

Костик вошел в воду по твердому колючему дну. Дно было плоское и понижалось очень медленно и постепенно. Он зашел в воду по плечи, и это было уже далеко от берега, за кромкой камышей. Позади остались хохочущие девчонки, а Костик стоял и смотрел, как далеко впереди плывет Толя Мальцев, была видна лишь его голова и легкие всплески возле нее. Потом Костя обернулся и посмотрел на берег.

Валя стояла одна и смотрела туда... Туда, где плыл этот Толя... Она смотрела. А может быть, на тот голубой берег, где видны крохотные домишки и маленькие, как кустики, тополя? Нет. На Толю. На этого Толю. На Толю, который любит ее.

Неспонятно, почему решил он плыть. Даже не из-за Вали. Просто кто-то словно бы приказал ему. Он вздохнул, набрал побольше воздуха, оттолкнулся от дна и поплыл. Сначала это было боязно и трудно, — наверное, он делал много лишних движений, и еще можно было достать дно. Потом он успокоился, поплыл легче, видел впереди только воду и Толину голову на ней. Вода была то почти горячая, то приятно прохладная, она легко дер-

жала его. Костик не смотрел назад, он знал, что если обернется, обязательно испугается и заворотит к берегу. Он плыл и вдруг увидел, что Толя Мальцев стал ближе. Он приближался быстро, шумно, слышно было, как он отфыркивается, дышит, всплескивают его сильные руки. Скоро он поравнялся с Костей и, мотнув головой, выплевывая воду, крикнул:

— Ну ты, головастик! Заворачивай! Куда поплыл?..

Костя не ответил. Он плыл. Все вперед и вперед. И все дальше, дальше, дальше и дальше уходил берег с зеленой каемкой камышей, голубее и зеленее было вокруг, уже ходили на просторе мелкие солнечные волны. Он плыл. И радостное ощущение своей смелости и того, что вода легко держит его, подгоняли его в этом движении. Он чувствовал, что уже далеко и, наверное, уже заплыл дальше Мальцева, но он не останавливался, только повторял про себя: «Вот тебе... Вот тебе... Вот тебе, головастик! Ты сам головастик! Вот тебе... И не хвастай! И пусть Валя не смотрит...» Он плыл и плыл...

А когда оглянулся, со спокойным ужасом понял, что обратно ему не вернуться — так далеко отошел берег с полоской камышей, было видно, как там бегали маленькие фигурки, и чуть слышно долетало что-то похожее на «и-и-и...». Он посмотрел вперед, но там, совсем не приблизившись, был тот же голубой берег... На мгновение Костя испугался, перестал грести и начал тонуть, погружаться в плотную холодную глубину, но тут же судорожно вынырнул, откашлялся, покружился на месте и, словно вспомнив, что умеет плавать, поплыл дальше. Он подумал, что теперь уже все равно и надо плыть, пока хватит сил, и, может быть, подберет какая-нибудь лодка, лишь бы не утонуть там, на глазах у Вали, у ее берега.

Он плыл ровнее, хотя руки уже устали, а ноги временами сводило. Вода здесь была холоднее, только солнце по-прежнему пекло и блестело везде. Несколько раз Костик ложился на спину и опускал руки, они отдыхали, но плыть на спине долго он не мог. Мелкие волны захлестывали погруженную в воду голову, и он тотчас поворачивался, откашливался и снова плыл так. Блестело солнце, кругом была вода, теперь он уже не различал ни этого, ни того берега, плыл непонятно куда, просто плыл...

Коршун, большой и коричневый, пролетел над ним, медленно взмахивая крыльями, и Костик хорошо разглядел его отчужденно глядящую крючконосую голову и поджатые в кулачки лапы...

— Кости-ик! — едва долетело сзади.

Он легко обернулся, приподнялся над водой. Далеко позади была лодка. Он повернул к ней, не ощущая, однако, возможности доплыть, так было это далеко, и все-таки поплыл...

Руки наливались неподъемной тяжестью. Во рту горело и першило. Он уже не один раз захлебывался, но опять выплывал и держался непонятно как... Лодка была близко, он слышал ее, и тогда он собрал все силы, чтобы не утонуть...

— Ай, какой! Плахой малшишка. Шибка плахой... Драть нада такой... Атес, мать драть,— быстро говорил старый, морщинистый татарин в зеленой обвислой шляпе.

Он вытащил Костика из воды.

— У-у, головастик, черт! — ругался Толя, весь мокрый и красный, с растрепанными волосами, сидя на весельной скамье и отдуваясь.

Тамара молчала, но по ее побелевшему лицу и круглым глазам он понял много.

Он сидел скрючившись, скрестив руки к плечам, посинелый и жалкий, время от времени отдуваясь и стуча зубами. А лодка быстро шла к берегу мимо зеленого пояса молчаливых камышей.

Костик плакал... Он даже не понял этого. Раньше он не плакал — просто «ревел», если чей-то камень прилетал в голову, если доставалось палкой по спине или трещала рубаха в коротких мальчишечьих свалках. Ревел, если мать бралась за ремень. Теперь он плакал, тихо, горько, солоно, и облегчающе было это. Он стискивал зубы, мычал и всхлипывал, странно чувствуя, что с этим взрослеет, точно растет с каждым вздохом и всхлипом.

Скрип дверцы на сеновал напугал его. Он сел и отвернулся, торопливо вытирая глаза, шмыгая, стыдясь и багровея, потому что в дверце, наклонившись, смотрела на него Тамара.

— Ты... Ты что это? Тебя набили? — спросила она, пролезла в узкую дверцу и распрямилась.

Он хотел соврать и не смог — отрицательно мотнул головой. Он все еще вытирал лицо и боялся поднять глаза. Что он мог сказать? Он решил молчать — только вздохнул и еще больше отвернулся, трогал сено.

Тогда она под села к нему и сильными руками повернула к себе совсем как маленького. Он попробовал вырваться, но она крепче сжала пальцы, и Костик только отвернул голову.

Кажется, Тамара смотрела долго и внимательно.

— Не хочешь сказать?

— Нет.

— Почему?

— ...

— Это твоя тайна?

— Да...

— Очень важная тайна?

— ...

— Очень?

— Да...

Она отпустила его, и оба молчали — один потупленно, сжавшись, другая — спокойно и внимательно, разглядывая его, как бы постепенно понимая что-то или убеждаясь в давно понятом. А потом не улыбочивые глаза Тамары слегка потеплели, она вздохнула.

— Значит, тайна, — сказала она и, уже усмехаясь, поправив челку, вытянула из сена твердую соломинку, покусала крепкими зубами, спросила каким-то новым голосом:

— А как ее зовут?

...Он убежал, кубарем скатился с лестницы, хлопнул калиткой и не показывался до вечера, отсиживался в своей лопуховой крапивной яме до тех пор, пока бабушка не завела на весь околоток свое заунывное:

— К-о-о-о-о-сти-ик! Где ты-ы-ы! Ко-о-о-о-сти-и-к!..

Он знал, что бабушка будет звать, пока не дозовется. Тогда он вылез из ямы, отряхнул рубаху, колени, пошел домой, по-взрослому сутулясь, усталый и печальный.

И опять Костя не мог дожждаться вечера. Уже было все уложено. У порога и в сенях стояли завязанные ремнями чемоданы. Бабушка доваривала последнее ва-

рение. На весь дом, в сенях, во дворе и на улице сиропно пахло вскипающей земляникой. Брякала о медный таз ложка, снимала пенки. Запах и стук почему-то тоже напоминали об отъезде.

А солнце не двигалось. Оно стояло в зените, жгло сквозь мутный дым облаков. В этом зное, в безразличном небе, разморенной неподвижности воздуха было что-то устало-напряженное, желающее разрядиться и похожее на жажду, когда ее скорбно терпишь, а сам думаешь и представляешь, как будешь пить.

Завесив голову майкой, Костя сидел на крыльце, строгал кухонным ножиком широкую лучину. Строгал он просто так, чтоб хоть что-нибудь делать — из лучинки все равно ничего бы уже не получилось, кроме острого штыка к деревянной винтовке. Винтовка осталась дома. Да и штык у нее уже был... Строгая сейчас, Костя думал, что уже будет стыдно при всех взять эту винтовку и пойти на улицу. Разве теперь пойдешь... Как маленький... А еще очень хотелось побегать с ней, и он вспомнил, сколько радости, тайной самодовольной гордости доставила ему она, когда приладил к стволу тот самодельный штык, и винтовка сразу стала будто настоящая, по-военному грозная — так приятно было взять ее на плечо или стоять с ней в воротах, расставив ноги, держа ее наперевес, как в настоящем боевом карауле... Тогда все время говорили о войне... Война с Финляндией только что закончилась. Сдалась линия Маннергейма. А Германия воевала с Францией, и газеты повторяли: «Война... Война... Война...» Даже бабушка говорила о войне, когда, надев очки, по складам читала и обсуждала с матерью Тамары военные сводки. «Ох, что-то будет, что-то будет», — всегда вздыхала при этом бабушка. И сетовала: «Крупы бы, муки, масла постного запастись... Война — беда нешуточная. Сколько перемерло народу в голодные-то года...» А Костя совсем не думал о войне. Ну, будет — и будет... Разбили же финнов, и немцев разобьют. Пускай только сунутся... Гораздо чаще он думал о доме, о том, как быстро прошел этот месяц, и дома, наверное, ждут, скучают... Наверное, ждут и ребята, с которыми он учился, играл в войну, бегал на стадион, может быть, ждет черная лайка Динка. Он представлял, как поедет обратно, — опять замелькают дома и полустанки, потянутся поля... А здесь останется все, что так неведомо пришло к нему,

и будет ли ему легче, спокойнее, или станет совсем тяжело-тяжело, почти нестерпимо?

Сегодня он не прятался от Тамары, все равно был последний день, да и Тамара с утра куда-то ушла. Прятаться от нее было неприятно — он привык к ней и любил ее.

Он даже вскочил от радости, когда с улицы послышался, приближаясь, громкий Тамарин голос.

Она пришла не одна. Вместе с ней в калитку вошла Валя Медведева...

Костя выронил ножик и рассыпал все свои стружки-лучинки. Это и помогло ему — он начал их собирать, нагнулся, чувствовал, как горит лицо. Но убежать он не мог... Они, кажется, смотрели на него. Наверное, они переглядывались и улыбались. Он чувствовал это. Наконец он собрал стружки в пучок, подобрал майку и, нагнув голову, пошел в сени.

Но Тамара остановила его.

— Пойдешь вечером в лес? — спросила она где-то за спиной.

— Зачем? — не поднимая глаз и не оборачиваясь, спросил он.

— Будем тебя провожать. Костер зажгем.

—...

— Ну?

— Пойду... если ба...

Бабушка все-таки как-то узнала про озеро.

— Без всяких «ба». Я ей сама скажу, — было слышно, что Тамара улыбается.

Тогда он коротко взглянул.

— Когда пойдем?

Тамара и Валя действительно улыбались, но совсем не ехидно, спокойно и ласково.

— Часа через два, — сказала Тамара. — Надо еще... Надо еще собраться... Пока что... Валя, ведь ты пойдешь?

Они улыбались, но если Тамару он видел, то лицо Вали как-то туманилось, и скорее он представлял его, чем видел, как видит обычно.

— Пойду, — просто сказала Валя.

А Костя наконец шагнул в сени и никак не мог найти дверную скобу, шарил по двери, точно слепой, и дышать ему было трудно — так гулко, громко стучало сердце, дрожали и прилипали к полу ноги.

В лес собрались все. Пришли обе Тани, Вера, Нюра, Нины, Валя Петухова — всего человек восемь. Не было только одной Вали Медведевой.

Вали не было.

И когда все вышли за ворота, тронулись улицей с галдежом и смехом, Костино сердце заняло самой настоящей глухой и тяжелой болью.

— Пожару не наделайте! В лесу-то! — высунулся в ворота белый бабушкин платок. — Пожару, говорю, не наделайте, — она закрывала глаза рукой от пыльного закатного солнца.

— Да, ух!! — с досадой отмахнулся Костя, ударился козонками пальцев о ворота и, сморщившись, подул на них.

— А вот, не машишь... Большой какой стал, — укорила бабушка, с тревогой оглядывая его, а Тамара, усмехаясь, приняла от бабушки банку с вареньем в сетке, где был еще хлеб и какие-то серые кульки.

Он пошел последним.

Зачем идти? Жара... Пыль... Что ему в этом лесу, где одни только сосны да трава. И уже вечерет, в лесу скучно...

ВАЛИ НЕ БЫЛО...

Плелся, потихоньку отставал от хохочущих, болтающих девчонок и, когда поравнялись с зеленым домом Медведевых, тоскливо-коротко покосился. Он ждал, и все в нем напряглось. Но глухо было там. Нелюдимо белели занавески. Горели в закате, молчали окна. Будто про себя, они усмехались над ним, и зеленый дом осуждал его, замкнуто презирал. Дом остался позади, и Костя опустил голову, сами собой разжались кулаки, сами собой стали пылить ноги. И снова коротко-больно давило где-то в середине груди. **ЕЕ НЕТ, И ОНА НЕ ПРИДЕТ... ЕЕ НЕ БУДЕТ... ЕЕ НЕ БУДЕТ...** Но она же... обещала! Она сказала: «Приду». Она же обещала... Он едва не плакал, пылил по дороге. Он еще не знал, что **ОНИ** легко обещают — и не приходят. Да и зачем он ей... Она почти не знает его. И в тот раз на озере, она, должно быть, рассердилась на него, потому что только внимательно посмотрела, когда он, жалкий и посинелый, вылез из лодки, и больше не обращала внимания. Он даже ни разу не разговаривал с ней... И конечно, она не...

Калитка позади стукнула.

И о, счастье, счастье! Какое ты неожиданно переменчивое!

Валя вышла в том же красном с белым халатике-сарафане, только на голове у нее был такой же, как халат, треугольный лоскуток. И как шел он ей, смугловатой, нежной, темно-каштановой, этот красный платок-лоскуточек, какой еще более невыносимо прекрасной показалась она, торопливо идущая, спешащая их нагнать.

Костя не видел, как оглядывались девочки, не знал, улыбалась ли Тамара, он не смотрел уже и на Валу, но слышал, чувствовал, словно бы спиной, руками и затылком видел, как она подходит, и запинаясь, спотыкаясь о засохлые колеи в пыльной побурелой траве. Он глядел только под ноги.

Валя пошла рядом, и теперь он видел ее белые простые туфли. Они были не новые, и на носках махрилась сбитая кожа. Но они так ловко ступали по земле и траве, что он почему-то захотел увидеть Валу в туфлях на высоких каблуках, как ходят в городе взрослые девушки. Почему-то тотчас увидел крепкие Валины ноги в этих туфлях и испугался этой странной мысли-мечты.

— Тебе понравилось у нас? — словно издалека услышал он ее голос.

Он помедлил, точно проверяя, не послышалось ли ему, неуверенно сказал:

— Да... — Хорошо, что слово все-таки получилось, а во рту стало сухо, и пересохли даже губы. Он хотел их облизать, но спохватился, только проглотил что-то мешавшее и вздохнул. Он все еще не мог взглянуть на нее, видел только загорелые, поблескивающие ноги и край халатика.

— В каком классе ты учишься?

— В пятый... перешел... — вдруг и неожиданно соврал он и тотчас покраснел... «Зачем это я? Тамара знает».

— Смотри ты! Уже в пятом?! — удивилась она. — Я думала, в четвертом.

«Она... думала...» — нежно отдалось в нем, лишило речи.

— Как же ты сумел?

— ...А мне одиннадцать... Я почти с шести... пошел, — опять безудержно соврал он, теперь уже не краснея.

— Так рано? А я с восьми...

Дорога, серая и пыльная, уходила под ноги, поблескивали втоптаные зеленые стеклышки, попадала сухая грязь с приподнятыми, загнутыми кверху краями — след давно выпитой солнцем лужи, коровья лепешка с дырочками от черных жуков-навозников, притоптанный, никому не покорный подорожник и пыльная птичья муравка, уже краснеющая от холодных рос.

— В каком же... вы? — холодея и заикаясь, все-таки спросил он.

— В девятом... Мне уже шестнадцать... Зови меня «ты», хорошо?

— Да... — совсем упавшим голосом ответил он.

Значит, ей семнадцатый! Какое горе... Как далека она! Еще дальше, чем он представлял. Семнадцатый! Это бесконечно далеко. И что толку, что вот сейчас она идет с ним? Идет рядом и даже чего-то там спрашивает, разговаривает как с маленьким. С маленьким... Это было больно... Ему захотелось взглянуть ей в лицо. Получить ответ и, может быть, убежать... И он поднял голову, задержал дыхание.

Валя шла рядом и тоже смотрела под ноги, и не улыбались ее круто изогнутые губы, а лицо было даже, пожалуй, грустно. Ему стало легче, он вздохнул, пошел свободнее и в первый раз подумал, что ростом он почти не ниже Вали, — она была невысокая, невысокая... к счастью.

— Ты уезжаешь завтра? — спросила она.

— Да... Сегодня ночью.

— А хорошо ведь уезжать ночью, — сказала она. — Один раз так было. Мы ездили к маминой сестре... И тоже ночью... Я все запомнила... Вокзал... Вагоны... Заря... Поля. Я не спала... Как все по-новому. И ваш город. Такой большой. Улицы, площади. Новые места. Я, знаешь, люблю ездить. Я все время бы ездила... Да папа у нас... Говорит, нечего зря деньги держать. Как же зря, если столько всего видишь, узнаешь. Люблю ездить, — тихо повторила она. — И ты ведь тоже?

— Тоже... — как эхо, отозвался он и подумал, что вовсе не задумывался над тем, что она говорила, а только слушал ее голос, только голос, ведь он слышал его мало, и хотелось, чтоб Валя говорила еще и еще. Однако он никак не мог найти, о чем спросить, и наконец пробормотал:

— А в девятом... наверное... трудно учиться?

— В девятом — нет, я ведь в десятый перешла. Вот, наверное, будет трудно. Я математику не люблю, а в десятом их три: алгебра, геометрия и тригонометрия... Физика эта еще, — она поморщилась, потрянула головой.

А Костя повторил про себя со сладкой безнадежностью: «Алгебра... геометрия... физика...» Какие взрослые, пахнувшие далеким-далеким слова. Тригонометрия! Взрослые слова... Старшие классы... Когда он будет сам, как этот Толя Мальцев, и у него будут такие же редкие мягкие усики?.. Тут он вспомнил, что мать говорила про алгебру в пятом классе, и, радуясь, что наконец нашлось что сказать, умное и равное, как-то приближающее к Вале, глухо проговорил:

— У нас, в пятом, тоже алгебра будет.

Он не заметил, как дошли до леса, тощего соснячка с березой. А ведь лес был недалеко, и раньше Костя томился этой дорогой, длинными улицами мимо одинаковых домов окраины и новых срубов с пустыми окнами, кругом в вянущей щепе и коре. В лесу вечер был заметнее, тени уже закрывали землю, и над березками опушки, темнея и светлея, толклась мошкара. Меньше было бабочек, молчали кузнечики, цветы не то к дождю, не то к ночи смежились и поникли, только стрекозы и здесь не хотели отдыхать, носились, трещали, падали в траву. Потом и они быстро исчезли.

Девочки разбрелись впереди и по сторонам, собирали сучья для костра, аюкали и кричали. Тамара велела искать грибы. И Костя, заколдованно глядя под ноги, искал их, но ничего не видел, не слышал, не понимал, может быть, не хотел понимать. Все-таки ему было грустно, однако не так, как раньше, когда думал о Вале без нее, в своем обычном отдалении. Сейчас было и приятно, и тоскливо-безнадежно, а мысли словно застыли. Он следил за Валею — она теперь шла чуть в стороне, и впереди, меж сосенками, мелькало ее красно-белое платье, яркий платочек. Костя несколько раз споткнулся, не упуская этот кукольный платок.

Зачем Валя пошла? Неужели Тамара все рассказала? Почему Валя шла именно с ним? Не с девчонками, не с Тамарой. Или все просто, как говорят маленькие: так... Он шел последним, а она догоняла. Она ведь догоняла, а он шел последним! Ему хотелось объяснить все, понять все, но чем дальше он думал об этом, тем больше путался, недоумевал: все это можно было объяснить

и так, и по-другому. Где-то очень далеко — так далеко, что и заглянуть было страшно, — таилось греющей искоркой счастливо-невозможное, и он боялся погасить эту искорку сам, она и так могла потухнуть мгновенно, потому что сверх нее, не давая даже чуточку разгореться, осенними тучами шли глухие и грустные мысли. Он думал, что все это зря, ни за чем и незачем, одна только насмешка или простое совпадение, а самое холодное, подавляющее своей беспросветностью, как ненастье, было: ОНА ЖЕ В ДЕСЯТОМ... в десятом, и ей уже семнадцатый год...

— Рыжик! — сказала Валя. — Ой, еще... И еще! Иди-ка сюда... Собирай, скорее...

Стояла на крохотной полянке-прогалине с полными руками мелких оранжевых по исподу грибов. Улыбалась. И нежно-ласково блестели ее глаза... Такие, что он потупился, не мог смотреть ей в лицо, а только на руки.

— Где они? — спросил он.

— Да вот же, — как будто издалека и сверху был ее голос. — У меня под ногами...

Рыжики хорошо прятались в короткой сухой, беловатой траве. Один... другой... третий... Валя переступила.

— Вот еще и еще...

А Костик опустился на колени, стал искать. Все время он чувствовал ее улыбку и то, как она смотрит...

В лесу темнело, когда нашли поляну побольше, сложили сучья, стали разжигать костер. Он никак не разгорался, тухнул, дымил, по нему хлопали ветками. Все суетились, толкали друг друга, советовали, лезли поправлять, неумело по-девчоночьи чиркали спичками, один Костик стоял в стороне, и больше всего ему хотелось убежать отсюда, оставить и поляну, и девочек, и Валою, потому что тогда было бы лучше и легче, и, если бы он запомнил и знал дорогу, он бы, наверное, побежал. Он вспомнил, как плыл в такой же отчаянной безнадежности, и опять увидел волны, того коршуна, как он медленно летел и какие у него были сжатые в кулачки лапы, над всем серебряным, голубым и мгlisto-ветренным, что было тогда кругом слито в одно бесконечное пространство неба и воды...

Но костер все-таки разгорелся, сучья и хвоя просох-

ли, вспыхивали все сильнее, и наконец огонь победил, заплясал и загудел, и сразу стало веселее — было как во сне или в странном кино наяву, где вокруг тебя все необычное — и лес, и огонь костра, его дым и запах, и лица девчонок, какие-то совсем непохожие, изменившиеся, и мрачноватые глаза Тамары, и Валя, которая гибко ходила возле огня.

Даже костер этот был необыкновенным: он тек теперь бесконечным потоком пламени, махал кому-то рыжими лисьими хвостами, пищал, заваленный новой хвоей, и, когда она, нагревшись, вспыхивала с отдаленным буревым гулом, все вдруг освещалось далеко, все с визгом отодвигались, одна Тамара стояла перед костром, в его свете, точно бронзовая фигура.

Тамара держала пучок острых, твердых еловых сучков, какие остаются у ели, когда засохнут нижние ветки. Валя подавала ей грибы, и Тамара ловко натыкала их на палочки, раздавала девчонкам. Грибов было немного, в основном те, которые они нашли с Валею. Но Костик не думал о грибах, хотя и видел их, он думал только о Вале, которая стояла к нему спиной, и знал, что Валя помнит о нем, и он не ошибся. Когда у всех были палочки с грибами, Тамара и Валя подошли к Косте и сели рядом.

— Вот,— сказала Тамара, подавая ему целых четыре сучка.— Ты у нас гость, и тебе больше... Жарь, только не сожги в уголь. Солью посыпь сначала. Валя, где у нас соль?

Все примолкли, подсовывая сучки с грибами в огонь. Он пек сильно, так что приходилось менять руки — нагревались невтерпех,— а грибы шипели, темнели, морщились, от них пахло кипящим соком, и все время надо было их поворачивать: то подвигать к углям, то отодвигать.

У всех девочек получалось хорошо. Иные уже ели, ожигаясь, причмокивая и похваливая, только у Кости грибы падали в огонь, мазались в золе, не пеклись, а жглись...

Рядом, поджав ноги, опираясь рукой о землю, сидела ОНА, и Костя все время замирал от счастья, когда мельком взглядывал на нее, на ее руку, на ее волосы, закрывавшие щеку так, что видны были только черные длинные Валины ресницы, нос и начало губ.

Грибы валились в огонь.

— Дай! — сказала вдруг молчавшая Валя и взяла у него сучок.

— Вот так... — Она ловко покрутила скуливший рыжик над углями, подержала над огнем и подала Косте.

— Ешь! — Она улыбнулась. — Ешь... — И лицо ее стало розовым-розовым, может быть, от жаркого света углей.

И прошли годы... Может быть, столетия... Может быть, тысячи тысяч лет прошли, а Костя все помнит, как близко и неведомо было лицо, ласковое, смущенное, с этими усмехающимися губами, с глазами, которые проникали его и тоже смеялись, грустили, понимали тепло и спокойно и отчужденно-нежно...

Он ехал из командировки, устало пробирался душной переполненной электричкой, искал, где присесть. Он прошел один вагон, миновал другой и едва открыл дверь в третий — как неожиданно ударило, ошеломило его лицо сидящей на лавке молодой женщины с ребенком на руках. Женщина была очень молода, свежа и хороша, в том возрасте, когда еще не потерялась девичья хрустальность взгляда. Она была так похожа... и все-таки это была не Валя. Но как похожа! У него захолодели руки, заболело сердце. Женщина с неудовольствием отвернулась, потому что слишком ясен был его взгляд, но и в профиль искал он что-то такое, что было тогда, у той Вали у костра... И тогда, состарясь сразу, темнея лицом, он пошел дальше, а сам все думал, что, наверное, ТО уж никогда не будет, не встретится и не повторится...

Потом у костра смеялись, кидали сучками, хлопали по головням, следя, как тучи искр одновременно взлетают ввысь. Костя сидел рядом с Валею. Он молчал... Он не хотел говорить. Он слышал даже, как пахнет Валино платье, чисто, нежно и немного пряно.

— Хорошая погода будет, — сказал кто-то. — Дым кверху идет...

Наутро был дождь. Был поезд в дождливых сумерках рассвета. И ничто не радовало, потому что с каждым стуком колес все дальше оставалась Валя Медведева,

и ощущение того, что он не увидит ее долго-долго, может быть, никогда не увидит, становилось все невыносимее...

Когда вернешься домой, даже после недолгой отлучки, все кажется непривычным. С радостью узнавания и возвращения всегда соседствует тихая грусть. Сейчас дом показался Костику ниже, улица кривее, комнаты меньше, замусоленными и грязными оказались любимые книжки, а на игрушки, сваленные в углу, он только мельком взглянул.

Он нехотя напился чаю, не лег спать, сколько ни уговаривала бабушка. Он ушел на двор и целый день ходил там, по сырой улице, в огороде и на пустыре. И весь день без перерывов шел и шел не по-летнему холодный августовский дождь. Он то усиливался — словно бы сыпал крупной солью, то принимался ровненько моросить, и, когда его подхватывало ветром с севера, с вокзала слышался шум паровозов, их гудки. Оттуда пахло паровозным дымом. Он мешался с запахом промокших топей. Все время он напоминал, что было — ту улицу, тот дом, Валю Медведеву — его первую потерю, и Костя плакал уж не один раз за этот темный день. Плакал он, то прислонясь к забору, то за сараем в лопухах, зажимая рот ладонями, тыкаясь лицом в сырую холодную зелень. Никто не видел его... Никто ничего не знал.

А потом ему стало легче. Он добрался до почернелой кадушки под водостоком, до краев налитой дождевой водой. Нагнулся. Лицо сжало холодом, и он держал его так, пока не стал задыхаться. Тогда он поднял голову, умылся, вытерся рукавом и полами перемокшей куртки и пошел на крыльцо. Он вздыхал и ежился. Ему еще было тяжело. Первый раз так. Однако он уже понимал, что так будет и еще, — и надо уметь держаться...

Уже вечерело. И ветер стих. А тучи снесло к востоку. На западе, за высокой церковью, за домами и над ними блекло заголубело, как бывает только в августе, когда лето уже на исходе, но осени нет и стоит межвременье — земля еще ждет тепла, а небо уж холодно, прозрачно и неуютно...

ВЯЧЕ

1970 г.

Маленькая повесть

I

— Стреляй! — сказал отец.

Тяжелая неудобная двустволка ходуном ходила в тонких моих руках, и сам я, десятилетний мальчик, весь дрожал от боязни будущего выстрела, от охотничьего азарта и жалости к тому чернобокому белоспинному дятлу, который спокойно долбил облетелую осину недалеко от дороги.

Какое жесткое это ружье. Медная мушка никак не стоит на месте. Я зажмурился. Ружье со страшным грохотом подпрыгнуло, ударило по скуле. Ошалелый, я даже не воспринял эту боль. Когда я открыл глаза, синий дым клубом сползал на траву. Дятла не было.

— Убил, — сказал отец. И я, коротко взглянув на него, сунув ему ружье, бросился подбирать птицу, прыгая через мелкие елки.

Теплый белый и красноголовый дятел валялся под осиной на оранжевых листьях. Его лапки медленно сжимались.

Я поднял птицу со смешанным чувством. «Попал! С первого раза попал!» — торжествовала мальчишечья гордость. А едкая жалость, проколовшая меня насквозь, не давала даже смотреть: «Зачем я его убил?»

Это был первый случай, когда живое существо, только что копошившееся, стучавшее суетливой головкой, лишилось жизни от моей руки. Я вдруг почувствовал себя несчастным и посмотрел на дятла, не зная, куда его деть. У него был белый крепкий клюв, из которого виднелся язык с роговыми зазубринками. Возле клюва грубые щетинки. Хвост дятла в мелкую шашечку поразил меня крепостью и чистотой. Мне захотелось бросить птицу в елки и убежать, захотелось, чтоб дятел как-нибудь ожил, улетел, как обычно летают они, нырками, складывая и раскрывая крылья... Он не ожил.

«Зачем убил? — снова горько подумалось мне. — Остались у дятла где-нибудь птенчики-сиротки». Эта сказочная, детская мысль не показалась мне тогда невероятной. Темное мокрое пятно расползлось из-под крыла

по перьям грудки. Я тронул пятно и точно порезался. Кровь... Такая же яркая, красная. Я вытер пальцы о светлую кору осины, где точками хлестнула дробь, и побрел назад.

— Что, охотник? — спросил отец, видя меня затуманенным и, наверное, понимая, что со мной.

— Так...

— Жалко стало?

— ...

— Ну, больше не стреляй их. Дятел не дичь. А этого прибережи. Чучело сделаем... Эх, ты, жалётель.

Он взглянул на меня своими светлыми выпуклыми глазами, будто увидел впервые, и шутливо дернул за ворот курточки.

— Ну-ка, давай иди вперед!

Я стал охотником. Нет, больше никогда я не стрелял дятлов. Хватило с меня и этого. Целую зиму висел он в отцовской комнате на березовом сучке, неумело набитый паклей, с угольками вместо глаз. К весне его источила моль, и чучело выбросили. Но я часто вспоминал о нем. Мне и теперь, и до сих пор жаль его, доброго, ничего не подозревавшего в то сыроватое осеннее утро. Я вспоминал и о чудесном сентябрьском дне, который мы провели тогда в еловых и осиновых лесах, вспугивая в холодных сиреневых чащах бесшумных вальдшнепов и белолопых зайцев. Зайцы уходили, прокладывая следы в метельчатой траве, мелькая рыжим и белым, а отец зычно кричал им и смеялся. На них не время было охотиться, и он не подымал ружья.

Первый раз я был в настоящем далеком лесу, где много разных птиц и зверьков, где ветролом и колодник зарастают высокой травой, где кусты и деревья стоят дико и вольно, и столько кругом укромных уголков, листовых тропок, брусники, муравейников... Лес открылся мне подобно тому, как перед беспомощным цыпленком вслед за треском скорлупы разверзается оглушительный, бесконечный мир света, теней, красок и звуков. В нем было нечто безмерное, захватившее меня целиком, отлично воспринимаемое моими чувствами и в то же время такое, что не мог объяснить мой детский ум и выразить детский язык. Я мог бы загикать, заскакать, вприпрыжку помчаться по лесной дороге или кататься по траве, как делают это собаки в избытке радости. Мне очень хотелось кувыркаться на траве, рвать ее с корнем и пробо-

вать на вкус. И я с трудом удержался тогда от такого, наверное стесняясь отца.

Я вспоминал лес во всех подробностях. Представлялись мне желтые колен и вся дорога, застланная потным листом. В холодном воздухе лиственный настой — грустный осенний запах. Прихваченный инеем рыжик спрятался у дороги. В перерослой забурелой шляпке была вода, лежали раздвоенные хвоинки. Я никогда еще не находил рыжиков. Станным образом гриб напомнил мне чье-то рябое курносое лицо. Я выкопал рыжик, обнюхал, лизнул перечно-едкий оранжевый корешок. Потом мне запомнились стебли лесной малины на заглохшей просеке, запомнились ясным сизым цветом у корней. Стволы берез в лесу светло-голубые, слегка фиолетовые. Черно-белая синичка в темной зелени еловых венцов качалась, как вятская расписная игрушка. Глухарь пролетел над вершинами леса. В его полете было нечто допотопное. По-утиному вытянув долгую шею, он несколько раз взмахивал крыльями и замирал в коротком парении. Он навсегда остался мне — этот глухарь — высоко над макушками желтых лиственниц, над золотыми далами осенних увалов.

Теперь я изводил отца просьбами и нытьем: «Да когда же в лес? В лес! В лес!» Отец досадливо махал крупной рукой. Видимо, я попадал в самое больное место. «Работа, — говорил он. — Вот подожди, станет посвободнее...» В редкие счастливые поездки я не отлипал от окна вагона. Едва останавливался поезд на каком-то печальном полустанке, я спрыгивал с мазутной подножки, торопился, почти бежал к близкому запаху леса и поля. Он кружил голову, он заставлял улыбаться. В детстве мы хорошо различаем запахи. Мы вдохновляемся ими, становясь взрослыми. С нами постоянно живут прекрасные запахи летнего утра, близкого дождя и ночной земли, первого снега и пасмурной оттепели или голубого звонкого дня, невидно тающего в истоме бабьего лета.

Я торопился к лесу. Не терпелось коснуться первых холодных веток, войти в уже сквозящие березовые кусты опушки, сыплющие шумливый лист. Шуршала жестко заиндевелая трава. Рвалась, рассыпалась жемчужная паутинка тумана. Червонные пяточки осин падали щедрой безмолвной данью. Раздевались осинки, будто по суровому приговору, и весь лес стоял как-то грустно прибранный, в раздумье и тишине. Тишина заставляла при-

слушиваться, открывать рот. Тишина закладывала уши. Тишина была и в небе, и в слабом движении ветвей, и в падении листочков. Гулкий бобот крыльев внезапно снявшейся впереди птицы бросал в дрожь. Рыжим толстым веретеном птица мелькала за стволами. Я никогда не успевал вскинуть «ружье», простую березовую палку. Отец не доверял мне свою дорогую зауэровскую двустволку, хоть я и очень огорчился.

— Будешь побольше — куплю ружье. А пока ходи так, привыкай, приглядывайся. Может, охотник из тебя и не получится. Жалетель ты. Всякую тварь в руки берешь, гладишь... (Отец терпеть не мог жуков, лягушек и ящериц, а я их любил.)

— Да, уж не получится! — обижался я и смутно чувствовал дальнюю правоту отца. Он всегда был прав или умел показаться правым. Я никак не мог представить, чтобы отец ошибся, сделал что-то неверное, нерешительное. В его больших спокойных глазах никогда не мелькало сомнение. Даже ходил он по земле какой-то донельзя уверенной походкой. Я узнал бы его издали среди тысяч людей.

Набродившись к полудню, мы останавливались у ключевой речонки, всегда в одном месте, пить чай. Отец неторопливо разжигал костер, навешивал котелок на задымленную рогульку. Я сидел на валежине, смотрел, как со свистом и плаксивым скуленьем огонь палит нарубленный лапник, казалось, он ноет и стонет, не в силах одолеть сыроватые сучья, и, лишь разгоревшись, начинает их грызть с довольным урчанием и треском.

Еще занимали меня убитые рябчики, косачи и тетерки, аккуратно разложенные под елью, в тени. Я брал их в руки, разглядывал краснобровые, темноклювые головы с мертво прищуренными глазами, гладил крепкое рыжее перо, трогал жесткие лапы с тупыми когтями рогового цвета. Мне нравились эти лесные птицы, и очень хотелось видеть их живыми, бегающими в траве и кустах. Я представлял себя дома, на дворе. Вокруг ходят спокойно тетерева и тот тяжелый бородатый глухарь, которого отец привез с охоты из Старой Утки. Птицы не боятся меня. Я бросаю им овес, и они толкутся, клюют, взлетают на плечи и руки, как куры. Я думал, фантазировал, смотрел на лес вокруг нашей поляны. Под его мирный незвучный шум хорошо думалось. Мысли плыли светлые и легкие, точно облака над елями. Я весь ухо-

дил в созерцание этих облаков, молочных и дымчатых снизу и таких не здешне белых, сияющих собственным светом по краям.

— Задумался, а давай-ка лучше чай пить,— говорил отец, отставляя в траву сединой взбурлившийся котелок.

Пили крепкий коричневый чай с разопрелыми крупными чайниками. Хрустели сахаром. Покряхтывали от души.

И тихо томился, глядел на нас принахмуренный день.

II

Война грянула неожиданно, как беда. На третий день ушел отец. И дом враз опустел, словно его покинули десять человек. Помню, после того спешного, словно непонятного ухода в доме стояла знобящая выморочь. Целую неделю я не мог опомниться — все слонялся из угла в угол и по двору. Я влезал на заборы, опирался на локти и висел так в немой обалделой тоске.

Пыльная улица была очень пуста. Кошка перебегала ее воровато. Бродили, лежали под заборами меченые грязно-белые куры. Орал, надсаживаясь, топорщился петух. И солнце по-летнему играло в набежавшей туче, сквозило в ней светлым кружочком, и мне думалось: «Вот закрою глаза, сосчитаю «раз, два, три» — и все пройдет, все это только привиделось — появится вдали улицы отец, идущий с работы, и я побегу его встречать...»

Потом была долгая грязная осень с холодами и оттепелями. Стыла и отходила земля. Плыли над окраинной косяки журавлей. А война давала о себе знать вокзалом и солдатскими ротами. Поездами раненых, гудками, тревогами, слухами. Были изможденные лица эвакуированных. Непривычный, мягко хакающий говор. Исплаканные глаза женщин. Проклятия, которые я слышал по адресу фашистов и Гитлера, которого я сам клял страшными недетскими словами. Были дружины ПВО, затемнение и заклеенные крест-накрест стекла. И еще были карточки. Когда появились в доме сиреневые и желтые бумажки с напечатанными граммами, я еще не представлял, как возненавижу их навсегда, будто они были желтым и черным лицом войны и голода.

Я был иждивенец, и бабушка — иждивенец, нам полагалось по триста граммов черного хлеба. Мать, как слу-

жащая, получала на сто граммов больше. Килограмм хлеба на троих. Может быть, его и хватит сейчас, когда изо дня в день сыт, кругом полно еды, а в магазине можно купить и конфет, и пряников, и съесть на улице мороженого. А тогда это был голод. Три кусочка остистого колючего хлеба — такого сырого, пригорелого и такого вкусного... Иногда, расправившись в один прием со своей жалкой «пайкой», я голодно думал, с каким наслаждением съел бы всю булку, ломоть за ломтем. Неужели было время, когда хлеб продавался просто так — бери сколько хочешь? Недавнее представлялось фантазией.

Изо всех сил я старался не думать о еде, уходил играть на улицу, жевал вар, искал и выкапывал пресные корни лопухов на пустыре. Но все было напрасно. Подрастающий организм настойчиво и мучительно требовал: есть, есть, есть.

А хлеб был: на чудовищно разросшейся толкучке у Коковинского рынка им торговали. На месячную материну зарплату можно было купить ровно полторы булки. Ведь булка хлеба стоила четыреста прежних рублей. В вонючем закутке возле уборных быстроглазые люди продавали карточки, слюнили и прятали рубли и сотни.

И вот по воскресеньям и в будни, придя с работы из школы, мать все чаще отправлялась туда с узлом или сеткой. И каждый раз она приносила хлеб. А в доме становилось все беднее, голее. Исчезли скатерти, половики, ковровая дорожка, плюшевое одеяло. Дошла очередь до отцовской одежды и праздничных материних платьев. Мать, всегда такая толстая, здоровая, исхудала вполтину. Я не слышал, чтобы она жаловалась или хоть пожалела проданную вещь. Какое-то непривычное, неведомое выражение появилось и осталось на ее лице. Точно удивилась один раз да так и не могла прийти в себя. Она ходила на работу, проверяла тетрадки, мыла полы, и все таким же тихим, удивленным было ее осунувшееся лицо.

Не решалась мать лишь на продажу отцовской двустволки, хотя сосед, толстый Алексей Петрович, снабженец с какой-то базы, не раз останавливал ее на улице, предлагал за ружье пять булок хлеба. Алексей Петрович ходил теперь в добротнейшем волчьем полушубке, невероятно широком, квадратном, в каракулевой с кожаным верхом шапке и в белых скрипящих кожей бурках.

Встретив его у двора, я всегда отворачивался или шмыгал в ворота, хотя ничего плохого не сделал мне этот присадистый луноликий мужчина, всегда сахарно, благополучно улыбавшийся. До войны Алексей Петрович жил скромно. По воскресеньям ходил с бидончиком за пивом. Всегда на нем были рыжие хромовые сапожки, черная гимнастерка и такие же галифе, залосненные до сальных бликов. Он часто угощал меня и других ребятшек мягкими ржаными пряниками. Пряники почему-то пахли мылом и керосином. Он тоже до войны был охотником. Иногда отец ездил с ним на охоту. Жалкое одноствольное ружьишко Алексея Петровича болталось на его мешковатой спине, точно детская игрушка. Ни в какое сравнение не шло оно с восьмифунтовой садовой двустволкой отца. Отец вообще любил все добротное, солидное, покупал дорогие вещи, подчас отказывая себе во всем другом. Относясь с великим уважением к книгам, он выписывал их собраниями сочинений, но я не видел, чтобы отец их часто читал. Книжки чинно стояли под стеклом в запертом шкафу, гордясь золотыми корешками. Теперь эти дорогие собрания сослужили хорошую службу, постепенно превращаясь в буханки ржаного хлеба, пока не остался один Пушкин. Собрание Пушкина было реликвией. Мне разрешалось читать его только после мытья рук с мочалкой, и даже сейчас я помню свежий запах краски от глянцевых страниц и цветных вклеек, бережно прикрытых прозрачной калькой.

Да, это были теперь наши единственные ценные вещи. Пушкин и ружье отца.

Зимними ночами, тщетно пытаюсь заснуть на голодный желудок, я представлял, как весной снаряжусь в лес, возьму ружье и набью полную сумку рябчиков, уток, тетеревов. Может быть, еще глухаря. Глухарь — вот какой громадина, полпуда чистого мяса, наверное. Мы будем его жарить и варить и досыта поедим мясного. В конце концов я засыпал, но и во сне виделся то глухарь, то ружье, то лес, виделись жареные утки с гречневой кашей в глиняной обливной латке — так любил отец. Веселые, мы сидели за столом. Он находил утиную косточку — дужку и ломал ее со мной в простой игре «бери да помни».

Я просыпался. В окнах синела ночь. А репродуктор уже хрипел сводку с фронта. Бои местного значения. Наши части уничтожили 75 танков, 6 бронемашин и сби-

ли 23 самолета противника. Да когда же кончатся у них, проклятых, все танки и самолеты? Откуда они их столько берут? Кашель бабушки напоминал: пора вставать топить печку. Мать уже ушла, а мне скоро в школу...

III

Однажды я застал мать в тяжелой задумчивости. Она сидела на кровати прямо в пальто и дула на озябшие пальцы. В комнате было холодно. Я только что пришел из школы и еще не истопил. Бабушка третий месяц лежала лежмя.

— Продать придется ружье,— сказала мать вдруг и встала.— Если он вернется, новое наживем...

Я промолчал. Да и что я мог сказать? Сказать, что с ружьем связаны самые дорогие лесные памятники, что отец будет сердиться, что война скоро кончится? Нет. Ей не видно было конца. Она шла уже третий год, ужасная, кровавая, каждую секунду несущая людям горе. Она отбирала у нас школы, превращая их в госпитали, она сыпала траурные листки похоронных чуть не в каждый дом. И разве я не видел, как безумно, закусив кулаки, качалась у ворот соседка Нина, а потом бросилась оземь поперек дороги и билась, и билась, колотила руками и головой. Когда ее уводили под руки, на измазанном пылью и кровью лице были видны одни белые зубы.

И разве я не слышал, как зайчиком плакала маленькая Люба Семечкина: у них в одну неделю пришли похоронные на отца и на брата.

Говорят, в войну страшнее всего было на фронте. Но там была возможность держать оружие, в упор, в лицо стрелять, искать того, кто назывался коротким словом — враг. А здесь... Здесь было обычное солнце над снегами, неизбывная тоска по тем, кто уже не вернется, не стукнет калиткой, не пройдет знакомо под окнами, и вечный страх за тех, от кого еще приходят письма, но кого, быть может, уже нет в живых. Говорили, что никто не шел в почтальоны. Приходилось мобилизовывать.

Как было мне ответить матери? С продажей ружья обрывались все мечты о походах в лесную сторону, о костре в звездную ночь, о глухаре... Но, если сказать прямо, голод заслонял все.

Стояла ранняя затяжная весна. Кончилась запасенная с осени картошка. Мы еле таскали ноги. Теперь мать

приносила с базара мороженый турнепс, черную редьку, иногда немного овса. Овес парили в чугушке, мололи через мясорубку, и полученную клейко-колючую массу разводили до предела в кисельную муть.

Алексей Петрович унес ружье. Целых десять дней появлялось у нас по булке свежего, пахнущего весной хлеба. Алексей Петрович был аккуратен. Постучавшись вечером, он влезал на кухню, улыбочиво клал булку на стол и, покалякав о том о сем, уходил. Я смотрел вслед на толстую шею, на пельменные уши, согнутые каракулевой ушанкой и, кажется, с тех пор стал ненавидеть всех чрезмерно веселых людей.

— Ну, герой, что голову повесил?— спросил он меня перед уходом, когда занес последнюю булку.— На охоту скоро пойдем. Уточки вот прилетят. Чирочки, рябчики... В хозяйстве разоставок. Отец-то молодец был. Сроду без десятка, без двух не прихаживал. Бивали мы с ним. Да... Ну, что молчишь? Пойдешь, говорю, на охоту-то?

Синебритое, с двойным подбородком его лицо было противно мне. От Алексея Петровича попахивало спиртом и почему-то сырым мясом.

— Не с чем,— пробормотал я, норовя уйти от неприятного человека.

— Не с чем... Не с чем... Да... Погоди-ка, постой. Ограбил, мол, я вас? Так? Э-э... жизнь, милый, не сметана с маслом. Всяко и я жил. А другой-то ведь вам и половины хлеба, по-рыночному-то, не дал бы. Мать у тебя хозяйка, умница...

Он уже совсем собрался уходить, встал на порог, заклонив спиной дверь.

— А слышь-ка,— улыбаясь, снова обратился он.— Да ведь я тебе и ружье устрою. Не веришь? Устрою. Сделаем. Свое отдам... Ну, не совсем, может, отдам. Вещь все-таки не малая, а по-нонешнему времени... Так вот, оно мне теперь вроде бы без надобности. Бьет прекрасно. Шестнадцатый калибр. А? Возьмешь?

— Нет.

— Ну, поменяемся!

— ...

— Вон у вас книжечки. Пушкин, что ли. Они ведь теперь вам куды-никуда... Я тебе ружье, а вы мне книжечки.

Я посмотрел на мать. Неужели она согласится? Книжки-то ведь какие! Может быть, тогда я преувеличивал их

цену, мой отец всегда умел как-то так поставить вещь, так рассказать о ней, что всегда получалась она единственная, невероятной редкости и ценности.

— Берите, Алексей Петрович,— просто сказала мать и отошла к очагу, где кипела едким паром сковородка с мороженой редькой.

— И отлично. И ружье у парня будет. А я вам еще булочку-другую как-нибудь...

— Зачем ты ему отдала? — спросил я, едва захлопнулась дверь и крылечко последний раз простонало и пискнуло.

— А затем, что пойдика снеси бабушке хлеба да и сам садись поешь.

IV

У меня ружье — старая одноствольная фузея шестнадцатого калибра. Оно клацает и хлябает в шарнире, еле держится, на прикладе нет антабки и в стволе полно ржавых раковин. Но я не унываю: все можно починить. Я укрепил разболтанный шарнир жестяной прокладкой, вместо антабки вбил и загнул скобой проволоочный гвоздь. Промыл, вычистил, намаслил ствол, как делал это отец, доведя канал почти до радужного сияния. И в довершение всего выкрасил обшарпанный приклад зеленой эмалевой краской, какой красят рукомойки. Ружье стало странным, игрушечно-настоящим. И все-таки это было ружье, и с ним можно охотиться.

Я считал дни, едва дождался, пока стает снег: март тянулся бесконечно долго. Зима упрямылась. Весна краслась робкая. Лишь крапива на мокрой земле под заборами вылезала ярко и бодро. В газете писали, что она «излюбленная пища многих культурных людей». Какой-то спец бойко советовал блюда из корней одуванчиков, отмечал, что в Японии даже выращивают наш обыкновенный репей-лопух и лакомятся его корнем и называют этот овощ — «гобо».

«Гобо» я пробовал, как и все мальчишки, еще до войны. Пресный, сырой, земляной вкус его был слишком знаком. А вот одуванчики... Жаренные на олифе одуванчики напоминают кофейную гущу со жгучей редькой. Что касается щей из крапивы, они вкусны, если положить сметану, лук, картошку, мясо и морковь, но мы варили крапиву, как говорят французы, «а ля натурель»,

и в таком виде она ничем не отличается от огородной лебеды.

Когда весна разгулялась, я бросил школу. Мать не удерживала меня. И вот я сутками пропадаю в лесу. Голодный, задубелый, оборванный, в огромных резиновых сапогах. Отцовы сапоги — мучение. Рубчатая резина подошв весит без малого пуд. Мои тонкие ноги болтаются в их гулкой пустоте, а голенища больно хлопают в подколенки. Их едва выволакиваешь, если попадешь в грязь, зато в сапогах тепло, можно надеть носки и три пары портянок, а главное, в них сухо.

Я подманивал на пищик рябчиков, тропил километры снежной целины. Рябчики давались совсем не легко, как думалось мне раньше, когда отец приносил их много, и они считались за очень завидную дичь. С похода их взять было невозможно — так неловок, шумен был я, продирающийся сквозь чащу, и так быстры, зорки, пугливы они. Каждый рябчик умел хитрить, отлично прятался, затаиваясь в ветках, и стремительно улетал, едва успеешь прицелиться. Редко удавалось мне подкрасться к токующим тетеревам, убить вальдшнепа на вечерней тяге. И все-таки после двух-трех дней скитаний, тоскливых и жутких ночевок то на полустанке, то возле деревни (ночевать прямо в лесу было боязно), я торжественно привозил домой пять-восемь светло-серых черноголовых петушков. Ружье Алексея Петровича донельзя раздражало. Било плохо, несло дробь пуль и всегда ниже цели. Лишь, порядочно постреляв, я понял его капризы. А ведь чего стоил каждый пустой выстрел! Улетала птица, тратился порох из отцовских запасов. На рынке за порох, за дробь надо было платить чуть ли не золотом или хлебом, которого у нас не было.

Отдохнув день-два, я снова убирался в лес. Охота становилась теперь единственной радостью. В лесу на время забывался голод, война, кашель бабушки. Здесь я чувствовал свою взрослость.

На лесистых высоких увалах весна задерживалась. Синий снег, усеянный хвоинками, долго лежал тут. От него веяло холодом, текли ручьи. До изнеможения набродившись неспорыми худокормными ногами по тягостной весенней жаре, я забивался на северные склоны. Отдыхал. Сиреневое небо цвело, голубело и зеленело в соснах. Шептался ветерок. Дышал истаивающий снег. И даже тонкий весенний свист рябчиков не насторажи-

вал. Я словно спал, укачанный шорохом сосен и раздумчивыми голосами птиц. В моей одинокой душе тоже что-то таяло, истекало ручейками, и было горячо, было трудно пробудиться. Я плакал и плакал...

Рябчик выбегал на снег задорным петушком. Иногда к нему слетала рыжая тихоня рябушка. Дружно бежали они по скипевшемуся надуву, клевали и одинаково замирали в тревоге, вытянув шеи. Иногда рябчик фуфыристо напыживался, опускал крылья. Красные брови ярко взбухали. Он танцевал и кланялся перед подружкой, и она приседала с куриной покорностью. А потом, довольно встряхнувшись, бежала прочь, и рябчик летом летел, догонял.

Мне нравилась тихая лесная жизнь. Я видел, как белки с брунжанием цепко носятся по сосновым стволам, как черноглазый бурундучок хлопочет на колодине у норы. Видел, как лесной подорлик таскает большие ветки и дрозд обмазывает глиной свое гнездо. Маленький зяблик звучно пел и рюмил у облюбованной березы.

Это была жизнь, а выстрелы прекращали ее. Я вторгался сюда, как война.

Однажды в знобкое раннее утро я увидел на высокой голой лиственнице у края обтаявшего покоса огромную птицу.

«Глухарь!» — вздрогнул я.

Подобраться к птице можно было только под прикрытием мелкого соснячка, отлого разбежавшегося по левую сторону покоса. Сосняк был ниже моего роста. Я сбросил неловкие сапожищи и пополз в сосняке, обдирая пальцы о жесткий снег. Полз, коротко взглядывал, замирал, прижимался к мокрому насту. Наверное, со стороны я походил на голодного злобного волчонка. Когда я подобрался на выстрел, в груди отчаянно стучало и в голове мутилось. Совсем как волк, я хватнул льдистого снегу и тихо-тихо стал поднимать ружье. Огромная птица была вся на виду, черно-седая, белобрюхая. Я положил палец на спуск, с тайным ознобом выжидая нужную секунду.

Вдруг глухарь, дотоле сидевший с тихим костяным пощелкиванием, забубнил что-то по-своему, заскрежетал, двинулся по сучку, величаво задрав бородатую голову. Он показался неправдоподобным — так бронзовело, переливалось на солнце его перо, бугрились отсю-

да видные брови, гордым, царственным вызовом глядел в небо раскрытый клюв.

Я замер, глядя на прекрасное лесное чудище. Веером развернулся его хвост и снова медленно угас, сложился.

— Ко-о-о, ко-о,— баском кокнула в стороне глухарка.

— Ко-о,— отозвалась ей другая по ту сторону поляны.

И тотчас радостно запел, заточил, заскрежетал глухарь... Вдруг он насторожился. Почуял что-то или заметил. Он склонил туго вытянутую шею. Сейчас нырнет вниз и полетит, быстро мелькая белым. Два человека боролись во мне.

«Стреляй! — вопил голодный. — Скорее! Улетит!»

«Нет! Нельзя! Слышишь?! Нельзя! Опомнись, ты, гад. Не стреляй...»

Я выстрелил.

Он повалился, сбивая сучья, и гулко ударился под комель сосны. Забился, захлопался и утих, реже и реже вздрагивая крыльями.

Я сидел, прислонив щеку к теплomu стволу ружья, сосал кровящиеся козонки пальцев... Потом прямо в носках пошел по снегу к оставленной сумке. Лишь через час, а может быть и больше, решился забрать тяжелую добычу.

В ту весну, проведенную в лесном одиночестве, я возмужал и одичал. Я выучился курить махру-самосадку, в вагонах ловко устраивался на буферах и сцепках, бегал на ходу по шатким теплым вагонным крышам, всегда пыльно-мазутным, пачкающим колени и руки. За весенней охотой началась рыбалка, потом пошла земляника, пошли грибы, клюква, и снова охота до поздней осени, пока все не закрыло глубоким снегом. С каждым разом лес щедрее одаривал меня, становился привычнее и ближе. Он уже не страшил меня вековой отчужденной угрюмостью, не пугал треском и скрипом. Я почувствовал себя хозяином и повелителем этих боров и опушек. Даже огромным, наводящим на душу невольный трепет, колоннам лиственниц я грозил в приливе храбрости: «Вот захочу и срублю!»

И все-таки, шагая с иной удачной охоты, сгибаясь под битком набитой сумкой, вместе с радостью удачи я нес неотступную, муторную тягость, я чувствовал себя подлецом, убийцей, который только что обобрал, огра-

бил кого-то дорогого, беззащитного и родного. Меня мутило от кровавого, порохового запаха сумки, от воспоминаний о выстрелах, трепещущих птицах и ошалелых, налитых болью и ужасом лесных глазах, которые смотрели на меня. И где-то в голове стоял истошный крик раненого зайца. Вы не знаете, как кричит раненый заяц... Он кричит: «а-а-а, ння-я-е, а-а-а...»

Все человеческое протестовало во мне, но со свойственным юности легкомыслием я пытался отмахиваться хотя бы тем, что люди всегда охотились, что охота — спорт, что сейчас голодно... И все-таки глухая мысль, утесненная на самые задворки, понемногу снова овладевала мной и говорила: ты не прав, нельзя убивать тех, кого любишь, нельзя стучать головой о ствол птицу, которой ты только что восхищался, нельзя радоваться мертвым, нельзя примирить живую красоту и убийство...

Тем горше были эти мысли, когда я отдыхал, ложился где-нибудь на косогоре, на обрыве реки, красной глиняной осыпью опускавшейся вниз, к воде. Я глядел на привольную рябь реки, на синие увалы, уходящую в бесконечность даль лесов, там, где они сливаются с кротким небом. Доброе, милое было здесь все: земля, трава, тучки и лес...

V

А война шла. Каждый вечер хрипучий заклеенный рупор дребезжал от салютов. Умерла бабушка. Взяли на фронт Алексея Петровича. Почему-то я едва не заплакал, когда увидел его в зеленой шинели — толстого, нелепого и даже словно улыбающегося.

Он помахал мне и закачался по улице своей обычной перевалкой. А я подумал, что, наверное, вижу его в последний раз...

В ту зиму мне, наконец, исполнилось четырнадцать. Благодаря большому росту и взрослому виду меня приняли учеником токаря на завод. Я страшно гордился перед своими бывшими одноклассниками, которые по-прежнему учились. Я позволял себе только что снисходительно замечать их, а на вопрос, как работается, что я делаю, солидно-взросло отвечал: «Ты что, глупый? Так я тебе и выложу».

Я убирал спиральную сине-радужную стружку, чистил станок, подавал заготовки, а через пару месяцев

точил бесконечные снарядные болванки. Я делал смерть. «Смерть немецким оккупантам!» — писали тогда везде; так было написано на прокопченном полотнище в нашем низком и грязном цехе, переполненном гулом, визгом, зудением резцов, заставленном станками, заваленном стружками и заготовкой. В мазутной железной тесноте мы постоянно набивали синяки, иногда засыпали над станками в ночную смену и вздрагивали от визгливой матерщины мастера, худого, доброго, промасленного старичонки Авдеева, которого за глаза звали Кошчем и Грызлом. Он следил за нами, как иная хлопотливая бабушка глядит за внучатами. И все-таки Мише Козыреву завернуло в шестерню руку, а моя соседка Наташа Климова просверлила резцом левую кисть.

Мы делали смерть. Смерть тем, кто оставил нас без детства, без хлеба, без отцов. Подчас, отстояв смену, вымотанный до полной одури, я выходил из проходной на мороз, брел к трамваю, медленно и глубоко дышал и думал: хоть бы не заболеть, ведь тогда не придется работать, и мои руки не будут им мстить. И часто-часто я представлял: снаряд, мой снаряд, с визгом накрывает бегущую орду солдат, взметывает облако огня и земли, и валятся, валятся эти, для кого не находилось людского имени, а одно лягушечье — «фрицы». Я закрывал глаза, и, как в кинохронике, всё падали — рвались, падали — рвались снаряды, снаряды, снаряды, вздымались черные астры взрывов.

Становилось легче, куда-то опускалась давящая горло тоска. Я чувствовал свою нужность. Я был участником войны.

Новая жизнь была, как сплошное нерассветное утро. Втиснутый в промерзлый, заиндевелый по заклепкам трамвай, я еду на завод. Мимо, в разведенных чернилах сумерек — пустыри, заборы заводов, вышки с колючей проволокой. Меня подпирают и толкают женщины, такие же подростки в грязных глянцевах ватниках, в вагоне пахнет мазутом, луком, ртами.

Нехотя, угрюмо светает.

Натужно ползет переполненный трамвай, буксует на подъеме. Тогда соскакивают, осыпаются облепившие его люди. Бранится возжатая. Скрипит снег. Бредут, почти обгоняя трамвай, колонны трудармейцев. Ватники. Стеганные штаны, обмотки, грязные ботики. Привязанные к поясу котелки. Тюремного цвета ушанки.

И на переезде уходит к западу эшелон с танками, такими, в общем-то, не страшными, зелено-одинаковыми, пустынными...

VI

Все это прорывалось кусками в памяти теперь, после войны, точно отпадала где-то новая штукатурка и открывалась копоть старой стены, ее трещины, дрань — следы былой жизни.

Первый раз я ехал в лес после почти трехлетней разлуки, ехал на весеннюю охоту. Остановилась война. Возвращались к себе люди. И снова человеческое, доброе прорастало всюду, как прорастает на пожарищах весенняя трава.

Теперь я снова учился. Жизнь налаживалась. Остановилась война...

Наверное, напоминали о ней какие-то деляги, уже второй раз проходившие с шапками по вагону. Оба пели одинаковым фальцетом. Им подавали. Они одинаково благодарили, теперь уже совсем другими, пропитыми голосами и шли дальше. Мне казалось, эти люди спрятались от себя и от всех за свой ненатуральный голос, за темные очки. Мне казалось, что и сам я прятался от себя всю войну, всю бесконечность четырех лет. Я встретил войну глупым мальчиком с игрушечным наганом, в коротких штанишках с лямками, а кончил уже тяжело набитый жизнью и растерявший свою детскость незаметно, как теряется зерно, по крупицам утекая из пробитого мешка.

Впрочем, все теперь побоку — так говорили тогда. Война кончилась. И я снова ехал в лес.

...Уже село солнце, но было ясно, светло. Тихо плавился безмятежный апрельский вечер. Заря светила в налитых водой колеях. Отражалось в них белое тело берез, редкие ветки осин, островерхая мрачность ельника. Краснополосый закат предвещал тихую ночь. Он вишневел и зеленел, истухая незаметно. На дороге воздух перемежался: то навевало вдруг холодом, то настоящим за день теплом из низины, и пахло водой, желтым цветом калужницы, водяными жуками. Дорога клонилась в ложок. Рядом с ней гулькал, лепетал, чиликал тихонько ручей, сливая остатнюю снеговую воду. В логу ручей прятался среди елей в хмурой островине. Певчий

дрозд — соловей глухого леса — уже пробовал там свой печально-звучный голос.

«Филипп, Филипп, Филипп,— ясно вскрикивал, выговаривал он.— Иди, кум. Иди, кум. Чай пить, чай пить. Выпьем, выпьем, выпьем. Ча-а-а-й, ча-а-а-ай».

Я перешел ручей по гальчатому звонкому дну и поднялся на бугрище. Голый осинник стоял по нему зелено-серой призрачной стенкой. Вальдшнепы пролетали вблизи. Шла апрельская тяга. «Цвик, цвик, цвик, кррр, кррр»,— то и дело раздавалось справа и слева. Долгоносый темный кулик, не замечая, налетел на меня и лишь над самой головой испуганно метнулся в сторону. Что-то странное творилось со мной сегодня. Я словно бы не мог, не хотел, сняв ружье, бежать под осинник, хищно согнувшись, как бегал раньше. Не хотел, ведя стволом впереди клюва, посылать блескучий в сумерках желто-синий сноп. Я ничего не хотел, кроме лесной тишины, лесных запахов, лесных звуков.

Я просто сел на обсохшее дерно, жесткое и мертвое. Сквозь его желтоватую пыльную сушь прощупывались кое-где живые, гибкие, холодные травинки. Я сидел и слушал певчего дрозда. Он так занятно выпевал, выговаривал с хрипотцой свои рулады, похожие на слова. Где-то очень далеко откликнулся ему другой певчий. В густом и тусклом свете заката с посинелых елей лилась ломкая песня зорянки. Заяц кричал в дальних лесосеках заливчато-однотонно. Я тотчас представил, как этот заяц сидит возле зайчихи и, томно глядя на нее, смиренную, рыжебокую, рыжеголовую, поднимается на дыбки, не в силах совладать с весенним томлением, толкает ее лапой и все нюхает, нюхает, двигая шерстистой губкой, пьянящие запахи зайчихи и весны.

Крупная ночная беловатая бабочка — березовый шелкопряд — парила недалеко возле голого куста и не отлетала. Я знал, что там уже где-то спряталась ждущая самка, призывно опустившая крылышки и напружинившая толстое брюшко. Шелкопряд не зря танцевал свой призрачный ниточный танец. Лес жил, шевелился, истекал свежим соком, дышал, ждал, любил — пробуждался от долгой зимней спячки.

Гулкий порх крыльев заставил схватить ружье. Рябчик вылетел на ольху неподалеку, уселся, качая веточки. На багровом фоне зари птица показалась необычно крупной. Машинально, как делал раньше, я поднял ружье.

Эхо гулко вернуло выстрел, раскинуло отголоски. Они замерли где-то за увалом. И тишина, нехорошая тишина устоялась вдруг.

«Опять убил»,— подумал я. Мне стало неприятно, как бывает во сне, когда поймешь, что сделал что-то ужасное, преступное и не можешь проснуться.

Я не хотел даже идти туда, подбирать добычу. Я был бы рад, если б промахнулся, но я знал, промаха не было, видел — рябчик комом упал под ольху. Не было слышно только обычного трепета умирающей птицы. «Намертво убил»,— морщась, подумал я и пошел туда. Глаза уже искали кучку серых перьев, но я ничего не увидел в сиреневых сумерках. Рябчика не было. «Промахнулся!» — радостью обдало всего, и тут рядом сорвалась, неловко полетела и упала птица.

«По ногам... обнизил,— подумал я, подбежав.— Рябушка!» — словно обожгло меня, когда я увидел голову птицы без привычного черного пятна.

Она лежала у березы и еще пыталась лететь, хлопала крыльями, но не могла подняться. Я взял ее в руки. Горячая трепетная лесная птица с карими глазами. Глаза смотрели с живым неосознанным ужасом. Перебитые ножки пачкали меня сочившейся кровью.

— Что же ты наделал? — прошептал я.

Птица замерла на руках. Только что-то стучало, билось в ней все реже и реже, вот уже с неровным ритмом, уже через раз. Вот смолкло. Остановилось... И тотчас судорожно сотряслось ее тело, бессильно повисла голова, напоследок встопорщился хохолок.

Я положил мертвую рябушку тут же под белое бедро березы. Пошел прочь. Я брел по дороге, в полутьме, словно оглушенный, и ноги по-слепому вели меня, не сбиваясь, пока полная темнота не скрыла лес. Слева от дороги робко синело. Я двинулся туда и скоро выбрался на лесную пустошь — кулигу с редкими деревьями. «Переночую здесь, а утром уеду»,— с облегчением подумал я.

Я наломал на ощупь сухих нижних веток. Зажег костер с намерением коротать ночь. Костер разгорелся быстро, но почему-то только мешал мне. Тогда я затоптал огонь и остался в полной тьме, черной-черной по краям кулиги и такой синей, сосущей душу на подъеме ввысь, к бесконечно далекому пожарищу небесных углей.

Ночи в конце апреля коротки и теплы. Лес вовсе не

затишает в них. А может быть, просто для обостренного ночью слуха так ясны шорохи, шаги, голоса. Шуршит трава. Хрустят ветки под тяжелой лапой. Пронзительно свиристит схваченная землеройка. Что-то фыркает. Что-то бежит вдалеке. На миг стихает все. Лишь голоса ночных пролетных стай слышатся от звезд. Серебряным свистом перекликаются кулички. Дико, удушливо вопит в глубине леса самец неясыти. Нечистой силой хихикает самка. И так всю ночь.

Часа через два небо над лесом начало бледнеть, голубеть. Новое утро творилось на востоке. Просыпалась, поворачиваясь к солнцу лесным щетинным боком заспанная земля. Новые голоса славили зарю. Дрозды, тетерева, журавли спешили сказать ей свое. И в холоде, в тумане, в истоме поплыли опушки, закутались вершины елок, зазвенели льдинки в ручье.

Уже бекас замелькал в голубеющем небе. И протянул последний утренний вальдшнеп. Золотая солнечная пыль сыпалась сквозь макушки; я шел обратно мимо пронизанных светом березняков, сквозь накрытые туманом низины, через песенки зябликов и крики дроздов. Шел, и старое ружье болталось на плече как лишняя тяжесть.

Тропа вывела к мосту, к реке. Широкий разлив, затопивший кусты, розовел, серебрился под белым утренним солнцем.

Я двинулся по шатким бревнам моста. Они колебались и зыбились, точно живые. На середине я остановился, боясь потерять равновесие. Пара светлых нарядных нырков вдруг взлетела от самого берега, сделав полукруг, пошла на зарю. По привычке схватившись за ружье, я сдернул его с плеча. Поглядел, как утки набирают высоту, а потом с внезапной решимостью махнул ружье в воду. Прочь...

Оно упало с громким плеском и тут же скрылось.

Струйка пузырей выбежала на поверхность воды, словно утонул кто-то живой. Крик петуха долетел из ближней деревни. Ему отозвался другой, третий. Они вопили проголодно и радостно, вещали ясный и свежий день.

Я ступил на твердую землю.

Подснежники

I

Охотники сошли с высокой неудобной подножки вагона. Под ногами захрустел свежий гравий насыпи. И сразу вместе с запахом этой насыпи, новых шпал и мазута пришел чистый сырой запах леса, с которым ничего другого не скажешь, а только: «Пахнет как! Воздух-то!» И глубоко-глубоко потянешь этот воздух, чтоб сильней насладиться, оставить в себе его свежесть. «А в городе сейчас...»

От этого запаха, тишины, воли, кроткого апрельского вечера и близкого леса было так ново, отрадно, что мальчик нетерпеливо топтался, глядел по сторонам, ему хотелось идти скорей, немедленно, а приходилось ждать, потому что отец и приятель его Арсений Михайлович закуривали, поправляли друг у друга рюкзаки. Мальчику недавно исполнилось тринадцать, он был высок, худ, ясноглаз, ноги высоко торчали из огромных резиновых сапог. На нем топорщилась короткая брезентовая куртка-штормовка и старая кепка неопределенного цвета, как будто бы раньше она была синевато-серой. Зато его опоясывал настоящий охотничий патронташ с медно торчащими из гнезд закопченными гильзами и на плече висело одноствольное ружье без чехла, очень потертое в казеннике и возле цевья. Мальчик хорошо знал этот полустанок, крашеный охрой облупившийся дом с надписью по белому «Сагра», дощатую платформу на той стороне поезда — с нее только садились, а здесь сгружались те, кто шел к поселку. Вот и сейчас все еще неловко сползали с подножек, выставляя голубые штаны, бабы-молочницы в плюшевых кофтах, как обычно, с бидонами, сетками с желтым хлебом, колбасой и прочей городской снедью. Женщин встречали девчонки, все какие-то на одно лицо, тут же ждали, сидя и стоя, две-три собачки, умно глядели, повиливая хвостами.

Близ насыпи по палевым наледям шла неглубокая вода — речка. Через нее бревенчатый мост-настил, кое-где проломанный, дорога, а дальше пологий и безмерно широкий увал — Толстик, по краю которого вразброд и

косо разбежались избы, бани, постройки станционного поселка.

По-весеннему было неприбрано везде: желтела в навозной дороге солома, грязно лежал обочь скипевшийся, обсосанный солнцем снег, лес за поселком сквозил и рябил, лишь дальше по увалу он уплотнялся, синел и голубел, а небо над ним еще было отчужденно-северно, просквожено ветрами — оно и сейчас напоминало о недавно отступившей зиме. Зима в этом году была лютая, с такими снегами и заметами, что мальчик едва дождался весны. Казалось, снег никогда не стает. Весна двигалась медленно. Был уже конец апреля.

И мальчик вспомнил, сколько он ждал этого мгновения. Всю зиму об охоте велись разговоры и составлялись планы, куда пойти, обсуждаемые подробно. При этом вспоминались все случаи, бывшие раньше на охотах, тысячу раз уже рассказанные, но отец не то забывал, не то просто любил повторять, а мальчик не менее любил слушать и, зная наизусть даже каждую отцову интонацию и подробность, ревниво следил, чтоб отец не упустил ее. Был в этом некий непонятный приятный смысл.

А ближе к весне, вечерами, точнее уж ночью, сиделись заряжать патроны. Отец делал это торжественно и обстоятельно. Выдвигался из-под стола сундучок с припасами, отворялась крышка, и на стол из крепких запахов ружейного масла, дробы и пыжей доставались банки с порохом, коробки с гильзами, закрутки, пуансоны, барклаи, тяжелые мешочки с дробью и с картечью, картонки с медными капсюлями «Жевело» и с весело блестящими латунными пистонами. Некоторые банки были старинные, с наклейками и двуглавыми орлами, на иных дугой шла надпись: «Шлиссельбургский императорский заводъ. Порохъ жемчужный». Бог знает, откуда остались эти красные жестянки, но отец бережно их хранил, как необходимую тару, и мальчик любил их тоже. Потом на столе водружались аптекарские весы и золотниковые разновески. Отец не признавал граммов при взвешивании пороха и дробы — а только эти маленькие гири с приятным названием «золотники» и «доли». Порох, как часть заряда более ответственную, взвешивал сам, дробь доставалась мальчику. А между делом — пока чистили гильзы, вжимали в гнезда медные капсюли (красной меди), пока гильзы заполнялись порохом, за-

пыживались, насыпались дробью — опять шли рассказы-воспоминания об охоте: зайцах, косачах, вальдшнепах, почевках, необыкновенных выстрелах, удачах, встречах со змеями, медвежьих следах, ружьях — мало ли еще о чем. И неизвестно, что составляло главную прелесть этой подготовки — рассказы или медный строй заряженных патронов, который являлся уже за полночь. Тогда отец и сын укладывали снова все в заветный сундучок, шли в кухню мыть руки, иногда пили там чай вдвоем под шелканье кухонных ходиков и расходились спать вполне счастливые.

Все это вспомнилось сейчас.

Они перешли настил с безжизненно идущей под ним желтой водой и по мокрому кислому проселку стали подниматься на склон увала. Дорога вела единственной кривой улицей, мимо распахнутой двери магазина. У его нового крыльца по-вечернему толклись мужики и стояли плотные девушки в резиновых высоких сапогах, в цветных платочках. Они внимательно глядели на охотников густо подведенными провинциальными глазами, а мальчику даже подмигнули, на что он, нахмурясь как можно суровее, поправил на плече брезентовый ремень длинностволого ружья и еще громче захлопал голенищами широченных сапог. Ему очень понравились эти взрослые красивые девушки и тягостно хотелось оглянуться. Отца же и Арсения Михайловича, как видно, не задевали девичьи ухмылки, а больше интересовали скворцы, по-вечернему уже слетевшиеся в поселок. Скворцы скрипели, мяукали, высвистывали свое радостно-весеннее, шепелявое, сидя на проводах, по столбам и скворечницам, везде мелькали их юркие фигурки, треугольно-черные на розовом к закату небе.

За поселком, за пряслами огородов, за первыми оголоданными березнячками все людские звуки стихли и открылось неогороженное кладбище — десятка два пошатнувшихся во все стороны крестов и голубцов на недавно обтаявших могилах. Эти кресты почему-то не вызывали здесь ни скорби, ни печали, как на городском кладбище с его теснотой, оградками, венковым тленом, — они даже вполне сочетались с этой ранней весной, пригорками, тощим березнячком, холодно-матовым небом и глинистой дорогой, по которой еще бежали плоские дневные ручьи. Хорошо было шлепать прямо по ручьям, по намытому движущемуся песку и, оборачиваясь, смотреть,

как затекает, заносит золотыми песчинками рубчатый след сапога и вот уж нет его — все угладило, а ручей так же плавно-неистошимо катит под гору, стремясь, должно быть, к той речке с желтой ледяной водой. Ручей не может без реки...

На опушке под лесом все трое остановились, торжественно достали ружья из чехлов, сложили каждое со своим шелканьем, зарядили, а ружье мальчика было без чехла, и он зарядил его первым. Гильза плавно ушла в промасленный чистый патронник. Потом постояли, каждый по-своему наслаждаясь тишиной, сырым воздухом, звуком ручьев и редкими голосами птиц. И опять по-особенному дышалось здесь — не так, как на разъезде и в поселке, — еще чище, сырее был аромат мокрой земли, веток, почек, пней, прошлогодних листьев и еще чего-то очень тонкого, остро-свежего и весеннего.

— Подснежниками пахнет, — сказал вдруг Арсений Михайлович, и мальчик благодарно посмотрел на него, потому что Арсений Михайлович нашел и выразил то, о чем он только подумал. «Подснежниками пахнет, — повторил он про себя. — Как хорошо... Подснежниками...» Ведь с подснежниками, с их желтеющей, нежно-фиолетовой и ворсистой чашечкой всегда связывалось у него ощущение солнца, улыбки и оттаявшей лесной жизни.

А отец сказал, что никаких подснежников еще нет. Рано. Холодно. Весна затяжная, и снегу вон сколько. На северных склонах по увалам и вообще по пояс. Утки еще только что прилетели. Слышал. А вальдшнепы — вряд ли. «Подснежники!» — отец с усмешкой поглядел на своего приятеля и на сына. Отец был крепкий с квадратными плечами мужчина, из тех, кто никогда ни в чем не сомневается, все высказывает просто, определенно и верно. Даже курил он столь же уверенно, с видимым наслаждением, как бы давая и этим знать, что папироса на то и есть, чтобы ее хорошо выкурить, отдуться и, бросив, придавить окурок, тоже очень определенно, носком крепкого ялового сапога. Резиновых сапог на охоте отец не признавал, ходил всегда в яловых, которые задолго, перед тем как идти, смолил, промазывал, жировал приятно-душной ворванью, дегтем и свиным салом и, возвращаясь, надевал на деревянные колодки, чтобы не ссыхались и не коробились. И мальчик любил эти отцовы сапоги, потому что с ними связывались все его мечты о лесе, охоте, ночевках и выстрелах. Мальчику тоже хоте-

лось курить (в кармане была припрятана мятая пачка «гвоздиков», которыми баловались на переменах зимой в уборной, а весной и осенью за углом школы), но лучше сказать — ему не столько хотелось курить, сколько быть равноправным в компании взрослых. Он пощупал пачку в кармане, хотел было достать, но взглянул на отца и раздумал.

Арсений Михайлович не стал спорить с отцом. Он вообще казался не из говорливых и не столько курил, сколько нюхал воздух, хмыкал, оглядывался, снимал и протирал очки-пенсне, укреплял их на носу, отчего становился похожим на кого-то из больших русских писателей. Глядя на него, трудно было поверить, что этот тощий, сутулый человек прошел всю войну, закончил ее в Праге, изранен, хромает. Никак не вязались с военной службой его донельзя штатские очки, худоба, тусклая седина из-под вислой шляпы, похожая на блеск промасленной проволоки. Мальчику казалось, что если Арсений Михайлович и был на войне, то лишь где-нибудь на тыловой должности вроде писаря, библиотекаря, капельмейстера, или вот есть еще такая нелепая военная должность — каптенармус, всегда почему-то звучавшая для мальчика однозначно со словом «примус». Вот то, что Арсений Михайлович — учитель, не подлежало сомнению. Учительского в нем было много, и даже не просто учительского — гимназического. В каком-то кино по Чехову мальчик видел точно такого учителя гимназии — вылитый Арсений Михайлович. Может быть, поэтому мальчик редко, заинтересованно и немного неприязненно взглядывал-косился в сторону Арсения Михайловича, но так же быстро и опускал глаза.

Как только тронулись по дороге в лес, мальчик тотчас пошел вперед и ушел далеко, очень довольный, что его не окликнули и не вернули. Он шагал по мокрой дороге с ружьем на изготовку и радостно глядел, думал, ждал, вот-вот увидит какую-нибудь птицу — то, что именуется дичью: рябчика, тетерева, глухаря. Именно глухаря. Он очень его ждал, представлял еще зимой и ночами, как глухарь вылетит у дороги низко и грузно, как потянет в чащу и надо будет, вскинув ружье, вести медный шарик — мушку впереди, а потом выпалить, бежать подбирать. Мальчик знал охоту, привык ходить с отцом даже «просто так» — без ружья, а потом с этой длинностволой ижевкой «системы Ивер-Джонсон», как

пышно называл ее отец, а мальчику она просто нравилась своей тяжестью, запахом ружейного масла, начищенным, сияющим круглыми кольцами каналом ствола и тем, как ловко ружье принимало патрон. Не нравился ему только выстрел. Мальчик всегда зажмуривался в последний момент, когда ружье грохало-прыгало в руках, и потому, наверное, часто мазал даже по сидячей. Он огорчался, если птица улетала, но скоро и утешался, потому что вид трепещущей простреленной птицы, у которой из клюва тяжело каплет кровь, всегда больно колол его, заставлял сожалеть, вздрагивать и отворачиваться. А птица и ее глаза долго представлялись и даже снились ему потом. И все-таки, повторим, он любил охоту. А сегодня ему было особенно хорошо, ведь еще тогда, дома, он упросил, договорился с отцом, что будет ходить в лесу один, охотиться сам по себе. Зимой ему наконец исполнилось тринадцать, пошел четырнадцатый, а именно с четырнадцати отец обещал разрешить охотиться самому. И отец всегда держал свое слово. Зачем только он взял на охоту еще и Арсения Михайловича? Раньше ходили только вдвоем...

Уже через полчаса ожидание глухаря прошло (глухари всегда вылетают и показываются как раз тогда, когда их не ждешь), и мальчик больше любовался тем, что открывалось ему за поворотами дороги, выходя из-за них осторожно,— так учил отец. Лес был разный, молодо-живописный по-весеннему. Дорога то прибивалась к покосу-поляне, едва зеленеющей, кругом в темно-синих елях, то шел сквозной, легкий, сиренево-светлый березняк. Свет заката падал сюда, и вершины, верхние стволы и ветки теплились розово и красно, а в подножьях синели холодные тени. Дорога выбегала на пригорки, где уже все обтаяло, обсохло и росли огромные лиственницы. Они неприступно возвышались над мелким лесом и точно знали что-то, таили это в себе, мудро и одиноко, над лесом и закатом.

Чем темнее становилось, тем таинственнее лес глож, дичал, уплотнялся и затаивался в туманах. Они уже вставали над полянами и в опушках. Неведомо откуда родилось белое неподвижное курево, и душа мальчика, одиноко шагающего по дороге, переполнялась трепетом при виде этого на глазах творящегося тумана. В ельниках и низинах он окутывал лес до вершин, и они волшеб-но выступали из него и над ним черными треугольными

венцами меж проглянувших звезд. Так было справа от дороги, а слева, где за лесом в три цвета полыхал закат, еще величаво пели дрозды, перекликались недавно прилетевшие зяблики, устраиваясь на ночевку, и не было видно звезд, только Венера горела сильно шести-лучевым белым огнивом, и мальчик часто смотрел на нее. Сколько лет ходил он на охоту весной, и всегда на западе сияла Венера, лесная охотничья звезда — мальчик знал, что она планета, но в лесу ее хочется называть звездой, и отец всегда называл ее так.

Отец и Арсений Михайлович шли далеко позади, мальчик лишь изредка слышал их. Он все еще досадовал, что отец взял на охоту этого Арсения Михайловича. Мальчик и раньше-то недолюбливал его. Может быть, потому, что, когда отец шел на охоту с Арсением Михайловичем, он не брал сына с собой. Арсений же Михайлович вечно опаздывал, появлялся, когда отец, исчерпав терпение, уже стоял на улице, у ворот, во всем снаряжении, и мальчик досадовал-негодовал вместе с ним, а может быть, больше его. Если Арсений Михайлович являлся вовремя, обязательно он что-нибудь забывал и приходилось искать забытое, еще хуже, если это обнаруживалось на охоте. Так, однажды он пришел без патронташа, в другой раз забыл дома ружье, в третий не надел сапоги — явился в штиблетах (ну-ка попробуйте в штиблетах по апрельскому лесу). Почти всегда, придя к ним домой, Арсений Михайлович плачевно морщился и просил соды: у него постоянно была изжога, отец рылся в шкафу среди пузырьков, ругался, почему Арсений Михайлович не носит соду с собой, раз она ему так нужна, и, когда они, наконец собравшись, уходили, мальчик испытывал большое облегчение. Только одно удерживало его от проявлений непочтения к Арсению Михайловичу — он был фронтовым товарищем отца и, кроме того, вы уже знаете, он был учитель. Учитель математики! По алгебре и геометрии у мальчика было куда как худо... Арсений же Михайлович любую задачу решал с такой быстрой уверенностью, что оставалось лишь восхищенно сопеть. Трудных задач для него не существовало. В остальном Арсений Михайлович казался робок, целиком подчинен отцу, неуклюж, смешон, и не будь у него этого пенсне, казался бы молчаливо-глупым.

Часа через полтора ходьбы мальчик устал, и голоса Арсения Михайловича и отца приблизились, стали слыш-

ны их шаги, и в это время впереди открылась не то широкая заброшенная трасса, не то выборочная старая лесосека. Осинник метра в три-четыре высотой, зелено-серый и прозрачный, сплошь покрывал ее, а в самом осиннике чернело несколько отдельных елей. Мальчик знал это место. Здесь всегда была хорошая вальдшнепиная тяга, и, едва подумав об этом, он тотчас увидел, как навстречу ему, над вершинами осин, летит крупная (так казалось) птица с длинным опущенным клювом. Она пролетела близко и безбоязненно, а он вспомнил про ружье, когда птица была уже далеко и лишь донеслось ее глухое побрякивание.

— Вальдшнеп же! Что не стрелял?! — окликнул отец.

Но мальчик только сконфуженно махнул, отвернулся. Он и сам не знал почему... Просто так. Смотрел...

— А хорошо он налетал-то! Чисто, — оживленно говорил отец, подходя. — Давайте-ка здесь зорю постоим. — И тотчас начал снимать свой тяжеленный рюкзак, где всегда было все нужное и даже не очень нужное в лесном походе. Отец к охоте готовился обстоятельно, предусмотрительно. Задолго составлялся длинный список — что взять, отмечался карандашными крыжиками, уточнялся и дополнялся.

— Тогда... Я вот тут... Тут останусь, — как всегда отрывисто, сказал Арсений Михайлович и, делая идиотское лицо, стал водружать на нос только что протертое платком пенсне. Надевая его, он разевал рот, отпачивал нижнюю челюсть и боязливо моргал мокрыми глазами. Посадив очки на переносицу, Арсений Михайлович всегда еще пожует, точно вкладные зубы вставит — убедится, хорошо ли. Но лицо его после этого тотчас станет замкнутым, а глаза прищуренно-зоркими.

Отец поспорил было, что на дороге стоять незачем, потом усмехнулся, указал мальчику направо вдоль осинника, а сам, взяв свое тяжелое ружье — бескурковый зауэр (такого ружья, по мнению отца, любившего все добротное и исключительное, конечно же, ни у кого не было), пошел вверх по склону вдоль осинника, куда улетел и вальдшнеп.

— Подальше отойди! — донеслось мальчику. Но мальчик и сам этого хотел — стоять на тяге одному.

Он спустился вдоль осинника до сырой мелкой ложины, огляделся и встал у широченного черного пня, обросшего брусничником. Пень остался от старого леса и,

по-видимому, от лиственницы — иначе не был бы так огромен и крепок: лиственница, как дуб, лишь чернеет от дождей и времени. В ложине было тепло, остро проникал в нос весенний дух оттаявшей земли, пня, осин, старых листьев и свежих почек, «Подснежниками пахнет!» — вспомнил мальчик и опять благодарно огляделся, прислушался. Охотничий азарт томил его, Но теперь мальчик был один, и ему становилось немного боязно, как-то глухо.

Уже стемнело внизу, и уже повторялся в стынушем лесном оцепенении рассыпчатый свист ночницы-зорянки. Она пела в глубине осинника с завораживающими переливами. Может быть, сидела она на одной из темных одиноких елей. Мальчик слушал. Далеко в чаще откликался зорянке еще кто-то похожим переливчатым юрчаньем. Мальчик знал зорянок и подумал, почему эти большеглазые птички с подпаленным оранжевым зобиком прилетают именно сюда, в этот глухой осинник, как находят его среди бесконечных пространств и лесов и что заставляет их быть тут всякую весну, петь на ночной заре, словно бы в какой-то жалобно-прекрасной отрешенности и безвестности.

«Цыть-цвинь-цинть-тръл-ю-ю-и...»

И тишина.

«Цыть-цвинь-цинть-тръл-ю-ю-и...»

И снова тишина.

И мальчик подумал, что без этого лесного голоса, пожалуй, не было б здесь ощущения весны, потаенной жизни, дремотного и невидного пробуждения во всем, что так волновало и настораживало его, а была бы тишина и одичание. Хорошо, что зорянки поют. И еще он подумал, если налетит вальдшнеп, искать его будет почти невозможно — так быстро темнеет и хорошо видно только вверху по голым и розовым макушкам осин, а внизу уже сине, фиолетово, лишь нестаявший снег белет кое-где островами.

Вальдшнепов не было. Мальчик взобрался на пенек — так показалось удобнее, светлее и тверже стоять. Вздрыгнул — вблизи оглушительно грохнуло: бац-бац! Палил Арсений Михайлович. Спустя короткое время в ложину потянуло тяжелым пороховым дымом — запахом охоты и подстреленной птицы. И снова там сдвоило: бум-бум! — даже было видно огонь.

«Хорошее место захватил, — с противной самому себе

завистью подумал мальчик.— Дублетом жарит... Конечно, убил. Наверное, двух уже...» И вспомнил, как отец однажды двумя выстрелами сбил двух вальдшнепов, гнавшихся друг за другом. «Хорошее место... Там бы и стоять... Вальдшнеп тогда на меня летел... Я первый увидел... Зачем отец взял этого Арсения Михайловича? Шли бы лучше вдвоем». Было неприятно ему, как после проигрыша в дурака пять раз подряд или, например, в шахматы, когда тебя с улыбочкой вдруг начнет обставлять какой-нибудь пятиклашка. Проигрыши вообще запоминаются едко. Пока он досадовал и смотрел в ту сторону, где был Арсений Михайлович, прямо над ним пролетел вальдшнеп и, запоздало вскинув одностволку, понимая: «Далеко! Безнадёжно!»— мальчик все-таки выпалил, зажмурясь в последний момент. Вальдшнеп скрылся незадетый.

Тотчас прогрохотал Арсений Михайлович, опять дублетом, а потом густо бухнула бескурковка отца. Мальчик думал, что отец, должно быть, убил вальдшнепа. Так показалось. А потом он перестал считать выстрелы. Ну и пусть...

Верхушки осинника уже сливались в одну серо-сиреневую полосу. Заря ослабела. А небо придвинулось. В лицо потянуло снегом и холодом. Ночь надвигалась, и смолкали зорьки. Реже и реже рассыпалась звенящая трель. Вот и она смолкла, и слышно стало только ручьи и какие-то слабые, бесконечно тихие шорохи, шелестенье. Может быть, так растет трава. Вальдшнепы пролетали еще (может быть, они вообще летают всю ночь), но их уже почти не было видно: так, нечто дрожащее, смутное — не знаешь даже во что стрелять, близко или далеко. Но мальчик упрямо ждал теперь уже с ружьем, упертым в плечо. Ему очень хотелось прийти с убитым вальдшнепом, нести его, держа за холодные жесткие дичинные лапки, рыжеватую птицу с приспущенными крыльями и болтающимся долгим клювом. Хотелось и рассмотреть и погладить этого неубитого вальдшнепа, у него такое гладкое беловатое и как бы утиное брюшко, с легким крапом по бокам и толстая голова с далеко отставленным удивленно-круглым ночным глазом. Ради этого вальдшнепа, а может быть, еще и желания утвердить себя в звании охотника, не отстать, оправдать уважение к своему жалкому ружьишку, мальчик стоял на пне, пока не затекли руки, и был, конечно, очень смешон

в этой глупой монументальности. Но смеяться было некому, кругом лес, темнота и заря, которая уже дотлевала, зеленела и глохла.

Лишь когда слышался голос отца, мальчик откликнулся, слез с пня, надел ружье на плечо и медленно пошел, не разочарованный, а только лишь неся свою неудачу, ожидая увидеть у отца и Арсения Михайловича по связке убитых вальдшнепов. Правда, он знал, на тяге много не убьешь: два — удача, три — и вовсе хорошо. Когда он подошел к дороге, отец и Арсений Михайлович курили в темноте, положив ружья на рюкзаки.

— Убил? — спросил отец.

— Не-а... — отозвался мальчик. — Одного, кажется, подранил... Не налетали... А вы?

— И мы так же... — Отец с лукавинкой улыбался, затягивался папирсом, отчего лицо его становилось похожим на лицо краснокожего. Арсений Михайлович мерцал очками, помалкивал, а потом вдруг точно прорвался, начал горячо убеждать, что сбил двух, но нет собаки, не найдешь, и такая досада — ясно видел, как вальдшнепы падали. Мальчик тотчас вызвался поискать, пошарить, спрашивал — где? — хотел идти, но Арсений Михайлович удержал его, и мальчик засмутился, понял, как легко его провели, и, сердясь уже на себя и на Арсения Михайловича, подумал: «А палил-то! Мазила... Двух! Странно только — почему отец впустую... Он ведь удачливый, и стреляет хорошо».

— На тяге много не убьешь, — заводил отец на любимую тему, — одного-двух...

А лицо у него было довольное, в сумерках загорелое — темное. Отец всегда весной загорал на удивление, с охоты приходил черный, осунувшийся, заросший, пропахший лесом. Мальчик любил его такого, любил ждать у ворот, бежать навстречу, едва он покажется в конце улицы, помогал снимать сумку, радостно суетился: в рюкзаке почти всегда помимо рябчиков, зайцев, уток было что-то ему — пучок вербы, подснежники, обернутые в бересту, водяной жук в спичечной коробке или ящерица в банке из-под горчицы...

— На тяге много не убьешь...

— А вот и нет! Нет! Не согласен... Ты это... Подожди. Можно... Множество... Но совершенно необходима собака. Спаниэлька... Легавая... На худой конец — лайка...

— Это почему лайка на худой конец? Да лайка —

лучшая собака. Я свою ни на какого пойнера-сеттера не сменяю. Лайка — универсальная собака. По птице, по зверю...

— Подожди... Подожди... Легавая собака... Кха-кха-кха... — Арсений Михайлович закашлялся, из папиросы летели искры. — Ведь я не... Кха-кха-кха... Ведь я... Вообще... Я бы... Но где взять собаку? Да... А все-таки, — Арсений Михайлович как-то успокоился, — а все-таки прекрасная охота, друзья мои! Чудо! Стоишь тут... Лес. Заря. Воздух. Все дышит... Дрозды кричат... Букашечки разные летают. И эти птицы... Даже выстрел прекрасен... Гулок... Округл как-то. Стоишь и чувствуешь себя таким... Тургеневым, что ли. Эти писатели-дворяне знали толк в охоте... Недаром. Помните, у Толстого в «Анне Карениной»: «Тяга была прекрасная... Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском...» Ведь как точно! Венера, вот она! Именно на западе...

Все трое посмотрели туда, где поверх елей и верхушек осин все тем же белым огнем блестела-горела-переливалась она, и было в ней нечто женское, трепетное и весеннее. Звезды тоже стало видно, хоть совсем и не так, как в осенние черные ночи. Слишком много света еще оставалось в медленно синеющем небе, и даже звездочки Большой Медведицы мерцали неясно. Медведица была прямо над головой.

«Неужели Толстой точно так же стоял когда-то на дороге у осинника в ночном лесу и так же чувствовал все, понимал небо, звезды, траву и березы, свет Венеры в ветках осин?» — мальчику опять стало привольно-хорошо, точно он приобщился к нежданно высокому, а досада на свою неудачу и на Арсения Михайловича словно бы прошла.

II

До избушки добирались долго. Уже совсем была ночь. На севере лишь белело. Лес заглох и потерял очертания. А звезды выступили яснее и шли, шли за мальчиком, так что глядеть на них подолгу становилось жутко. Мальчик спотыкался позади всех, и его все тянуло обернуться, а когда он поворачивался, не становилось спокойнее — хотелось обернуться еще и еще. Только с усталостью прошел страх, и дорога наконец вывела на

вырубку, всю в густейшем сосняке, в темноте казавшемся непролазным. Где-то здесь была скрыта их избушка. Потому что теперь построй ее открыто, хоть в самом дальнем месте,— найдут туристы, грибники, охотники и просто шалые оголтелые люди, которые бродят весной и летом по лесам неведомо зачем. Этих-то непонятных людей отец боялся больше всего, от них прятал лесное жилье. В последней их избушке (строили вместе с мальчиком) шалые люди разобрали на дрова крышу, изрубили дверь, выбили оконце, а пол загадили. Вот какие они бывают — трудно даже сказать — люди. Кто таких родит?

На середине вырубки отец осмотрелся, нашел какую-то ему известную приметку, велел сыну и Арсению Михайловичу ждать, а сам сошел в сосняк, утонул в нем, только изредка доносилось шуршанье травы и хрупанье снега.

Отец скоро окликнул их.

Охотничья избушка! Кто не видал их или видел в кино, непременно представляет ладные бревенчатые стены, добротные двери, печь и лавки. Может, такие избы и есть где-нибудь в Сибири, в северной стороне. А у них было совсем первобытное жилье: шалаш не шалаш, землянка не землянка — нечто вроде двускатного бревенчатого балагана, вросшего в землю и крытого дерном. Хорошо, что спереди еще была дверь, обычно в такие «избушки» влезают через дыру в крыше, и эта же дыра служит дымоходом. А тут была помимо двери даже труба из мелкого плитнякового камня. Вот такое сооружение и чернело на крохотной прогалине, среди тонкого сырого снега, испятнанного лосиными следами. Отворив дверцу, отец посветил фонариком, полез, соля и кряхтя. «Все хорошо!» — раздался его приглушенный голос. И сейчас же там затрещала береста, запахло берестовым дымом и смоленьем. Дрова заранее были наложены в очаг вместе с растопкой. Отец всегда оставлял в избушках сухари, сахар, соль, спички, дрова и растопку. Иногда он приносил мальчику эти лежалые окаменелые лесные сухари, и мальчик с удовольствием вспоминал, какие они были крепкие, клеклые, как пахли лесом и охотой.

А через полчаса уже пили чай, сидя на бревенчатых нарах. В избушке было темновато, дымно, очаг плохо горел, но это не мешало отцу на все лады расхваливать

его, и чай, и самую избушку. Она на охоте — первое дело. У отца все — первое дело: ружье — первое дело, порох — первое дело, чай — первое дело, сухари — тоже. Второго дела у него не бывает. Арсений Михайлович снял очки и уже не походил на какого-то русского писателя, лицо у него стало беспомощное, запалое и виноватое. Чай он пил глубокими редкими глотками, отдыхая после каждого и словно бы прислушиваясь к себе. Изредка он поддакивал отцу, но больше горбился и молчал. Отец же говорил много, оживленно, рассказывал (в двадцатый раз), как нашел место для избушки, как строил ее, пилил и таскал пальник (тут недалеко гарь есть, лесу свалено полно, а обугленный он даже лучше — не гниет под дерном). Отец как-то всегда и во всем умел увидеть, найти лучшую сторону, чему-то радоваться искренне и долго.

Мальчик слушал молча. Сейчас обнаружилось, что он очень устал, едва сидел и хотел спать, как маленький, глаза закрывались сами, и голова клонилась. Но когда улеглись на сыроватое сено и отец тотчас громко захрапел, мальчику спать расхотелось — то ли слишком напился густого чаю, то ли непривычно дымно, жестко, неудобно. А отец похрапывал — ему ничего не стоило уснуть где угодно, лишь бы приклонить голову. Отлежав руку, мальчик заворочался и сел, ощущая, как рука отходит и ее приятно покалывает. Он смотрел в очаг, там еще что-то горело слегка, вспыхивало, гасло, шаяло.

— Не спишь? — шепотом донеслось из угла. Арсений Михайлович приподнялся.

— Нет... Не хочется...

— О! Совсем?

— Совсем не хочу...

— Пойдем смотреть ночь?

— Как?

— Подымайся!

Арсений Михайлович встал, надел очки, полез из двери, должно быть, на четвереньках. Следом быстро выбрался мальчик.

Какая свежая черно-синяя ночь стояла над этой порубью! Точно серебристая мантия волшебника, светилось по зениту небо, и на этой жемчужной пороше еще ярче, торжественней блестели колдовские знаки созвездий. Небо было так близко, что казалось осязательным, и

сама тьма вокруг, мягкая и холодная, казалась осязаемой. Мальчик смотрел, закинув голову на бесчисленные звездочки Млечного Пути, и вдруг с неведомой пробуждающейся ясностью понял, что это живой мир, бесконечный и трепетный, полный движения, жизни и какой-то расширяющейся, уходящей в пространство тайны.

— Магелланы!— сказал Арсений Михайлович.— Мы с тобой сейчас — Магелланы. На берегу бесконечности... Что такое бесконечность? А вот она — перед тобой. Прекрасная бесконечность... В одной Галактике сто пятьдесят миллиардов звезд — в нашей Галактике... А там их... Галактик... Уже открыты миллионы. И сколько там солнц... Каких... Сколько планет, океанов, материков, зверей, невиданных существ... Неоткрытые Африки... Незаселенные Америки... Чудесно... Подумай! Может быть, на одних планетах еще только травы... Степи с цветами. А на других — ящеры и уродливые носороги. И все там... В бесконечности... Ты созвездия знаешь? Ну, какие-нибудь?

— Плохо...— сказал мальчик.

— Ну, какие-нибудь?— повторил Арсений Михайлович.

— Большая Медведица...

— Да... Хм... Ну, что ж... Вот она, Медведица... Видишь... Почти в зените сейчас. Конечно... Прекрасное созвездие. Украшение нашего неба. Ты знаешь, что все звезды в нем названы? Нет? Гляди... Крайняя угловая в ковше. Видишь: самая яркая, альфа,— это Дубге... Единственная в созвездии желтая звезда-гигант. Сравнительно холодна — вроде нашего Солнца, только много больше. Итак — Дубге. Нижняя под ней — Мерак. Другая нижняя в ковше — Фекда. Вверху над ней, послабее прочих,— Мегрец. Это ковш. А теперь ручка, хвост то есть. Считай от ковша — Алиот, в центре повыше — Мицар. Запомни эту звезду — Мицар. Скажу о ней еще... Последняя в хвосте — Бенетнаш. Наверное, ничего не запомнил? Так их называли арабы-звездочеты. Самая близкая к нам, последняя хвостовая звезда — Бенетнаш... Пятнадцать световых лет... А самая далекая, ближняя к ковшу — Алиот, до нее свыше шестидесяти. Целую жизнь надо лететь со скоростью света... Алиот и самая большая звезда из семи... А вообще-то, друг, в созвездии этом не семь звезд, а сто двадцать пять. Видишь — поменьше рассыпаны у ковша. Да и ковш ли это? Одни

народы называют арбой, другие — повозкой, третьи — еще как-то...

Мальчик молчал. Сильнее вглядывался в семи-звездную запредельно мерцающую Медведицу. Он любил ее с малых детских лет, всегда помнил над своим домом и про себя называл ковшиком и кастрюлькой.

Арсений Михайлович тоже помолчал, как бы убеждаясь, что его слова не пропали даром, и продолжал:

— Кстати, ты знаешь, что звезды движутся? Только они слишком далеки да слишком коротка наша жизнь, чтоб это заметить. Что жизнь — история коротка, чтоб заметить их движение... И все-таки... Миллион лет назад, если жили тогда первые люди, они видели совсем не такое небо... Не такое, друг. Даже сто тысяч лет назад вид у Медведицы был не таков... Видишь ли, крайняя хвостовая звезда Бенетнаш летит как бы вниз, а Дубге — верхняя в ковше — почти в противоположную сторону. Через сто тысяч лет Медведица будет похожа на совок с обломленной ручкой... Ты бы хотел прожить сто тысяч лет? Я бы хотел... Интересно... **СТО ТЫСЯЧ ЛЕТ!** Непостижимо. Какая будет земля? А люди? А жизнь? Сто тысяч... — Он вздохнул... — А хочешь еще о Медведице? Ты запомнил звезду в средней части ковша, повыше других? Это Мицар. По-арабски — конь... А над ней... Ну-ка, смотри... Не видишь ли близ нее маленькую звездочку? Чуть выше и левее... Чуть выше и левее...

Мальчик смотрел и действительно увидел над Мицаром выше и левее еще одну слабую звезду.

— Вижу! — глухо сказал он.

— Видишь? Ах, молодец! Так в древности у воинов проверяли зрение. Те, кто видели Алькор, были самые зоркие. Так вот — это Алькор. По-арабски — всадник. Алькор и Мицар — двойная звезда. По-видимому, Алькор вращается вокруг Мицара, но с очень длинным периодом... Итак, это двойная звезда Алькор-Мицар. Всадник и Конь. А знаешь, огромное количество звезд — двойные, тройные, вообще кратные. Да, да. В телескопы это видно... Или по спектрограмме. Можно даже сказать, что одиночные звезды — исключение, а двойные — общее правило. И, может быть, у нашего Солнца была когда-то подруга Звезда, но вот погибла, распалась, остыла, и из нее образовались планеты, Земля и мы с тобой... Так вот, сам Конь-Мицар, оказывается, когда

смотришь в телескоп, — тоже двойная звезда! «Мицар «А» и Мицар «Б». Они вращаются вокруг общего центра тяжести. И этого мало. Оказывается, звезда Мицар «А» сама состоит из двух звезд, очень близких, почти соприкасающихся. Каково? И они тоже вращаются. Вот тебе — Конь и Всадник и вот Большая Медведица... Думай... Смотри и думай. Уметь думать — это счастье...

Потом оба молчали, слушали шорохи ночи. Небо на востоке слегка бледнело не то перед рассветом, не то скатился туда тонкий белый месяц, которого не было видно из-за лесистого увала, а потом он обозначился, чудесно длинный, изогнуто-накаленный — такой месяц никогда не видишь в городе.

— А-а... А-а-а... — раздалось где-то далеко и звучно.

В ответ послышалось: «ву-ву, ву-ву, ву-ву...»

— Вот запомни, — сказал Арсений Михайлович. — Лес. Ночь. Кричат филины. И — весна! Весна, милый. — Он повторял: — Запоминай... Весна.

Неожиданно он полез в избушку. А мальчик остался еще, стоял и слушал. Слышалось, как опускается снег, оседает с тихим нездешним вздохом, и еще было слышно, как пробивается в землю вода, а земля тихо-счастливо пьет ее, пьют корни сосен и корешки травы. Мальчику начало казаться ощутимым, как дышат миллиарды устьиц на хвоинках, как миллиарды звезд ведут свой таинственный хоровод. Но были среди этих неясных ощущений и другие, вполне определенные. Мальчик слышал: кто-то бегал, шуршал неподалеку в сухой обтаявшей траве и по снегу. Кто-то прошел вдали тяжелой затихающей поступью. И в небе тоже цвирикало, посвистывало. Там тоже была жизнь. Жизнь всюду, а филины бессонно кричали свое: «ву-ву, ву-ву».

Он забрался в избушку, лег и сразу заснул.

III

Почему же почти немедленно его стали трясти за плечо?

— Вставай! — говорил отец, приподнимая и усаживая его. — Вот так... Ну же! Ободришься! Заспался...

А мальчику хотелось только спать. Он не раскрывал глаз, зевал и сжимался, норовя опрокинуться обратно на теплое сено. Когда глаза все-таки раскрылись, они были неловко сухи, веки распухли, а в душе все еще жило,

остывая, воспоминание об уютном сне, тепле и звездах, в которых он только что бродил, плавал, летел, забираясь, может быть, до самой Большой Медведицы.

Отец отворил дверь, и в избушку плеснуло жидким холодком зари. Мальчик понял, что уже светает. И как это отец никогда не проспит? Кто его будит? Арсений Михайлович тоже проснулся, молча собирался, перепоясывался патронташем, во всех его движениях мальчик уловил что-то новое, упрямо сосредоточенное, словно бы учитель преодолевал нечто привычное. И мальчик тоже стал собираться, надел сапоги, патронташ, телогрейку и потянул из угла свой рюкзачок, сшитый из линялого солдатского мешка, но с настоящими хорошими ремнями. У этих ремней даже были алюминиевые крючки для удерживания патронных подсумков, и, когда мальчик цеплял их за свой патронташ, он чувствовал себя суровым и военным.

Пожевали хлеб, попили холодного горького чаю с сахаром. Очаг решили не топить — поздно будет... Впрочем, так решил отец, а мальчик и Арсений Михайлович только молчаливо подчинились.

— Ну? С нами пойдешь или сам? — спрашивал отец, когда с едой было закончено и все трое вылезли, поеживаясь, из избушки. Лицо отца было сосредоточенно, хоть где-то и проступала легкая улыбка. Мальчик сердито взглянул. Ведь уговаривались. Всю зиму он бредил этой самостоятельной охотой — и вот опять.

— Ну, ладно, ладно. Ступай уж, охоться, — сказал отец. — Первым делом выйди на Рассохинскую дорогу. Она вдоль речки и выведет тебя к тому вон увалу. Обогнешь его — там тропа есть, пройдешь осинником, березняком и опять к речке спустишься. Тут, у переката, на поляне нас жди или мы тебя ждать будем. В случае чего стреляй три раза подряд. Ну, давай... С ружьем осторожнее... Да первым делом по солнышку поглядывай, чтоб в лесу где не заблудиться. Понял?

Мальчик подтянул патронташ, надел ружье и, уже улыбочиво и торжественно взглянув на отца и Арсения Михайловича, зашагал к дороге, продираясь через сосняк, отводя его холодно-влажные ветви. Сапоги шуршали в снегу. Огромные сапоги. Других резиновых у них не было. И отец, всегда боявшийся, чтоб мальчик не простудился (от одной простуды — сто болезней начинается), брал его на охоту только в этих бахилах, кото-

рые, несмотря на двое носков, болтались на ногах. Каждый шаг мальчик делал сначала как бы внутри сапога, а потом уж поднимал и самый сапог.

Утро было очень холодное, знобящее. На дороге замерзла вода, сизел иней. Солнце еще не всходило, и над всей вырубкой было розово-красное небо, похожее на разрезанный застылый арбуз, даже пахло так же, морозно и арбузно. У мальчика озябли руки и шея, пока он шел вырубкой до леса. А там стало немного теплее. В лесу еще держалось оцепенение, ночная неподвижность. Мальчик хорошо понимал ее, а лучше сказать, ощущал, потому что природа во всем подобна человеку — так же может она спать, нежиться и пробуждаться. В этом ощущении рассвета было все, что мальчик принимал без размышлений, а просто знал и любил. Он не объяснил бы, почему ему нравится заря, почему он улыбается, когда видит солнце, почему ему хорошо, когда сыпуче шумят на летнем ветру тополя, плачется дождь, млеет в жаре трава, порошит снег. Просто он всегда жил ощущением слитности с этим, и лишь когда особо обращался к своему состоянию, словно бы проверял легонькие невидимые струны, трогал их и прислушивался: они звучали в лад всему, созвучно-хорошо и вместе с тем странно-разделенно. Мир был слишком богат для него, переполнен до края ожиданием, предчувствием, предвкушением и неоткрытостью, в чем, наверное, вообще суть и секрет постоянной и чуткой радости детства, во всем подобной сиянию майского утра, когда все свежо, ничто не затоптано, все готовится цвести и жить под самым безоблачным небом.

Теперь мальчик бодро шагал лесом. Сон отошел, и думалось только об охоте, глухарях, рябчиках, а ощущение будущей удачи становилось все нестерпимее. Дорога склонилась к подножью увала, и лес посуровел, зачернел елями, стало слышно речку, текущую в глухой непролазной уреме. Мальчик сошел с дороги и двинулся вдоль речки, продираясь сквозь плотные елочки, перелезая колодник и кочки. Здесь, по ложку, всегда попадались рябчики, и отец не раз убивал по две-три штуки. Мальчик выбрал укрытое место под елями и достал латунный пищик-манок. Тонко посвистел, подражая рябчику, и прислушался, на лице его отразилось почти болезненное ожидание. Но ничего не было слышно, только речка выговаривала: гуль-гули-бли, гуль-гули-бли... Она

сильно разлилась (летом тут совсем ручеек), многие ели стояли в воде. Мальчик поманил снова. И снова в ответ было бульканье речки и пенье дроздов. Они начали петь как-то враз, и лес зазвенел их скрипучим гомоном, через который время от времени прорезались громкие жужжащие трели вьюрков и голоса зябликов. Мальчик пробрался на другое место и опять поманил. Должны же здесь быть рябчики! А он был упрямый. Так он двигался вдоль речки, пока не услышал вдруг стегаяще-звонкий, неожиданный свист рябчика. Мальчик спрятался за ель, припал на колени, чувствуя, как оно тотчас же холодно промокло. Хищно клацнул взведенный курок. Мальчик поманил еще, не вынимая пищека из зубов.. И тотчас услышал гулкий взлет, увидел, как две темные птицы летят с той стороны речки прямо к нему, мелькая меж елей. Птицы сунулись в ближние ели. Где? Где? — гулко стучало сердце, а руки тряслись, и он никак не мог унять эту дрожь. Наконец он увидел недалеко от ствола неясное пятно птицы, и медная мушка ходуном заходила по темному силуэту. Мальчик не решался нажать на спуск — все казалось, промажет. В последний момент он все-таки зажмурился. А потом увидел, как рябчик мертво валится под ель. Звука он не слышал. Торопливо выбросив стреляную гильзу, мальчик заложил новый патрон. Глаза искали. Где же второй? Второй рябчик, вытянувшись, шел по сучку. И снова мальчик зажмурился, когда ружье прыгнуло в руках. А потом он бежал, прыгал через кочки и валежник, не помня себя от удачи.

Второй рябчик лежал, распластав крылья на мху, и, закинув голову, глядел пронзительно. В коричневых глазах его не было страха, только удивление, удивление и боль. Но когда мальчик осторожно взял его, рябчик забился, затрепыхался, затряс головой и обвис, распуская крылья, вздыбился и погас его хохолок, а мальчик бросил добычу и отвернулся. Что-то неприятно дернулось и в нем. Почему? Раньше он совсем не так подбирал убитых отцом птиц, совсем не так... Постояв, он нашел глазами и первого намертво убитого рябчика, он упал в воду, однако возле сухого места — из воды торчала пепельная спинка и серый с черной полоской хвост. Но горечь, внезапно прихлынувшая, скоро сошла, растворилась в ощущении радости и удачи, и, подобрав рябчиков за холодные жесткие, опущенные лапки, маль-

чик вернулся, снял рюкзак и бережно уложил туда дичь, разглядев и огладив перо.

Когда рюкзак был на плечах, а ружье заряжено и снова в руке, мальчик тотчас вообразил себя таким охотником, которого он видел однажды на улице у вокзала. Охотник чем-то напоминал отца, тоже был в зеленой военной фуражке, в коротком брезенте поверх телогрейки, с ружьем в затаканном чехле. Он медленно шел, увешанный дичью. С одного плеча свисал тяжелый пепельно-сизый глухарь, мотал прижмуренной бородастой головой у земли, стучал клювом по сапогам, с другой стороны была приторочена к сумке связка синих, с белым и красным, тетеревов, у пояса белела брюшками добрая вязанка битых уток. Вся законная добыча была у охотника на виду, а прочая, должно быть, в тугом рюкзаке. Охотник шествовал устало и достойно под ахи и оборачиванья не то удовлетворенно-счастливый, не то какой-то другой — не сразу поймешь, но мальчик запомнил даже, каким было то утро: майское, прохладное и густопасмурное с осторожно, задумчиво распускающимися тополями.

Мальчик подумал, что раз уж так началось, скоро он покажет, на что способен, и отцу, и Арсению Михайловичу. Ведь даже если ничего больше не попадется, все равно он придет с добычей. А может, так-то десяток и два наберется. Вот вам и первый раз пошел! Вот вам и «охотник»! Как начну выгружать рябчиков из рюкзака одного за другим... И он тотчас представил, как раскладывает их на поляне, целых двадцать штук (столько было у него патронов, считая два пулевых и один с картечью, на случай встречи с волком, медведем, рысью, во что ни сам мальчик, ни отец, с которым заряжал патроны, конечно, не верили).

Но больше рябчиков в логу не было, и, побродив напрасно, мальчик выбрался на дорогу. Он бодро пошел по ней, держа ружье наготове, сияя глазами, каждую минуту готовый стрелять. Вот что значит — удача. Он не знал еще, что за удачей всегда следует нечто худшее так же неизбежно, как за подъемом следует спад.

Старая глухая просека попала ему справа. Ручей, забитый мокрым снегом, отгораживал ее от дороги. Через ручей брошено бревнышко без коры. Просека остановила мальчика, и он, раздумывая, глядел в ее суживающуюся глубь. Она была заманчивой в свесах ельника, в

тишине еловых венцов и перекрестьях упавших деревьев. Такое дикое место как раз и любят рябчики, осторожно-скрытные, как сам этот лес. А вдруг за ручьем глухариный ток? Говорил же отец, что где-то в этих местах есть богатое токовище, о котором ему тоже рассказывал знакомый лесник. К тому же просека клонит к увалу, как раз туда, куда нужно выйти кружным путем. Сомнения одолевали мальчика. С одной стороны, проще было идти дорогой, которую указал отец, там мальчик уже ходил и знал места и тропу. С другой — всегда жило в нем то самое, что заставляло людей, наверное, открывать и Австралии и Антарктиды, брести к полюсам и взбираться на заоблачные кручи...

На самой середине бревнышка сапоги оскользнулись, и мальчик, не успев вскрикнуть, оказался выше пояса в воде со снеговой кашей. Он рванулся к дороге и выскочил на нее без сапог, без ружья, босой и трясущийся, обезумевший от страха и горя.

Он не знал, что ему делать, и с минуту дико оглядывался, стоял, поджимая то одну, то другую ногу, ощупывая их руками, инстинктивно пытаясь согреть. Теперь он не мог даже выстрелить три раза, на случай беды — ведь ружье утонуло вместе с обоими сапогами. Но безвыходность положения заставила мальчика действовать решительно. Закусив губу и, может быть, плача, он снова по пояс влез в ручей, уже привычнее ощущая кипятковый жар снеговой воды. Он нащупал сначала один сапог, потом другой, с натугой выволок их и бросил на дорогу. Дальше удача опять вернулась к нему — он нащупал, чудом нашел ствол ружья и тогда, уже радуясь — и такое бывает возможно, — выскочил на обочину канавы и начал раздеваться. Он снял брюки и белье, выжал насколько мог одеревенелыми руками и, трясаясь, надел все это холодное, жестяное и липкое — теперь мальчик уже не плакал. Он вылил воду из сапог, вытряс снег, отжал носки и надел, набрал сухой обтаявшей травы, протер сапоги внутри и наложил этой травы еще. Какое блаженство было надеть эти же самые вечно проклинаемые сапоги (а ничего не надо проклинать — так советовала мальчику бабушка-нянька, которая водилась с ним, и, может быть, она была права: сапоги-то и подвели) — теперь они спасли коченеющие ноги. Чтобы согреться, мальчик побежал вдоль дороги, не раздумывая ни о чем, а только что-то причитая. На бегу он отрывоч-

но думал, что теперь пропала охота, так удачно начатая, пропало настроение, пропало все, и как теперь сказать отцу, как явиться после такой «самостоятельности»? Он бежал долго, далеко, запыхался и, хотя согрелся не очень, стал рассуждать как-то медленнее и спокойнее. Вдруг он обнаружил, что и ружье, и рюкзак остались там, у ручья. Завернувшись, он помчался что было мочи обратно, тяжело дыша, с одной только мыслью: «Ружье! Ружье! Как можно было оставить ружье!!»

...Оно лежало там, где он и забыл его, возле бревна через ручей. Тут же валялся рюкзачок. И мальчик, едва переводя дух, подумал: «Кто мог взять это на безлюдной лесной дороге?» Внезапно ему стало теплее. Над лесом уже показалось солнце. На дороге темно оттаял иней. Она курилась тихим паром. Мальчик взял ружье, открыл, продул ствол, забитый снегом, и переменял патрон, хотя и патронташ его был мокрый. Потом он надел рюкзак и постоял на солнечной стороне дороги. Тут было совсем тепло. Солнце грело сильно, обещая жаркий день. Неожиданно мальчик сошел в лес и стал искать подходящую палку. Он нашел ее быстро, попробовал — крепка ли? — и опять подошел к ручью. Наверное, он и сам не объяснил бы, зачем понадобилось идти через ручей еще раз. Или это было упрямство? Никто не знает, и мальчик тоже. Но теперь он переходил осмотрительно, упираясь в дно ручья найденной сухаркой, переступая по бревну боком, как курица по насесту. И все-таки он чувствовал себя победителем, ступив в снег на противоположном берегу. Мальчик вздрагивал и сжимал зубы, и в лице его было что-то отчаянное, и вот, махнув кому-то, он торопливо пошел просекой, увязая в снегу — здесь был северный склон и снег согнало сюда ветрами с увала. Иногда мальчик оглядывался, смотрел на свой след, и этот след успокаивал его, потому что лес кругом стоял дичалый, нерубленый и сама просека, не чищенная давным-давно, была перекрещена завалами колодника. Коричневый зверек, может быть соболь, нырнул далеко впереди с одной из таких колод и тотчас скрылся. В другом месте мальчик нашел перья съеденной кем-то копалухи, и ему стало страшно, снова начало знобить. Тогда, чтоб унять страх, он решил закурить, достал подмоченную пачку «гвоздиков» и спички из нагрудного кармана. Отец всегда носил спички так, и мальчик следовал ему во всем. Сейчас привычка приго-

дилась. Спички были сухие. Он кое-как раскурил папиросу. Глотнул дыма, раскашлялся до слез и так, кашляя, курил. Потом бросил папиросу в снег и опять махнул и, вытирая слезы, пошел дальше. Он поднимался просекой на склон увала, пока не пропал снег. Прошла и дрожь. Мальчик согрелся. Вдруг он увидел, как с просеки, с земли взлетел рябчик и сел на склоненную дугой березу. Наверное, мальчик слишком поторопился, не успел прицелиться как следует. После выстрела рябчик неловко полетел, упал и бойко побежал, лавируя между стволов. Мальчик бежал за ним, на ходу меняя патрон, взводя курок. Но некогда было приложиться, рябчик удирал во всю прыть, и мальчик мчался, пытаясь догнать. Вдруг ружье само собой грохнуло, впереди упала срезанная ветка, и дробь рикошетом щелкнула мальчика по ногам и в руку. Он остановился, ощупываясь, с облегчением сознавая, что не ранен, и с опаской глядя на ружье. Нельзя так! Надо осторожнее. Рябчик убежал. Но, видимо, здесь их было много, потому что, идя склоном увала вверх, мальчик убил еще двух, одного за другим. И теперь его добыча увеличилась до четырех штук. Совсем не худо для обретающего самостоятельность.

Пока он выслеживал рябчиков, подманивал, подкрадывался на верный выстрел, искал и подбирал убитых птиц, он незаметно для себя обсох. Солнце уже поднялось высоко, а весь лес, согретый, пронизанный им, пел, звучал, сочился ручьями, синел в тенях полосами снега, голубел меж вершин лоскутьями неба. Раза два мальчик вспугивал глухарей, но, не умея стрелять влет как следует, пугаясь неожиданности, только смотрел, как сизо-черная жутковатая лесная громадина тяжело и быстро уносится прочь, мелькая между соснами, березами и елями. Глухарь в лесу всегда напоминает о дороге, о том, не заблудился ли. И мальчик тоже с беспокойством огляделся, решил найти свою просеку, она была где-то справа, недалеко. Сгоряча он даже побежал, чтоб найти ее скорее. Но сколько ни оглядывался, ни ждал — просеки нигде не было. Тогда он повернул обратно, кружил, метался, останавливался с напуганным лицом, смотрел на солнце, но ничего не понимал, не мог сообразить, а склон увала был бесконечен, не один километр, и где она осталась, эта просека, которая пропала, как по волшебству, будто ее никогда и не было... Прав-

да, была надежда на ружье. Можно выстрелить три раза. Но как найдет его отец в таком глухом месте? Ведь мальчик пошел совсем не так, как велел отец. Тяжело дыша, как перед слезами, мальчик крутился на одном месте, ища выход. Спуститься вниз, к речке?! Он тотчас кинулся туда, скользя по склону, но вскоре попал в такую чащу, в такой глубокий снег, что поспешно выбрался, начерпав полные сапоги. Он вытряс снег, сидя на колодине, и вдруг решил идти к вершине. Может быть, с вершины будет легче найти просеку, разобраться во всем и найти дорогу назад. Он поднимался очень быстро, отмахиваясь, крепко держа ружье, вздрагивая, когда в стороне кто-то хлопался, улетал — рябчик, глухарь, тетерев — не все ли равно, теперь было не до охоты. Вершина увала приближалась, лес пошел реже, светлее, и вдруг впереди мальчик увидел нечто серое, похожее на стену дома. Он остановился. Дом? Здесь? Но, шагнув ближе, понял, что это, конечно, не дом, а будто сложенная из плит-глыб башня-скала. Останец. Такие изредка попадают по лесным вершинам увалов. Чаше всего они не высоки, вровень с лесом или ниже, а эта скала была довольно широкой, сложенной плотно, стены ее уходили в небо, и только северо-западный край оказался более разрушенным. Дожди и ветры обвалили его. Здесь можно было попробовать взобраться на макушку останца, где росла наклоненная уродливая сосна. Отдышавшись, мальчик полез по боку скалы, подымаясь очень осторожно, потому что не снял рюкзак, а ружье тоже не оставил внизу, только разрядил и повесил на спину. С каждым шагом скала словно бы росла и совсем перестала казаться низкой, ноги в бахилах скользили, но мальчик полз, припадая грудью к камню и уже не глядя вниз, чтобы не испугаться. По кончикам пальцев ходил мороз, когда мальчик уцепился за корень сосны, подтянулся и лег на дернистую, каменную вершину останца. Он вполз на нее, как ящерица, и сначала лежал, уткнувшись носом в каменистое тепло дерна, раскинув руки. Потом осторожно повернулся и сел. Башня была слегка наклонена в одну сторону, или так казалось. Чуть ниже ее были макушки леса. Со всех сторон небо. Светло-голубое в одной стороне с белой рябью облачков, в другой — с низовыми, тянувшимися по ветру сизо-серыми тучками. Здесь было ощущение полета, невесомости и простора. Глаза смотрели необычайно зорко, и мальчик увидел

среди лесов дальнее озеро и даже далеко-далеко ниточку железной дороги, по которой бежал крохотный состав. Дорога обрадовала и успокоила его, и вдруг, самое главное, он увидел просеку, только почему она оказалась слева и совсем не там, где он ее хотел найти? Такой вопрос обычно приходит ко всем, кому приходилось хоть раз заблудиться. Сначала мальчик даже подумал, что это не та просека, но, мысленно спустившись по ней, понял: та! И сразу словно что-то повернулось в его голове, все стало на место: лес, увал, дорога, солнце, которое хорошо грело его спину и шею. Теперь мальчик успокоился окончательно. Улеглось неприятное, давящее душу волнение, снова стало привольно, вольготно. К тому же он обнаружил, что совсем обсох, только в сапогах было еще сыровато, и он тотчас разулся, стянул сапоги и волглые носки, поставил босые ступни солнцу и ветерку, зажмурился от удовольствия, так ветер сушил их, тихонько гладил. Как хорошо! Он прислонился к стволу сосны, который чуть покачивался, точно живой, и сидел так, отдыхал, полузакрыв глаза, наслаждаясь ветром в вершинах леса, его легким вековечным шумом. Сквозь полуприкрытые веки все вокруг было голубоватое, солнечное-зеленое и размытое, а когда он открывал глаза, даль многоцветно голубела, горы густо синели, лес растянулся спокойной зеленью, и там, внизу, были крики зябликов, гомон дроздов и слышались тетерева. Еще кто-то звонко, заунывно кричал там: «а-а-й... а-ай...» Точно звал и плакал. Движением плеч мальчик освободил рюкзак, снял его, растянул завязку, вытащил на дерн отвердевшие и остывшие тушки рябчиков, положил рядом. Они лежали одинаковые. Пестро-рябенькие, с поджатыми лапками, и в них не было уже ничего живого, ничто не напоминало осторожных, сливающихся с лесом птиц с такими бодрыми хохолками и вытянутыми пугливыми шеями. И, глядя на их безжизненность, на то, как ветер заворачивает и шевелит пушистое перо вокруг лапок, мальчик ощутил тягостно-горький укор раскаяния. Зачем убил? Зачем? И не поправить никак... Теперь опустело в том темном ложке у речки. Не будет ни выводка, никого... Он вспомнил, как рябчик смотрел на него, закинув голову, и как птицы летели, садились, шли по ветке и как падали нелепо и пораженно... Мальчик отвернулся. Он сидел неловко, тыльной стороной руки опирался о камень, и камень больно да-

вил ему кисть, врезался в нее, но мальчик почему-то терпел, не хотел переменить положения. Потом он сунул тушки рябчиков в рюкзак, поджал колени к подбородку и долго сидел так, весь отдаваясь ласке ветра и солнца. Облака, печальные и спокойные, проплывали над ним. Он словно бы спал, хотя глаза его были теперь открыты, только чуть приопущены. А вокруг с шорохом ходил ветер, просторно и уютно было небо, внизу осторожно шумел лес, и кто-то по-прежнему кричал там: «а-ай... а-а-й...»

Мальчик обулся. Надел сухие носки и проветренные сапоги. Он быстро спустился вниз и, уже как по знакомой дороге, пошел, даже побежал просекой, отводя ветки кустов, перескакивая через ветровал. Ружье он закинул через голову за спину. Рябчики снова выпархивали впереди, заяц торопливо замелькал в сторону. Мальчик останавливался, глядел, но не снимал ружья. Только по снегу он замедлил шаг, ступая в свои прежние следы. Уже не было никакого страха. Просека теперь показалась вполне знакомой и привычной. А у канавы-ручья, где он тонул утром, мальчик задержался, посмотрел на желтое снеговое месиво и усмехнулся. Он ощупал сухие брюки, подобрал брошенный тут же шест-сухарку, спокойно перешел по бревну и, бросив шест, зашагал по дороге. Он улыбался, и наверное, первый раз так взросло и мудро, как не улыбался никогда раньше. Спустя час он подходил к тому месту, где уговорились встретиться.

Дым почуялся ему еще издалека. Потом донесло голоса и потрескивание костра. Отец и Арсений Михайлович варили кашу. Огонь горел жарко. Висели над ним черные котелки. Арсений Михайлович без очков сидел на долгой, сваленной кем-то давным-давно лиственнице без коры и тер глаза. Отец рубил хворост, подкладывал сучья. Костры разводить он умел и любил.

— Ну! — обрадовался он. — Наконец-то!

По какому-то мгновенному расслаблению его лица мальчик понял, что отец беспокоился, может быть, очень беспокоился, а теперь у него отлегло, и он очень рад.

— Много настрелял? Слышали тебя...

— Никого, — сумрачно и взросло сказал мальчик и, сняв ружье, разрядил, положил стволом на лиственницу.

— Правильно, — похвалил отец. — С оружием осторожность нужна... Так-таки ничего? А стрелял раз пять...

— Да ведь это же хорошо! Замечательно! Никого не убил...— вмешался Арсений Михайлович.— Ведь радоваться только надо — как хорошо!

— Почему? — спросил отец.

— А ты еще и спрашиваешь? Хм... Да ведь весна... А? Весна... Друзья мои... Жизнь... Пробуждение... Хмель... А мы... Кто же мы? Как совместить? Ну, трудно, ладно, а все-таки можно... Ну, война прошла. То... се... Но ведь век этими рябчиками сыт не будешь, а добро в себе убьешь... Нет, как хотите — я весной пас... Я только так.

— Зачем же ты, Арсений, ружье таскаешь? Ведь тяжело,— усмехаясь, сказал отец.— А вчера кто палил? Двух, говорил, подранил...

Арсений Михайлович надел очки.

— Ну, ружье... Ружье — это, так сказать, атрибут. Какой же я охотник без ружья? Я его люблю... Ценю. Ведь поглядите: замечательная вещь... Бельгия. Фирма «Лепаж». Видите — работа какая? Гравировка, резьба... Стволы, приклад, цевье. Как сделано с любовью, чисто... Это же поэзия! Красота... Да ты без меня знаешь-понимаешь. Притворяешься... Ружье... А сборы, охота, лес? А эта поляна?

— Сварилось, кажется,— прервал его отец.— Садитесь-ка ближе, романтики. Есть будем... Что-то от одной вашей духовной пищи живот подвело? А? Так-то лучше...

Сучком, морщась от жары и дыма, он снял котелок с kloкочущей кашей из концентратов. А мальчик проглотил голодную слюну, так хотел есть, так остро вдруг кольнул и обрадовал его нестерпимый молодой голод. Мальчик едва дождался, пока принял мятую алюминиевую миску, полную желтой пшенной каши с янтарным масляным колодцем. Сбоку отец покрошил луку и дал большой в два пальца ломоть хлеба. Отец признавал только крупные аппетитные куски.

Похоже, что и сам отец, и Арсений Михайлович испытывали то же ощущение, то же самое.

— Ффх-ах, хороша-а,— ожигаясь, черпал Арсений Михайлович.— Дай-ка мне лучку. Хлебушка черного... Ф-ф... Ах... Наслаждение

— А, слушай, Арсений... Надо ли тебе черный?

Арсений Михайлович махал кистью худой руки.

— Тогда, может, того... А? Ну... Этого... Понимаешь? С преддверием? А?

Арсений Михайлович перестал жевать. Лицо его сошло, а потом разошлось лукавыми морщинами. Он кивнул.

Отец достал из объемистого кармана рюкзака немецкую походную фляжку в коричневом сукне. Тряхнул. Снял стакан и отвинтил пробку. Поднес к носу — поморщился.

— Давай... Чего там... Фронтovou, — сказал Арсений Михайлович.

Отец налил стаканчик и протянул ему. Но Арсений Михайлович не взял.

— Сам пей сперва, — сказал он. — Ты здоровый. А у меня — сам знаешь. Да и много мне будет... Давай, старина, плесни на каменку.

Они выпили по стаканчику. Отец завинтил и убрал флягу. Дома он никогда не пил водку. Пьяных не мог терпеть, и мальчик никогда не видел отца даже под хмельком. А фляга эта кочевала с отцом, от охоты до охоты, и казалась неистощимой.

— Ну, ты, друг, рассказал бы нам, где ходил-то? — добрея и улыбаясь, сказал отец... — Ноги-то не промочил хоть?

— Нет, — сказал мальчик. — Сухие... — И вдруг фыркнул. Рассказать бы сейчас отцу, как лазал в канаву за сапогами и за ружьем...

— Чего смеешься? — спросил отец, поглядывая уже с подозрением.

— Да так... Случай один вспомнил...

— Скрытный ты становишься, — заметил отец. — Скрытничать — это нехорошо...

Он сказал бы и еще что-то. Но тут взбурлил котелок с чаем. Костер зашипел, задымил, отец принялся снимать чай.

Пили чай большими охотничьими кружками — у каждого своя, у отца, например, была зеленая, чуть не на полкотелка.

За чаем Арсений Михайлович разговорился — не уймешь, не остановишь.

— Вот что такое охота, друзья? Да, охота, милые мои, — волшебство! Счастье... Фата Моргана. Одним словом, ведь я благодаря ей, наверное, живу и жив остался. Да... И на фронте, помню... Помнишь? А? В дожде, в снегу, в грязи рожей, по госпиталям. Что меня держало-спасало? А вот это... Чай думал так пить. С ружьишком

на тяге постоять. Выжить для этого. И вспомнить было что... Да и сейчас даже. Учитель я. Математик... Логарифмическая линейка. (Мальчик чуть не захохотал, но вовремя отвернулся, укусил кулак. Арсений Михайлович впрямь чем-то напоминал эту линейку.) Так вот. Веду я урок, братцы мои. Ну, геометрия пусть. Теорема Пифагорова. Пифагоровы штаны... Ну-с, доказываю, объясняю, мелом стучу, смотрю, как мои Васи-Пети усваивают, а сам-то нет-нет да и погляжу в окошко. Осень там или вот, как сейчас... И думаю... И до субботы еще два денька, а там я на поезд да в лес... И вспомню избушки наши, осиннички, покосы, поляну вот эту, лиственницу. И жить мне сразу светлее. А все думают — математик! Он только уравнениями живет, о квадратном корне думает... Вот что для меня — охота...

Пили чай до самого вечера, подбрасывали в костер. Лишь когда солнце осело за лес, начали собираться к поезду. Арсений Михайлович пошел на речку мыть котелки.

— Глянь-ка сюда,— проводив его взглядом, сказал отец, придерживая устье рюкзака.

В глубине серело пятко рябчиков и три рыжих вальдшнепа.

— Вот как охотиться надо,— сказал отец.

— Я тоже убил... Четырех...— ответил мальчик.

— Да ну? — удивился отец.

Мальчик кивнул.

— А чего ж в молчанку играешь?

— Ты ведь тоже вчера вальдшнепов убил, а не сказал...

— Правда...— согласился отец.— Это я из-за него...— мотнул головой в сторону речки.— А тебе-то что за нужда скрывать? Тоже из-за Арсения?

— ...

— Чего молчишь?

Но мальчик отрицательно покачал головой, достал своих рябчиков и переложил в отцов рюкзак.

— Эх, вы... Охотники...— отец завязал рюкзак, крепко дергая за шнур, и встал.— Что за народ такой пошел? Все рассуждают, переживают... А что тут рассуждать-переживать? Есть дичь — стреляй! Промазал — бог с ней. Убил — с полем! Ну? — ладно... Ладно. Дело твое... Ты молодой еще... И у меня, молодого, всяко было... Один раз убил утку, и там у нее утята-поздыши

оказались, хлопунцы желтенькие... До сих пор помню. Долго я тогда переживал...

Вечереющим лесом шли к станции. Теперь впереди шагал отец. А мальчик и Арсений Михайлович приотстояли. Арсений Михайлович то расспрашивал о школе, то умолкал — слушал птиц и нюхал воздух, останавливался.

— Подснежниками пахнет! — глубоко вздохнув, говорил он. — Ну до чего хорошо!

«Да где он их видит», — про себя думал мальчик, а вслух сказал:

— А где они?

— Подснежники? — переспросил Арсений Михайлович. — Подснежники еще под снегом или не раскрылись. Но я чую их. Они тут. Хороший цветок — подснежник.

В поезде Арсений Михайлович опять больше молчал, смотрел в окно. Лицо его все более изменялось, проступали прежние, уже известные мальчику и вызывавшие скрытую неприязнь черты. Это была не то замкнутость, не то учительский холодок и спокойная усталость. Теперь опять это был учитель, математик, и должно быть, строгий, сухой, озабоченный успеваемостью своих учеников. А может быть, просто мучила Арсения Михайловича его постоянная неизбывная изжога.

На вокзале распрощались. Мальчик робко пожал худую, сухую, холодную руку.

Когда ехали в тряском разболтанном троллейбусе, мальчик спросил отца, устало сидевшего рядом:

— Что убил Арсений Михайлович?

— Ноги... — коротко ответил отец. — Ничего...

— И не стрелял?

— Стрелял... Как же...

— Все мазал?

— Да нет... Какое... — с досадой сказал отец. — Мимо он стрелял. Нарочно. Я-то его знаю. Он весной всегда так... Он ведь снайпером у меня в роте был...

И рассказал, как Арсений Михайлович убил знаменитого немецкого снайпера, который был на их участке, стрелял только по офицерам и тяжело ранил командира полка. Снайпер-немец был осторожен и аккуратен. На позиции выползал и маскировался ночью, не выдавал себя ничем и стрелял редко, но наверняка. Арсений Михайлович двое суток пролежал в снегу почти без пищи, снайпера убил ночью, когда тот переползал из укрытия в траншею.

— На фронте он и здоровье испортил. За четыре-то года! Обмораживался страшно. И ведь до чего упорный — лежит в секрете, сухари грызет, соду свою со снегом ест. А дождется... Снегом его, бывало, совсем занесет. Ты его еще мало знаешь, — усмехнулся отец. — Его в роте так Подснежником и звали... Да и вообще-то... Все мы, наверное, такие... Подснежники... — закончил отец.

1972 г.

Лесные дни

Я собирался надолго уехать в леса. Желание пожить в лесу просто так, без определенных занятий и целей, появилось еще с тех далеких пор, когда воскресными летними днями ходил я вместе с отцом недалеко за город, на Основинские прудки. Там засыхал на корню редкий сосновый бор, в глинистом ложке текла мелкая Основинка, на подмытом косогоре горбилось серое гнилое прясло. А подле речки тянулось множество ям и разрезов, налитых водой, окруженных осокой, калужницей и белокрыльником. Раньше по Основинке мыли золото и платину, и ямы — остатки шурфов и выработок — превратились со временем в естественные озерки. Обычно отец укладывался на траву где-нибудь в редкой тени, читал книжку или просто спал под задумчивое пение зябликов и сухой шорох сосен. А я с марлевым сачком, со стеклянной банкой на веревочке бродил по плитняковым и галечным отмелям, по краям глубоких калужин, и столько удивительного попадалось тут — невозможно перечислить. То плоский, бурый, как отмерший лист тополя, водяной скорпион, то белоспинный гладыш с красными глазами, то жуки-вертячки, синеватые искорки, прытко ныряющие от сачка. Уходя вглубь, сачок вытаскивал и не совсем приятное — конскую пиявку сантиметров тридцати, плоскую бархатную ленту, и шестиногих кольчатах личинок такого свирепого отвратного вида, что мороз гадливости и страха драл меня по спине. Иногда в сырой марле оказывались бурые существа, не то огромные мухи без крыльев, не то подводные кузнечики. Они не прыгали, не торопились, а степенно передвигали свое неповоротливое вздутое тело на цепких лапах. Я не знал еще, что это личинки тех самых лазурных и бронзовых стрекоз, которые стаями носились над самой водой, изредка с треском падая в осоку.

Набродившись по берегу, я бежал в лес, катался и ползал по суховатому дерну, усыпанному упругими желтыми иглами, искал ананасные ягоды земляники, заглядывал под кору пеньков, гонялся за плюшевыми траурницами и шафранными желтушками. Или же подкрады-

вался к махаону, распахнувшему соломенные крылья на кустике желтого бобовника.

А вечером, усталый и торжественный, нес домой банки с лягушатами, плавунцами, тритонами и личинками. Кое-кто в тех банках занимался с горя разбоем. И не один раз я с удивлением замечал, как иная личинка впибалась в жука или сам жук остервенело смыкал челюсти на теле личинки...

Своих пленников я опускал в кадушки, стоявшие под потоком по углам дома, и там эта живность или жила припеваючи, или гибла, а чаще всего задавала тягу, когда очередной дождь наполнял кадушки до краев.

Я считал дни до нового воскресенья, с волнением ожидая, что в субботний вечер отец скажет: «Готовь-ка давай сачок да банки. На Основинские завтра пойдем...»

К сожалению, редко это случалось. Отец мой работал бухгалтером, и я почти не помню, когда он бывал свободен от работы. Сразу после вечернего чая он раскладывал на столе свои скучные желтоватые бумаги с колонками аккуратных цифр. И я уже знал, что там написаны такие же скучные слова — дебет, кредит, инкасса... Я засыпал под мерное пощелкивание косточек на счетах и часто, пробуждаясь далеко за полночь, видел под дверью полосу света из соседней комнаты. Счеты стукали сухо и четко: щелк-щелк... щелк...

С тех пор прошло более двадцати лет, но так же остро было желание уйти в леса, и теперь уж надолго, на неделю, на месяц, уехать куда-нибудь, где поглуше, и всласть набродиться в безмолвных чащах, среди буреломов и мхов.

Зимой вытаскивалась из-за шкафа свернутая в рулон карта Урала, и я рассматривал кружочки лесов, овалы гор и голубые штрихи болот. В средней и южной части поражало обилие поселков, сел и деревень самых разнообразных названий. Были Ключи, Гари, Липовки и Ольховки, Раскатиhi и Шутихи. Были села с поэтическими названиями: Черный плёс, Белая гора, попадались смешные — Шаня, Аюшка, Дрыгунова и Тараканкова, были безобразные, вроде деревни Скареды. Но деревни не очень интересовали меня, ведь собирался я в леса. И глаза сами тянулись по карте вверх, где число деревень резко убывало. По голубым жилкам рек, по берегам озер шли непонятные Вотьпа, Евра, Ошмарья и

Мартымья. Там открывался северный край, страна хантов и манси, оленьих троп и журавлиных болот. Озера, болота, снова озера, большие и малые, именованные и безымянные, лежали там. В нетронутых лесах текли к океану студеные рыбные реки. Край гранитной суровости! Край невысказанной поэзии! Она жила даже в названиях озер — озеро Туман, Чертово озеро, озеро Леушинский туман... А какие болота открывались на сотни километров! Лесные болота, где только ели, мох, филины и мало ли еще какая жуткая прелесть.

Даже по ночам снились мне эти странные дали: то бродил я меж елками по сыпям увалов, то взбирался на выветренные каменные столбы, то плыл по реке и все пытался разгадать ее понятное и непонятное название — Воря.

Мечты мечтами, а время летело. Уже весна позади, пробегают июнь, экзамены в школе, выпускные вечера, служебная поездка в Москву, недели жизни в красивом, шумном, суматошном городе. Возвращение в Свердловск, мелкие дела и хлопоты. И вот, оказывается, двухмесячный, ожидаемый как спасение, учительский отпуск уже на исходе. Отпуск, на который копились все надежды, все свершения больших и малых дел.

К тому же я работал директором школы и по опыту знал, что даже имеющийся остаток едва ли придется использовать. Обычно перед началом учебного года директоров отзывали из отпуска за надобностью и без таковой.

Я заторопился. Два дня бегал по магазинам, закупал продукты и припасы, готовил снаряжение. Осталось взять билет — и в путь. Однако в намеченный день уже поутру небо принахмурилось, заскучало, влажный ветер зашумел листвой высоких тополей, а с полудня начался такой ровный сеяный дождь, что я только молча злобствовал.

Ненастье затянулось на неделю. Каждое утро видел я под окном подернутые зябкой рябью лужи, следы калош, налитые водой, тучи из-за конька соседней крыши да мокрых воробьев под карнизом.

А когда во вторник дождь затих, бледно проглянуло солнце, небо начало расчищаться, рассыльная из районо принесла приказ об отзыве на работу. Требовалось усилить набор в школу...

Прощай, отпуск, север, еловые болота, Леушинский

туман и новая повесть — она, кажется, умерла, еще не успев родиться.

На просьбу об отпуске новый заведующий роно — человек молодой, но уже кругленький, лысоватый и важный, — спокойно и бездушно ответил, что для него я прежде всего директор, а не писатель. Подавленный служебной логикой, я не нашелся что ответить.

А между тем лето отходило. Стоял конец августа. Надежд выбратся в леса, кроме как на воскресенье, не было никаких. Воскресный поход меня не устраивал. Уж очень не люблю я воскресную сутолоку на вокзале, толпы туристов. Знаю по опыту, что по воскресеньям в окрестностях железной дороги километров на двадцать в любую сторону будешь наткаться то на компанию грибников, то на массовку с баянами, бутылками, яичной скорлупой и хмельными голосами, то на древнюю бабусю, невесть каким образом очутившуюся в самом глухом и недоступном болоте. Глядя, как ковыляет она через кочки, шатаясь от старости и что-то причитая под нос, всегда думаешь: вот завернет за елку, скажет волшебные слова, грянется оземь и обернется совой, рыжей лисицей или красной девицей — иначе откуда ей здесь появиться?

Все-таки мне удалось получить в счет отпуска целых три дня. Трое суток! Да еще с воскресеньем в придачу. Итого четверо. Когда имеешь мало свободного времени, начинаешь ценить каждую минуту, чувствуешь себя словно поденка-однодневка — маленькая молочного цвета букашка, что вылетает из-под воды и живет всего от вечерней до утренней зари. После такого сопоставления четыре дня показались мне невероятно долгими.

Конечно, я не думал уж ехать на север. Путь в леса сложился сам собой. Захотелось навестить те самые места между озерами Щучьим и Черным, куда еще мальчишкой ходил я на охоту вместе с отцом. С тех пор прошло много лет. Сколько воды утекло из тамошних болот, сколько берез выросло на горях и сечах и сколько новых морщин появилось на каменных лбах увалов!

— Стоит ли ехать? — отговаривали домашние. — Август ведь... Лес скучный. Ничего красивого. Уж подождет бы сентябрь.

Но я только отмахивался.

Отъезд совпал с открытием охоты. Это стало понятно, когда с нагруженным рюкзаком я вышел на перрон.

Побрызгивал дождичек из шальной тучки. Встрепанное солнце выглядывало и пряталось. Однако нестройная рать охотников, что толпилась на мокрой платформе, ничуть не огорчалась. В ожидании электрички я отошел в сторону и наблюдал за прибывающими. Пестрый поток вытекал из горла тоннеля и расползлся вдоль путей. Платки, чемоданы, связки сушек, узлы и баулы — все это мелькало мимо. Пахло паровозным дымом, дождем, сырым асфальтом и еще чем-то, чем всегда пахнет на станциях и перронах. По крышам вагонов перелетали галки. Люди же: одни суетились, разыскивая кого-то, другие стояли спокойно, привычно сидели на чемоданах, покидывали в рот семечки, лущили их, как птицы, беззаботно сплевывая шелуху. Охотники заметно выделялись среди всех своими гимнастерками, брезентами, старыми фуражками военного образца, ружьями в чехлах и такими укладистыми рюкзаками, против которых мой показался сморщенным карликом.

Охотники были разные. Вот в кучке молодых добротного-щеголевато одетых людей стоит высокий величавый старик. Возле — рыжий ирландский сеттер на ременном поводке. Старик в охотничьем одеянии, в болотных сапогах, в немецкого покроя фуражке великолепен. Поблескивает очками, что-то рассказывает молодым охотникам. Ирландец вдумчиво ищет блох, поймав, кусает, презрительно скаля зубы.

Лицо старика мне знакомо. В прошлом году, зимой, он читал в обществе охотников лекции для начинающих. Помню, как, взойдя на кафедру, привычно взявшись за ее края, воздев седую кудлатую бровь, он возгласил мягко, по-московски: «Ахота с сабакой и ахота... — тут он помедлил мгновение, дирижерски оглядев аудиторию, и веско бросил — ...без сабаки!»

Удивительно, что едет он сегодня по железной дороге. Обычно охотнички такого сорта отправляются в лес на «Волге» с изрядным количеством закусок и «горючего», а возвращаются налегке, привозят домой ведро карасей, купленных в деревне, застреленную компанией чайку или хлипкого чибиса, зато в теории лучше не спорьте с ними — бесполезно.

Вот прогуливается пожилой, в пенсне, стендовик, мастер спорта. Этот бьет без промаха, снимает утку за уткой как автомат... Лицензии ему в первую очередь. Он знаменит, горд своей славой. Ружье у него тысячное.

Добычу считает на десятки. Таких я совсем не люблю.

Поодаль стоит невзрачный мужичок в кепчонке, в серой курточке из шинельного сукна. Сапоги у него клеены-переклеены, рюкзак в пятнах, чехол у ружьишка протерся до дыр, оттуда и проглядывает высветленная кромка стволов. Он смачно курит, щурится от садкого махорочного дыма — чувствуется, человек наверху блаженства: опять в лес выбрался. У ног его сидит полулайка, полудворняжка с желтыми волчьими глазами.

Мягко подкатывает электричка. Грузюсь в вагон вместе с охотниками. Вагон быстро наполняется. Люди оседают на скамьях и полках, спорят, шумят, суется. Брякают, скрипят чемоданы. Плачет ребенок. Женщина, укачивая, шипит: «Ш-ш-ш-ш». Чьи-то сапоги свешиваются с верхней полки, грозя треснуть по лбу. Человек возится, шуршит, бормочет чего-то, укладывая узлы. Неожиданно подле стенки начинает сыпаться какая-то крупа. Оказывается, у пассажира на полке лопнул кулек с рисом. Отряхивает щедро засеянную рисом голову, улыбочиво морщится соседка — большая, тихая, красивая девушка. И я улыбаюсь. Так она мне нравится сразу. Вагон дергает. Стихают суета и шум. Люди замолкают, усаживаются, приглядываются друг к другу. Женщина с ребенком, завернутым в шаль, молча появляется в проходе, молча протягивает руку. Пальцы в кольцах.

— Бог подаст! Работать надо! — презрительно окатывают сидящие с краю женщины. Побирушка молчит. Идет дальше. Лицо бесстыжее. Из тех не то цыганских, не то среднеазиатских лиц, по которым не разберешь, тридцать ей или пятьдесят.

Я люблю в дороге смотреть на людей и потихоньку догадываться: кто они, куда едут, какую жизнь прожили. Вон тот, с морщинистым, словно продымленным лицом и подстриженными неопределенно-рыжеватого оттенка усами, должно быть, машинист, сейчас на пенсии, а едет по грибы. Рядом с ним женщина, добрая с виду. У ней, наверное, много детей. Вот болезненная старуха с молодыми вставными зубами. В очках, за толстыми стеклами, глаза ее кажутся огромными и сырыми. Она, конечно, ездила в город «ко врачу».

Свежая бабенка в белом полухалатике с большой корзинкой пирогов является из тамбура.

— Пирожков кому, с рисом, с ливером, — звучно и весело говорит она. Начинается торговля.

— Пощём оне? — спрашивает болезненная старуха и, подумав, не берет.

А поезд все никак не может выбраться из станционных построек. Мелькают и отстают пакгаузы, вагоны, цистерны, железное кружево перекидных мостов, домики станций с белыми обводами.

В окно подувает ветром, и новый запах — сладковатая гарь нефти — доносится в купе. Везде тепловозы. Они стоят на путях, тянут составы, грохочут, вихрем проносятся навстречу, так что вздрагиваешь с перепугу. Редко виден черный паровоз-трудяга. Глядя на него, думаешь: «А ведь дорога-то совсем изменилась». Вон и столбы из бетона, и длинные обтскаемые вагоны, и толстые проволоки контактной сети, туго натянутые над рельсами. Плечистые столбы высоковольтных трасс часто перешагивают полотно, уходят в леса. А подле дороги старые теплушки в тупиках. Кое-где живут люди, сушится белье — голубые женские трусы, рубашки, порты и простыни. В детстве я до боли завидовал жителям на колесах. Какая благодать! Захотел и поехал всем домом куда-нибудь... В детстве всегда хочется ехать.

Охотник с дворняжкой опять без стеснения кадит махрой. Моя соседка улыбается и покашливает, а я смотрю на ее крупные белые руки, на волосы теплого ржаного цвета и не перестаю удивляться ее цветущей молодости. Таких девушек не бывает в городе. Только в деревне на лесном воздухе, парном молоке и простом хлебе может подняться эта юная свежая красота.

Девушка, должно быть, студентка или поступать ездила. На коленях у нее ученический портфельчик да сетка с разным женским добришком.

Хочется заговорить, но не решаюсь.

Не начинать же беседу заношенным вопросом: «Далеко едете?»

А за окном уже мелькают березняки, зыбкая тень бежит по стеклам. Яркими вспышками прорывается солнце. Елани со скошенной травой плавно уносятся назад, и снова лес, мелькание стволов, на поворотах кажется, что сосны и березы бегут, бегут, обгоняют друг друга. Скоро моя станция. Надеваю рюкзак, беру ружье, а сам все думаю об этой девушке.

— Ну, вот мне выходить уж! — глупо говорю кому-то, надеясь втайне, что она, может быть, откликнется,

хоть доброго пути пожелает. Девушка чуть розовеет. Молчит. Иду к выходу. Затылком чувствую ее взгляд. А в груди теснится не то обида, не то не знаю что...

Грустны подчас такие неожиданные, негаданные, молчаливые встречи. Столкнутся два человека, посмотрят друг на друга, затоскует один, а то и оба, и дальше идут, теряясь навсегда.

Станция. Желтые домики. Сад из тополей. Старинный колокол. Башня водокачки. Все как пятнадцать лет назад... Нет, не все. Новые светофоры, новые пути. Радио простуженным железнодорожным голосом объявляет отправление. Два зеленых электровоза с грохотом сдвигают бесконечный состав, клацают автоматические стрелки.

Новые лозунги висят над чисто прибранным перроном, над входом в станцию. «Мы боремся за звание коллектива коммунистического труда». Та же, что и в городе, большая, заботливая жизнь бьется здесь.

Сворачиваю по мостику через речку с черной водой, иду поселком. Он вырос, раздался, улицы оттеснили лес. Двухэтажная школа стоит на бугре в зелени тополей. Ее тоже не было. А улицы тихи, как прежде. Редко взлает собака, ребячьи голоса донесутся со двора, истомно пропоет петух да чье-нибудь любопытное лицо выглянет из-за тюлевой занавески, из-за горшков с геранями. У иных изб подрублены венцы, антенны телевизоров подняты высоко над крышами на сосновых жердях, новые срубы в золоте щепы, свежие крыши... А вот на ошкуренном, с подтеками серы, толстом бревне сидят две девочки, лет трех и четырех. Обе беловолосые, сероглазые, обе в коротеньких измазанных платьях и без штанишек. Они, как две лесные зверушки, с упорным младенческим вниманием смотрят на нового человека. Закатное солнце светится на их головенках.

Тороплюсь. До кордона, где думаю остановиться, добрых пятнадцать километров, а ведь темнеет в августе скоро, не то что весной. Можно, правда, заночевать в лесу, однако лучше выспаться в избе, ведь одинокие ночевки у костра только в романах хороши, на практике спать приходится одним глазом. Торная тропа ведет меня с уезженной грузовиками и тракторами лесовозной дороги через пустой сосняк на высоковольтную трассу. Нет ничего скучнее такого вот обжитого, дачного, сухого леса. Высокие голые сосны, трава вытолочена, сучки

собранны, желтая хвоя пересыпается под сапогом. В таком лесу нет ни птиц, ни бабочек, ни грибов, ни ягод. Здесь можно лишь развешивать гамак и наслаждаться тем целебным сосновым воздухом, о котором, закатывая глаза, рассказывают любители лечиться и «адыхать». Что ни говори, а близкое соседство с человеком лес пока не привык переносить. Может быть, люди не научились жить с ним в ладу?

Тощий сосняк сопровождал меня до самой трассы. Широкая и ровная, она привольно пересекала горы, суживаясь, уходила куда-то на запад. По-видимому, здесь кончался привычный маршрут дачников, потому что лес пошел веселее, гуще, или просто кончилось унылое однообразие соснового бора. Березы, осина, ольха и липа росли по обе стороны попеременно с темными елями. Добрый густой лес живо напоминал среднерусские дубравы с их оврагами, зарослями орешника, с песней черного дрозда и славок-черноголовок. Здесь не было дубов и орешника, зато обильно краснела калина, жимолость пряталась в тени осин, темные стволы молодого липняка образовывали красивую и густую чащу, а высоко над макушками леса поднимались лиственницы с бледно-зеленой хвоей и немногими серыми сучьями. В их торжественной, величавой высоте есть что-то первобытное, загадочное и жуткое. Стоя у подножья дерева, чувствуешь себя пигмеем рядом с его необъятным стволом, нацеленным в облака. Недаром любит лиственницы древняя птица глухарь, и лесные орлы строят гнезда по их вершинам.

Сейчас в лесу гложет предвечерняя тишина. Август — самый молчаливый месяц лета. Не поют птицы, меньше насекомых, один кузнечик сонно и сухо засипит в пожухлых соломинах злаков и тут же смолкнет — совестию ему. Птицы линяют, готовятся к осеннему кочевью, к долгим холодам. Надо зорко смотреть, чутко слушать, чтоб по немногим отрывочным звукам, писку и шелесту чувствовать, как бьется лесная жизнь. Вообще уши в лесу важнее, чем глаза. Они предупреждают и указывают раньше того, как успеваешь заметить.

Вот сейчас, достигнув вершины лесистого увала, я услышал за гребнем негромкие гортанные звуки вроде квохтанья. Уши сказали: «Это не копалуха, не рыжая самка тетерева и не лесной голубь вяхирь». Я осторожно выглянул за вершину и увидел на склоне большую

сгорбленную птицу. Птица что-то клевала, вернее сказать, отрывала, низко опустив шею, переступая оперенными лапами. По светлому хвосту и угловатому корпусу я узнал орлана-белохвоста и спрятался за гребень. До птицы было шагов сорок, и я начал снимать ружье, но потом передумал, надел снова. Орлы так редки стали сейчас, что убивать их рука не поднимается. К тому же пришлось бы ворочаться с добычей назад — не таскать же за собой полупудовое пернатое чудовище.

Я шагнул за гребень — хищник встрепнулся. Неловкий прыжок, и он взлетел, широко и плавно вскидывая саженные крылья. Орлан был очень старый, пепельно-светлый и белесый снизу.

В примятой траве близ тропы нашел я остатки трапезы — кровавые клочья рыжей шкурки, лапки и голову молодого зайца. Очевидно, незадачливый белячок перебежал трассу. Станным было то, что орлан охотился в лесу. Обычно они живут по большим озерам. Быть может, мудрый хищник уже почуял приближение осени и неторопливо двинулся к югу или трасса привлекала его возможностью ловить перебегающих зверьков.

Склон увала упирался в заболоченную низину. Густой ельник обрамлял ее справа и слева, верблюжьими горбами стояли высокие кочки, и бревенчатая длинная слань серым половиком пролегла через болото.

Место отчетливо припомнилось. Здесь еще подростком я видел другого большого хищника — ушастого филина. Он вылетел вечером на трассу и присел на столб телефонной линии, желтоглазый и пушистый, в полосатых штаниках. Филин тогда мне очень понравился, и я, разинув рот, глазел на круглую, теплую птицу, пока она не слетела и серым привидением исчезла в ельнике. Может быть, этот филин по-прежнему жив-здоров, смотрит на меня, идущего по зыбкой гати, припоминает, где встречались.

Идти по слани трудно. Бревенчатый настил давно иструх, поленья шевелились, ерзали, мягко ломались. Иные места были обрушены совсем, жидкая топь зеленела в «окнах». Из нее торчали обломки стволов, и временами что-то всхлипывало и чмокало. Через провалы я переползал по главным следам — они были из листовых стволов и не гнили даже в болотной сырости. Другой причиной медленного продвижения было удивительное обилие змей. Серые и черноватые гадюки то и

дело не спеша спускались в осоку, уползали под настил. Я не испытываю к змеям того гадливого ужаса, какой испытывают многие, но все же близкое соседство ядовитых пресмыкающихся было не из приятных. Особенно остро я почувствовал это, когда присел отдохнуть и опустил ноги в болото. Близко послышалось злобное «с-с-с», тонкий хвост юркнул под настил. Я вскочил на слань еще поспешнее, оставив в болоте один сапог.

Уже миновав змеиную гать, радостно ступая по твердой земле, я испугался снова. Что-то серое зашелестело под ногами. Кинулось по траве наутек. Оказалась совсем не змея, а большая ящерица. Ее я загнал под куст, поймал, посадил в банку из-под горчицы.

— Сиди! — сказал я ей. — Ишь какая пузатая! — Ящерице по человеческим законам давно пора было в отпуск. Она сидела, как малахитовая статуэтка, только белая кожа под горлом быстро-быстро пульсировала. — Привезу домой, выпущу в огороде. — Детская страсть тащить домой всякое зверье не прошла у меня с годами.

После гати, по моим расчетам, оставалось километра два до места, где тропа сворачивала в сплошные леса. Ни теперь, ни раньше я не мог установить, сколько же километров от станции до этого поворота? Отец говорил — десять, лесник, у которого мы ночевали, — восемь, рабочие со станции — пятнадцать. Мне же казалось, что повороток перемещается: то подбежит совсем близко — рукой подать, то шагаешь, шагаешь с горы на гору, с увала на увал, а его все нет и нет.

Терпение стало истощаться. Беспокойство: «Уж не прошел ли мимо как-нибудь?» — крепко засело в голове. Но вот тропа резко повела вправо и вверх по пологому склону с высоким сухим редколесьем.

«Наконец-то», — вздохнул я, устало присаживаясь на голубой овальный валун. До Ягодного кордона теперь восемь километров, полтора-два часа ходьбы. К ночи как раз доберусь. Замечу, что восемь тоже равно десяти, равно и пятнадцати. Уж больно приблизительны тягучие лесные километры.

Наслаждаясь отдыхом, бездумно сидел на теплом камне, поглядывал окрест, жевал ржаную горбушку. По склону когда-то прошел низовой пал. Он пощадил немногие большие деревья, и теперь они засыхали, высокие и истощенные, с причудливыми изгибами сучьев.

На такие «сухары», как зовут их на Урале, любят садиться ястреба и соколы, караулящие свою добычу, и я дважды отметил вдали четкий силуэт перепелятника, похожий на брошенную кем-то плавно летящую кирку. Ястребишка, конечно, первым разглядел человека и не рисковал соваться на выстрел...

...А хлеб был такой вкусный, свежий, с ароматной потрескивающей коркой, вот пишу сейчас, вспоминаю — так бы и поел. Я купил его на станции в сельском универмаге, где было все, начиная от колесной мази и водки, кончая мануфактурой, корытами и аккордеоном. Почему-то в Свердловске не пекут такого замечательного хлеба. Да, кроме того, вприкуску с лесным воздухом в сладость и ржаной ломоть, и лук, и квас, и другая немудрая еда. Это давно известно. Папиросы в лесу не годятся. Лучше всего махорка — ядреная, кислая, трескучая махра, от которой с одной затяжки глаза лезут на лоб и в один день желтеют ногти, будто окрашенные хной.

На старой гари во весь склон рос сплошной ягодник. Темный брусничник с кожистыми лаковыми листочками путался с похожей целебной толокнянкой. Светлыми островками зеленела черника.

На ягоднике кормились дрозды. С квохтаньем и чаканьем взлетали они далеко впереди, напуганные шелестом шагов. Я различал крупных, с галку почти, дряб, сизоспинных рябинников и еще каких-то мелких дроздов, не то певчих, не то белобровиков. По весне, на гнездовьях, дрозды не боязливы. Они налетают на человека со всех сторон, оглушая его треском и стрекотаньем, обливая жидким пометом, едва он приблизится к глиняной дроздовой колонии где-нибудь в невысоком сосняке. Зато под осень нет птицы пугливее дрозда.

Брусничник на склоне уже был кем-то старательно обобран, одни белые мелкие ягодки попадались изредка. Срывая их, я ел, морщился и с горечью думал, что, пожалуй, не добратья мне до страны звериных троп и непуганых птиц. Иногда, набродившись в далеких лесах, до слез радуешься первым следам человеческой деятельности: стогу сена, затеске, поленнице дров, но когда идешь в леса из города с намерением забраться в глушь, желание бывает противоположным. Вообще лес возле трассы за пятнадцать лет стал заметно беднее птицей и зверем. Я помню, как по этой же трассе то и

дело с пугающим шумом вылетали тетерева, осторожные копалухи величественно снимались с высоких лиственниц, басовито кокая, помню, как косули рывкали в ольховом болоте совсем близко. И куда же все подевалось? Такой вопрос сам собой рождается, если идешь сквозь грустно молчаливый лес. Это очень горький вопрос.

А между тем тропа клонила к подножию увала. Там должен был попасться темный ложок. Даже в самый безоблачный день в нем было темно, как в подполье. Лог зарос липой, елями, пихтой. Липовые дуги нависали над тропой. Молодые елочки, зачахшие в полутьме, теснились к тропе дружной гурьбой, тянули к свету зеленые ручонки. Запахи сырости и грибов, влажного мха и пихтовой хвои всегда стояли там.

Пара вальдшнепов темными силуэтами слетела с дорожки при моем приближении. Глазастые лесные кулики добывали червей, я увидел ланцетные дырки на мокрой земле — сюда птицы погружали свои чуткие клювы.

Черный лог начался. И было в нем мертвенно тихо и жутко.

Непроглядный ельник постепенно переходил в сырой липняк. Плюшевые ели стояли теперь гигантскими пирамидами меж кривых и склоненных лип с черной и серой морщинистой корой. Рябина светло краснела и пряталась тут же в желтом и малахитовом бархате. Опавшие круглые листья уже густо устилали землю, желтели на темном лапнике. Поздно цветет, рано облетает русская липа, и хороши бывают ее черные ветки с немногими желтыми листьями в осеннем блеске холодного, голубого дня.

Тропа суживается, почти исчезает, и у самого ее края, приподняв лесную подстилку, проглядывают сырые грузди-моховики. Осторожно переворачиваю один, другой, третий, обламываю хрупкие корешки, оглядываюсь и вдруг соображаю, что грибов здесь видимо-невидимо. Все пространство под широкими ветками молодых лип, между стройными елочками покрыто бугорками, под которыми угадываются грибы. Иные уже потрухли, другие стоят крепко, уставив уши-воронки, слушают лесную тишину. Грузди растут семьями, мостами, плотами, а над ними возвышаются поодиночке колпаки подосиновиков. Важные грибы стоят, как начальники станций на перроне. А вдалеке, под елками, краснеют

пантеровые мухоморы, бледные поганки в модных шляпках торчат у гниющих колод — целая грибная симфония.

Я начинаю понимать, что темный ложок был тем последним заслоном, которым отгородился лес от грибников. И если дряхлые бабуся, что ходят по грибы километром за тридцать, как-нибудь, с помощью Николы-святителя, перебирались через гать, то тьма и глушь Черного лога были для них препятствием непреодолимым. Лес после лога пошел совсем глухой, и, если не считать едва различимого лотка примятой травы, никаких признаков людей не обнаруживалось. А впрочем, следопыт я неважный, потому что хороший следопыт, вроде Кожаного Чулка или Дерсу Узала, тотчас сказал бы, какой человек прошел здесь месяц назад, был ли он старик, или ему тридцать, как мне, был ли он женат или холост. Зато нашел я в траве новую заржавелую подкову, из чего заключил, что она принадлежала лошади, лошадь — леснику, а лесник, живущий на Ягодном кордоне, вероятно, человек бесхозяйственный, ленивый или больной, потому что у доброго хозяина конь всегда кован крепко, на полный круг.

Находке своей я очень обрадовался. Во-первых, издавна известно, что подкова — некий счастливый амулет, и, значит, неизменная удача ждет меня впереди, а во-вторых, она напомнила мне далекие детские дни.

В городе возле нашего дома при перекопке гряд подков попадалось немалое количество. Моя бабушка, Ирина Карповна, приняв находку в корявые изрубленные руки, всегда с теплым умилением осматривала ее и бережно уносила под сарай. Не знаю, откуда брались эти большие, изъеденные земляной сырью подковы. Может быть, шли здесь лет пятьсот назад неведомые племена, может, кипела жестокая битва, о которой не знает история, — ясно одно, что по количеству найденных подков я был одним из счастливейших людей, и вот надо же — еще одна, даже плоские гвозди в ней целы, а это, как уверяла бабушка, счастье внакладку.

Так, раздумывая о подковах и счастье, я прошел без приключений километра три, пока не встретил гигантскую сосну, рухнувшую поперек тропы. Я сел верхом на ее толстый комель, отдыхал, ступни ныли сладкой болью.

В долгой тишине слух настолько обострялся, что слышалось, как падает лист с берез, как шелестит хвоя под лапками муравьев. Вдруг совсем рядом раздалось

какое-то поскрипывание: «зи, зи, зи». Оно казалось знакомым. Я силился вспомнить, где слышал такой звук, и вспомнил — стал внимательно приглядываться к морщинам коры. Вот же! На серо-бронзовом сучке сидят два жука-усача. Сосновые дровосеки. Их называют в народе стригунами, будто бы за способность стричь волосы на голове. Сколько раз пускал я таких стригунов бегать по голове, и ни один из них не брался за парикмахерские обязанности. Я почти уверен, что на стволе сидела влюбленная парочка. Скрип же не что иное, как вечерняя серенада, которой услаждал свою подругу жук покрупнее и подлинноусее, быстро-быстро двигая жесткой шейкой. Маленькая самка слушала молча. Впрочем, здесь мог быть просто семейный разнос, устроенный нерасторопной жене. Один вариант не исключает другого. Ведь в мире жуков, бабочек, птиц должна быть и ревность, и ссоры, и сентиментальные минуты, не говоря уж о любви.

Жуков-усачей я знал хорошо по тем временам, когда искал их для коллекции. Они попадались поодиночке, реже парами, но никогда компанией, хоть были многочисленны. Цветочные усачи — лептуры, полосатые, как зебра, страгалии встречались мне очень часто. Сорвешь на луговине пахучую кисть таволги, и на ней обязательно есть пара усатых-полосатых. Реже находил я зеленых осиновых скрипунов. Это были серьезные жуки-мечтатели. Возьмешь такого в руку, а он и не пытается вырваться, лишь шевелит членистыми усиками, сидит, поскрипывает задумчиво.

Пока я разглядывал жуков, стемнело. Я заспешил. А когда торопишься, всегда начинает попадать что-нибудь интересное. Сначала из липняка у тропы слетел большой черно-сизый глухарь, потом за поворотом в темном осиннике затрещало, и кто-то большой начал ломиться во всю мочь, тяжело вздыхая. Я встал. Слушал, как шумят листья. Руки дрожали. Кто там ломился, удаляясь прочь: лось ли, медведь или сам леший — ничего не знаю.

Да скоро ли кордон? Уж не заблудился ли я?

И вдруг через десяток шагов с радостью узнал место. Тропа вывела на небольшую елань, обросшую темным лиственным лесом, в сочной траве хлюпала вода. Не знаю почему, но лужок этот всегда сочился водой. Даже в самое засушливое лето здесь было сыро, хоть

ни ручья, ни ключика, ни какой-либо другой теклины нигде не обнаруживалось.

— Тако уж мочливо место,— пояснил мне когда-то огневщик Кузьма, живший на кордоне.— Из-под земли, видать, вода проступает.

Я перешел хлюпающую елань, пересек полосу густого ельника, и передо мной открылась широкая луговина меж двумя пологими лесистыми увалами. Ближе к опушке чернел полуразрушенный барак с пустыми глазницами широких окон. Давным-давно жили тут рабочие-лесорубы. К бараку примыкал добротный дом лесника — кордон. Громадные многоствольные березы величаво стояли на опушке над осиново-ольховым мелкоколесьем.

В синем воздухе пахло сыростью и сеном. Навстречу мне со злобным лаем вылетела взъерошенная дворняжка. На глухом дворе лесника, гремя цепью, басила овчарка. В жилой части барака заскрипела дверь. Согбенный старик, стриженный по-кержацки, в скобку, вылез на порог.

— Кого надо? — шурясь всем загорелым лицом, спросил он.

Пока я объяснял, что хотел бы видеть лесника, старик что-то жевал, поблескивая на удивление крепкими зубами, выбирал крошки из бороды и разглядывал меня с простодушным любопытством, как ребенок обновку.

— А никого нету. Павел Васильич в Свердловско уехал, и жена с им. У его двое сыновей в Свердловском живут. Дома хорошие у обоих,— словоохотливо пояснил он.

— Как бы мне переночевать или пожить здесь дня три,— изложил я свою просьбу.

Старик еще раз поглядел.

— А живи, место есть,— просто ответил он.— На охоту, што ль?

— Вроде бы...

— Айда заходи...

Так я познакомился с помощником лесника, или, как он сам себя именовал, полесовщиком Иваном Емельянычем.

Комната в бараке была все та же, что и пятнадцать лет назад, когда жил в ней огневщик Кузьма,— низкая, с облупленным от многократной побелки потолком, с бревенчатыми стенами, на которых висели пожел-

телые картинки, с покривившимся окном. Немудренная печка. Очажная плита, стол, лавка, икона в углу с темным ликом неведомого святого и тусклой позолотой, кровать с пологом из цветастого ситца. На столе на перевернутой кринке семилинейная лампа. Даже воздух в комнате тот же — пахнет керосиновой копотью, махоркой и овчинными тулупами. Стало, пожалуй, погрязнее, да ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Иван Емельяныч был один.

— Старуха к дочери в Мурзинку ишо вчерась укатила, — сообщил он мне. — Чай, что ли, пить станешь? Самовар горячий. Али молока принести? Ну, и я с тобой за канпанию посижу.

Я достал из котомки разную снедь. Мы сели за чаепитие. Сближает людей совместная еда. Садись чужаком, встаешь иной раз близким родственником. Так получилось и сейчас. Иван Емельяныч расспрашивал про городскую жизнь, интересовался, что там и почему, и есть ли в магазинах хорошие резиновые «сабоги», и в какие дни открыт толкучий рынок. Про свою жизнь он говорил просто и кратко. Было видно, что она для него так же ясна, незамысловата и пряма, как торная лесная дорога. Иди себе, все равно к людям придешь. Старик неожиданно оказался в курсе всех внешнеполитических событий.

— Радиво есть, — ответил он на мой удивленный взгляд. — Наушники. Зять наладил. Всё со старухой слушаем... А то еще Павел Васильич «Уральский рабочий» получает. Я же за им в Мурзинку по два раз в неделю езжу. Вот кабы электричество нам провели. Ну тогда бы мы со старухой и телевизор как-нибудь купили. Ой хороша штука! У дочери есть... Тогда бы не жизнь, а, прямо сказать, рай. Вечером смотри себе сиди, а хошь на койку приляг... Вот, сказывают, скоро к Верхнеуральску трассу станут рубить. Тогда уж электричество нам будет.

Потом он пустился рассказывать, где видел какое зверье, где сгонял крупную птицу, — справедливо полагая, что меня, как охотника, должны заинтересовать его сообщения. Сам же Иван Емельяныч, к изумлению моему, охотником не был, даже ружья не имел.

— С малолетства не приучен. А счас уж поздненько начинать... Не люблю... По малину, по клюкву, по шишки — это пожалуйста. Павел Васильич, однако, охотник.

Сыновья евоныи тоже... Оне тут и выколачивают птицу-то.

Он хотел еще что-то добавить, но, помолчав, перевел разговор на другую тему.

— Третьего дня иду утречком с покосу по Рябиновке. Солнышко ишо чуть поднялось. Холод. Роса. Слышу, мельтешит кто-то у речки, в ситнике. Ближе подошел — барсук. Гладкой, как боровок. Увидал меня, уркнул — и ходу... Только кусты сшумели... Лису надысь видел, за увалом, на вырубке. По ягоды я ходил. Дак ведь она до чего хитра, поняла, что ружья при мне нет, и стоит, шарешки-то вытаращила...

Спать легли поздно. Старик все рассказывал и рассказывал. Я слушал, пока не почувствовал, что под веки надо ставить подпорки.

— Ну-ко, давай-ко ложись, — засуетился Иван Емельяныч, — хошь на койку, хошь на пол, а то на пече спи...

Лезть на пыльную печь не хотелось, занимать кровать было совестно, и потому я устроился возле очага на двух полушубках, а сверху накрылся курткой. Старик дунул на лампу и тоже улегся.

«Э, добро! — подумал я, засыпая. — В лесу сейчас холод, сырость, а здесь хорошо...»

...Проснулся скоро. Было темно. Ноги и тело нестерпимо зудели. Я попытался заснуть снова, но не смог. Теперь уж явственно чувствовалось, как кто-то маленькими шажками бегают под одеждой. Я сел, нащупал спички. Зажег.

По печной стене, напуганное светом, заметалось стадо гнedyх поблескивающих тараканов. Какие-то тени мелькнули на полу. Но самое страшное, что открылось в догорающем свете спички, — вереница клопов.

Иван Емельяныч храпел под ситцевым пологом, как испорченный водяной насос.

Я встал, не зная, что предпринять, и в конце концов решил выйти вон.

Глухая тьма августовской ночи. Темно так, что кажется, будто ты ослеп. Лишь понемногу глаза осваиваются, начинают различать неясные предметы, угольную темь леса, линию горизонта. Жителю города трудно представить настоящий лесной мрак. В городе и окрестностях его нет. Фонари, окна, вспышки сварки, белые стены, все разгоняет тьму, светлит ночь, а здесь не све-

тит ничего, кроме звезд. Зато какие ясные звезды сияют в несказанной высоте! Как много их! Здесь видны и те, которые в городе не замечаются. Тысячи тысяч, бездны невообразимо далеких огоньков, а за ними, едва видимыми, глаз угадывал еще что-то светящееся, не различаемое вполне.

Звезды, звезды! Они всегда рождали неясное волнение. Они светили сюда из непохожих миров, и моя жизнь под ними была микроскопической пылинкой. Вот эти же волшебные-прекрасные сочетания белых огней видел и кроманьонец, с кремневым копьем подбирающийся к стаду мамонтов, они светили ладьям норманнов в волнах Атлантики, по ним шли к западу кочевые орды. На них смотрели партизаны в пустошах Брянских лесов, к ним в смерче огня и грохота взмывали тяжелые ракеты... Пройдут века, тысячелетия и эры, а они все так же будут светить новым людям новой земли и, быть может, приблизятся, когда фантастически могучие звездолеты направят к ним свой кометный путь. Звезды... Они всегда звали человека куда-то вдаль, давали ему силу и мужество, и недаром люди взяли звезду символом счастья и свободы.

До предела расширенные зрачки уже различали лесистый склон спящего увала, смутную белизну ближних берез, силуэты высоких лиственниц, а само небо словно посинело, особенно над горизонтом, прозрачной темной синевой. А какое первобытное молчание стило над луговиной: ни ветерка, ни шороха, ни звука.

«Что если заночевать в пустой части барака?» — подумал я.

Я прошелся мимо отверстых окон барака, заглянул в одно из них и не очень смело полез внутрь. Нога сразу же встала на упругое, мягкое, так что я вздрогнул всем телом. Но через секунду стало ясно: на полу метелки и веники, целая груда свежих березовых метелок. Тогда я сходил за полушубками, основательно вытряс их, растелил один на метелках, другим решил накрыться. Ночь была свежая.

Известно, что, когда перебьешь сон, уснуть снова в незнакомом месте трудно. Я лежал с раскрытыми глазами, тщетно пытался настроиться на сон. А под метелками возились, попискивали мыши, цвирикали землеройки, в углу кто-то грыз и точил дерево острыми зубами. Я швырнул в угол веником, однако грызун угомо-

нился ненадолго и вскоре продолжил свое занятие. Едва я начал засыпать, как явственно почувствовал движение воздуха. Черный силуэт птицы с блестящими глазами появился на подоконнике. Приподнялся на локте — птица исчезла. Чуть задремал — снова шорох на окне...

Я выругался и сел. Ну и барак! Не лучше ли было спать в лесу, а то и клопы, и тараканы, и совы, и мыши, и черт знает что! Не хватает лишь домового.

А в это время на чердаке завожилось, забегало, затопало, земля посыпалась сквозь щели прямо на голову, за воротник, и так же внезапно все смолкло. Вот и домовый. Кому же быть еще?

Однако ручные клопы Ивана Емельяныча показались мне страшнее. Я снова прилег на метелки, дремал, ощущая сладкий и свежий запах вянущих прутьев. Понемногу все начинало объясняться. Сова, наверное, прилетала в полуразрушенный барак на кормежку из-за обилия мышей, дерево грызла крупная полевка или крыса.

«А вот кто катался и прыгал по чердаку? Кто возился там, как черт за трубой, кто?» — думал я и чувствовал, что тону в глубоком сне.

* * *

Пробудился поздно. Солнце свежо и ясно светило в кривой проем окна. Кто-то неспешно отбивал косу на дворе. В летнем погожем тумане тепло и мирно синел лес. И так хорош был свежий утренний воздух, безмятежный переклик петухов, сладкая истома отдохнувшего тела, что не хотелось шевелиться. Давно-давно не просыпался я так, разве — в раннем детстве, когда утром не ощущаешь ничего, кроме спокойной радости пробуждения, здорового голода и простой мысли, что впереди долгий-долгий и веселый и теплый день.

Нехотя я поднялся со своего упругого ложа и еще раз оглядел заброшенную комнату. Она была чистая. На земляном полу лежали березовые листья и веточки. Их зеленый, вянувший аромат напоминал о тепле, о солнышке, о сухих вырубках, зарастающих мелким веселым березняком.

А в сумрачном дальнем углу, где не доставали солнечные пятна, двумя пыльными комочками висели летучие мыши. Должно быть, они крепко спали.

— Заколдованный замок! — сказал я, на четвереньках выбираясь из окна.

— Что, паря, клопы выжили? — спрашивал Иван Емельяныч. Он держал в руке направленную литовку и молодо улыбался белозубым ртом. — Они страсть до свежего человека охочи, окаянные. Говорил я тебе — на пече ложись. Там их помене... Видать, жару не любят, — философски заметил он.

Я решил провести первый день в лесу, неподалеку от кордона, и оставил у Ивана Емельяныча все, что могло меня обременять. Взял только ружье, корзину, в рюкзаке еду и котелок. Очень приятно идти солнечным утром в веселый смеющийся лес.

День обещается ясным, безветренным. Об этом говорит светлая просинь неба, спокойный шепот листвы в березовых косах и густая роса, от которой по колено промокают брюки. Она серебрится в траве, мелкой изморосью блестит на фланелевых розетках медвежьего уха. Листья манжетки с росяными каплями в середине, будто зеленые брошки, разбросанные в мураве, с топазами самой чистой воды. Сорвешь листок, а он держит каплю ворсистыми складками, и даже опрокинешь — она не падает в траву, сияющая, рожденная зарей и холодом, зеркальная поэзия утра.

В мокрых кустах давно возятся птицы. Их трудно углядеть, но я чувствую по движению ветвей, по внезапному трепету листвы, что все кусты полны скрытой, невидимой жизни.

Мне хочется забраться, где поглуше, и я шагаю к логовине. По дну ее катится на луг блестящий мелкий ручей. Речка — на Урале не принято говорить ручей — называется Гремущка. У Ягодного кордона их две: одна пошире — Рябиновка, другая — ее приток. В летнее время ручей в логовине едва сочится. До сих пор не могу понять: что в нем гремучего? Весной он играет, разливается, но и тогда не слишком бурно. Может быть, раньше название было Дремушка?

В логу, среди моховых валунов, под сумрачным пологом елового леса, речка не торопится. Желтоватая ледяная вода струится, огибая камни, и только там, где течение выходит на скользкую гранитную плиту, она мурлычет говорливо и однообразно. Этот немолчный плеск не разрушает, а лишь дополняет величавую тишь елового леса. Молчание. Покой. Спокойные краски зеле-

ни. Седина и бархат мхов. Матовое серебро лишайников... Еловый лес самый угрюмый, зато и самый величественно тихий. Здесь нет суетливого лепета листьев, веселой болтовни птиц, дрожания солнечных пятен и бликов. Здесь все торжественно, сурово и мудро. Мне всегда казалось, что ельники погружены в колдовскую вечную дрему. Здесь живут глазастые совы, и посвист певчего дрозда звучит, как флейта.

Сперва я шел по кромке лога. Потом спустился на дно с намерением забраться как можно выше по течению в нехоженую глухомань. Я перелезал через валуны, перешагивал через трухлые стволы поваленных берез, все в копытах бархатных трутовиков, в безобразных наростах чаги, продирался сквозь плотные молодые елушки. Лог переходил в овраг, суживался, темнел лес на его плечах. И порой думалось, что я пробираюсь по глубокому подземелью — так остро пахло сырой землей, мхом и грибами. Не один раз в плотной хвое молодых елок попадались глиняные гнезда дроздов, а фантастические мухоморы словно светились в полумраке своими пятнистыми шапками.

Конец оврага открылся неожиданно. Из-под много-тонной каменной губы стекала в песчаную ямку кварцевая струя воды, и зеркально-тонкие пузыри вереницей бежали со дна, где кипели, не образуя мути, золотые промытые песчинки.

От воды ноют зубы и лоб, но как же хорошо здесь в сырой прохладе среди елочек, пихт и рябин, никогда не видевших человека. Здесь открывался исток лесной поэзии — ведь от этой седой ключевой струи зависит и каждая ель, и моховая подушка, и рябчики, и ястребиные гнезда, и голоса дроздов.

А после короткого отдыха и водопоя я на четвереньках вскарабкался по желтой глиняной осыпи оврага и сразу попал в густой смешанный лес. Он одевал весь склон пологого увала, переходя по гребню в высокоствольный сосняк. Начали попадать грибы. Коричневые тонконогие подберезовики-обабки стояли в траве на равном удалении друг от друга. Я не обращал внимания на них. Не нравится мне хлипкий, быстро раскисающий шляпочник. Зато как хорош крепкий сафьяновый подосиновик на сером корешке или солидный боровик в дубленой кожаной шапочке. Они попадались не часто, и все же нашелся возле громадной березы целый выводок

таких молоденьких грибят, хоть в игрушки играй. На широченных, плотных пеньках надеты крошечные беретки. Укладываю выводок в корзину и все жалею, что не взял с собой ни красок, ни кистей.

Впереди попадают обезглавленные грибные корешки. Неужто и сюда забрались какие-то отчаянные грибники?

Вот раздалось недовольное ворчанье: «Бу-бу-бу-бу». Рыжий зверек винтом зашуршал вверх по коре. Я подошел к сосне, постучал по стволу. На голову упало несколько шишек, шляпа свежего подосиновика стукнула под ноги. Самой белки не разглядел — или прилегла где-то в густой хвое, или скрылась в дупле. Белка не дуручка: знает, какой гриб взять для сушки. Шляпка гриба была в самой поре — не перерослая и не маленькая, без единой червоточки. Я насадил ее на сучок и тронулся дальше, придерживаясь южного направления.

А день между тем светлел и теплел. На пригретых прогалинах наивными девичьими глазами голубела, смотрела из травы луговая герань. Бабочки-перламутровки, рыжие и серые, перелетали над ней — обыкновенные бабочки лесного лета. Мрачные шмели с брюшком, похожим на гетры футболистов, повисали на желтых цветах погремка и, клоня их, сладострастно зарывались в медовый венчик. Тишина. Золотой свет. Сухомень. Малиновыми копиями взметнулся иван-чай. Нет ни комаров, ни докучливого гнуса. И так мирно голубеет вышина, так ласково пригревает, так горько, и сладко, и сухо пахнет воздух, что не веришь в отход летних дней, в близкую осень на пороге.

Но вот на пенек взбежала семейка опят, перестойная трава ломается под сапогом, желтеет в тени осенний одуванчик-кульбаба, и сизые волосы осени уж протянулись от куста к кусту. Прощай, лето, прощай, ясное солнышко в березах.

Когда ходишь по лесу, голова удивительно очищается от городских и житейских дум. Здесь становишься проще, яснее самому себе, а может быть, просто умнее. Спадает, отслаивается, как омертвелый лишайник, все ненужное, чторосло на тебе, что тревожило и сердило. Оно становится далеким и ничтожным. Зато многое, скрытое, подавленное жизнью города, вдруг обостряется, встает на первое место. Уже чувствуешь, что острее глаз, вернее слух, легче ступает нога. Иногда мне начи-

нает казаться, что и уши мои шевелятся, как у оленя, сами собой поворачиваясь на ветер.

В лесу легче проверить жизнь, оценить свои поступки, а впрочем, едва ли много думаешь об этом, когда перед тобою беспрерывно встают еще недостаточно оцененные человечеством, ждущие своего признания чудеса красоты. Они всюду, куда падает взгляд. Удивительны своей узорной белизной стволы берез, гибкие и высокие, с целомудренной короткой кроной. А елки? Пирамидальные, густые, пахучие ели, как непохожи они на те измызганные ошкamelки, что продаются зимой на новогодних базарах. Стройные, ровные, молодые, они выросли в глуши, дышали чистейшим лесным воздухом, пили ключевую воду подземных родников, их не ощупывал жадный глаз лесоруба, не примеривался вороватый топор. И перед ними стоишь благоговейно, как перед левитановской картиной.

А кусты песенной калины с полированными шипами, с коралловыми ягодами, резная зелень рябин и сероватые стволы осинки, таких пугливых, тоненьких, трепещущих... Вот удивительные муравьиные небоскребы, сухие грузди, осыпанные хвоей. Срезаю крепкие корешки грибов, оборачиваю и нюхаю грибную решетку, всю в мелких медвяных каплях. Никакими словами не передать особенный сырой аромат свежих груздей! Его родит хвойный подзол, дождевая вода, туманные росы и еще что-то. Уж не раз пытались выращивать и грузди, и рыжики в садах, в парках, в теплицах, но пока растет там один шампиньон — гриб земляной и навозный. Я уже почти слышу, как какой-нибудь сухарь говорит: «Зачем вы воспеваете грузди? Кому нужны будут ваши рыжики через сотню лет, если люди научатся по своему усмотрению получать любые продукты?»

И я отвечаю: «И детям, и внукам так же нужны будут боровые рыжики, ели и березы, речные плёсы и муравейники, как нужны нам, а может быть, ценить их они станут дороже и найдут наконец ту форму общения с лесом, которая сделает человека и лес закадычными друзьями».

В сущности, я ведь тоже враг. Вот срезаю самые крепкие грузди, выбираю помельче, рушу грибницу. Не уходить же с пустой корзиной от этого девственного груздевища в молодых елках, уже посыпанного оранжевым и багряным листом. Здесь светло. Лучи солнца

свободно проходят сквозь высокие и редкие кроны берез. Небо меж ними безмятежно и чисто, земля тепла, а крепкие, запачканные землей желтоватые краюхи так холодны и влажны.

Корзина наполнилась на одну треть. Больше собирать не хочу. Пусть останется место. Может, рыжиков найду. И снова отдыхаю, лежу на траве. Муравьи подбегают к самому носу, удивляются, встают на дыбки, шевелят усиками, протирают глаза. Что за идол лежит тут? Они не боятся. Они только удивляются. Ведь храбрее муравья в лесу не встретишь никого. Мелкие синицы-пухлячки тенькают в вершинах берез, ныряют вниз, белыми комочками шмыгают в плюше елей, косятся хитреньким черным глазком, приподымают хохолки. Они тоже доверчивы, как дети, и, пожалуй, куда больше интересуется их волосатый паук-крестовик, который застыл в самом центре своей синеватой поблескивающей шелковой сети, натянутой меж небом и землей.

Время в лесу бежит неприметно. И самыми верными часами бывает желудок. Вдруг почувствуешь такой здоровый голод, что вполне начнешь оправдывать волков, которым таковой приписывается.

Мне хотелось добраться сегодня до широкой граневой просеки между лесными кварталами. Давным-давно мы собирали на ней бруснику. Просека разделяла сосновый бор, взбираясь из болота на склон лесистого кряжа.

На солнечной стороне горы брусника родилась в невиданном изобилии. Собирать ее можно было лежа. Ляжешь на живот или на бок и берешь горстями крупную бурую сладкую ягоду. Достаточно не глядя провести рукой по жесткому брусничнику, и в ладони останется порядочная кучка ягод, и так переползаешь потихоньку, пока не наберешь полный котелок. А котелок у отца был луженый, рыбацкий, ведро окуней легко укладывалось в него.

По расчетам, просека должна была проходить где-то близко. И все же не попадалась. Наверное, я отклонился к западу. Лес кругом глухой, незнакомый, нехоженный. Резко по компасу поворачиваю на восток, стремясь во что бы то ни стало пересечь лесную грань. Проходит полчаса, я плетусь через широкую гарь. Опаленные деревья засохли на корню, свалились, а кое-где обугленными столбами торчат среди живой молодой зелени, высоких метлистых трав и пеньков-обломышей. На

удобренной пеплом земле густо и светло зеленеет черничник. Место самое тетеревиное. Но никого нет. Только ветер слегка шелестит да мелкие птички шныряют в кустах, настороженно и удивленно провожают прищелкивающими восклицаниями и выкриками. «Так, так», — глубоко и глухо выговаривает садовая славка. «Уить, уить», — печально посвистывает пеночка-весничка. «Ти... ти... ти...» — однообразно повторяет теньковка. «Хи-чек-чек, хи... чек-чек...» — волнуется розовый луговой чекан. Но я не очень слежу за птицами, память сама регистрирует звуки, я даже не вглядываюсь в зеленую ткань кустов. Некогда. Впереди на обугленной сухаре сидит небольшая серая сова. Она, наверное, караулит полевку у норы. Ведь многие совы охотятся днем и вовсе не спят, как об этом усиленно распространяются несведущие люди. Завидев человека, сова благоразумно снимается с опаленной лесины. А я, проводив ее взглядом, тихонько выхожу на узкую поляну. Видимо, место здесь выгорело сильнее обычного и долго не зарастало. Серые плешины видны и сейчас в негустой траве. Даже две головешки лежат возле березового куста.

Но что это?! Головешки взлетают, превращаясь в узкокрылых длиннохвостых птиц, вроде ястребков. Козодой. Только почему вдвоем? Обыкновенно козодой, сероватая сумеречная птица с бесшумным полетом, встречается в одиночку. Лапки у них крошечные, как у стрижа, и потому козодой всегда лежат на земле, а пищу ловят в воздухе. Отлетают они рано. И испугнутая парочка не иначе как задушевные друзья, полегоньку кочующие к югу.

Продвигаясь по компасу, я почти не выбирал дороги и скоро, как говорят плотники, «затесался» в такую чащу колючего малинника, что вынужден был искать обходной путь. Сухой пальник¹, перекрещенный так и сяк, возвышался сплошным завалом. Одни стволы приходилось перелезать, под другие ползти на четвереньках, и я был рад-радехонек, когда гарь наконец уткнулась в моховое болото. Когда-то болото сдержало бушевавший низовой пожар, и он заглох.

Отчего же он возник? Может быть, молния зажгла сухое дерево, может быть, тлеющий пороховой пыж упал на пересохший мох... А скорее всего костер, безобразно

¹ П а л ь н и к — горелые свалившиеся деревья.

брошенный на произвол судьбы, незатушенная спичка, позабытая головня... Сейчас невозможно подсчитать, во сколько тысяч рублей, килограммов золота, лет человеческого труда обходятся такие спички. Пройдут долгие годы, пока лес заживит горелую рану.

Припомнился рыжебородый огневщик Кузьма, который как-то сказал мне: «Гляди, парень, не балуйся с огнем в лесу! От баловства вот такая беда случается». Он достал коробок спичек, зажег и бросил одну за другой три штуки, а через минуту, тщательно затоптав поползший огонь, снова повторил опыт. Из каждой трех незатушенных спичек одна начинала пожар. Простой опыт на всю жизнь запал в памяти, всякий раз, проходя через гарь, я вспоминаю курносого Кузьму с его тремя спичками.

Кончилось моховое болото. Крутой каменистый склон. И место ожило. Вот груда округлых валунов, будто принесенная великаном и сложенная тут. Сейчас покажется старая поленница, если только она вовсе не сгнила. И точно: вот поленница, уже совершенно иструхшая, поверх нее наброшен толстый ковер из зеленых и белесых мхов, редкие травинки растут кучками, дружно лепятся семьи трутовиков. Скоро будет брусничная просека. Раньше по ней рос молодой сосняк. Теперь он поднялся высоко. Унылый серый карандашник, сквозь который надо прорубаться топором — иначе не пройдешь. Я никогда не узнал бы место, если б не старая высоченная лиственница с орлиным гнездом в развалине вершины. Она стоит так же величественно и крепко, как пятнадцать лет назад. Киргизской шапкой чернеет широкое гнездо. Может быть, орлы подправляли его каждую весну. Теперь я ориентировался точно и через сотню шагов был на брусничнике.

А где же он? Тонкое густое мелколесье толпилось вокруг. А брусничник заглох, он попадался на редких прогалинках кое-где.

Разочарованный, я бродил по мелколесью, и вдруг впереди, справа, слева, сзади из травы и кустов начали вылетать пегие и рыжеватые глухарята. Выводок! «Ко-ко-ко», — потянула над кустами матерая старка. А глухарята расселись по сосенкам, глуповато вытягивая шеи, следили за человеком.

Ружье не поднялось. Ну что же тут благородного? Что волнующего? Прицелиться сейчас в краснобрового

петушка, дагнуть на спуск? Выстрел. Большая птица, сбивая сучки, валится в траву, шумно бьется, роняя темные клюквины крови, и затихает уже в руках в предсмертной тоске, безумно и кротко глядя на убийцу.

«Не я, так другой...» — думает охотник и все-таки отводит глаза от еще теплого тела. Он роется в патрон-таше, суетится, продувает ружье и, видно... не рад, нет, пока вовсе не рад...

«Не я — так другой!» — проклятая формула. Из-за нее платили и платят жизнью тысячи тысяч жителей леса.

Иду прямо на глухаренка. Испуганная птица вся подобралась, еще сильнее вытянула шею и, подпустив метров на двадцать, полетела в глубь леса, невысоко над землей.

Спустя некоторое время я уж поругивал себя за излишнюю сентиментальность. «Попробуй-ка еще найди так удачно глухариный выводок. На самом виду сидели. Худо-бедно, а пару-то мог бы снять... И домой бы вернулся не как-нибудь... не попом».

Ведь в городе на идущего с вокзала охотника смотрит всякий. И если шествует он с раздутой сумой, увешанный по бокам и по спине белобрюхими утками и воронами тетеревами, торжественно-усталый, черный от лесного загара, деланно равнодушный к мирской славе, — всяк скажет: «Это, брат, да. Наколотил!!»

Зато с каким нескрываемым презрением посматривают на ссохшийся рюкзачок неудачника, и вряд ли он представляет, сколько обидных эпитетов и сравнений вслух и мысленно отсыпает ему любой встречный.

Обедать расположился я у того же елового лога по Гремущке. На обрыве оврага было чисто, сухо, уютно.

Могучие сосны росли по откосу. Их тихий мерный шум ладно сливался с простым и понятным шелестом красивых, высоких тонких берез. Будто одушевленные, они переговаривались спокойно и задумчиво, поглядывая, как человек у их подножия суетится, таскает сучья, ломает сухие остовы елок, снует взад и вперед по откосу к воде.

Я устроил над огнищем нечто вроде таганчика на рогульке и следил, как костер постреливает, клубит голубым еловым дымом, как пламя, добравшись до прогалины в сучках, жадно просунется в нее, грызет сухое дерево, палит хвою, обтекает копченый бок залужен-

ного котелка. Минут через пятнадцать каша клокотала, пузырилась и фыркала — ни с чем не сравнимая лесная каша, с маслом, с дымом, с ржаным хлебushком и печеными с солью груздями.

Я принялся за нее усердно и временами, кажется, слышал тот самый писк за ушами, который отличает добротного едока от анемичного создания, едва ковыряющего в тарелке.

Всех больных, страдающих отсутствием аппетита, плохим сном, малокровием и худосочием, следует без раздумий отправлять в леса недельки на две. Успех лечения заранее обеспечен. Давно известно, что лес — целитель, но не умеем мы еще как следует пользоваться его дарами. Много-много лекарств пришло и приходит к нам из леса, но вряд ли можно представить, сколько векового дубового здоровья таят нетронутые чащи, сухие боры и светлые опушки. В лесу скрыты средства от рака, белокровия, туберкулеза — от всех болезней, перед которыми еще пасует иногда всемогущая современная медицина.

Мне представляется курорт не в том виде, в каком он есть, где отдыхающие с утра до вечера бродят между корпусами, от столовой до танцплощадки, и где лес служит скорее красивым обрамлением отдыха, а не местом его.

Не лучше ли дом отдыха из лесных избушек, где люди будут жить, питаясь молоком, мясом дичи, яйцами и медом, ягодами и грибами, не исключая, конечно, картошки и хлеба. Дни и ночи они будут дышать сосновым воздухом, бродить по лесам, купаться в озерах, ловить рыбу, загорать на песчаных плесах. Притом они не срубят ни одного дерева, не оскорбят траву яичной скорлупой или бумагой, не сорвут без надобности лишнего цветка. А пока такие курорты устроят — они уже сейчас доступны всякому без путевки и решения обкома профсоюза. Требуется лишь немного свободного времени, немножко решительности, самую малость денег на дорогу, как можно меньше боязни волков, комаров, клещей и змей. Зато побольше хлеба, картошки, луку и прочего — сколько в состоянии вынести спина и ноги.

Отправляться в леса надо пешком. От выезжающих на «Волгах», «Москвичах», «Ижах» и прочей технике слишком сильно пахнет бензином, сибаритством, водкой,

ленью и другими запахами, которых лес не переносит. Будьте уверены, он найдет, чем отплатить.

Сколько бывает сломанных рессор, вспоротых покрышек, колес, севших в жидкую грязь, ведомо лишь ему одному. К тому же погода всегда солидарна с лесом — она портится при виде мотоохотников, мототуристов и даже моторыбаков.

До заката бродил я по лесу. Подымался на вершины увалов, заходил на глухие просеки, слонялся по зарастающим вырубкам, продирался через болотный густяк. Тетерева далеко поднимались на крыло, заслышав мои неосторожные шаги, рыжеватые зайцы не торопясь убегали в кусты, словно знали, что я не буду стрелять. Дятлы удивленно поглядывали вслед. Смешная птица — дятел. Человека совсем не боится и часто платится за чрезмерное доверие. Начинающий охотник считает первейшим долгом разрядить по нему свое новое ружье. И все-таки дятел любопытен и добродушен. Бывает, подлетит — рукой достанешь. Прилипнет к стволу, переберется на другую сторону и смотрит, выглядывает, так и сяк поворачивает расписную красивую голову. Его берестяная спинка, алая шапочка и клетчатый заостренный хвост очень в тон березовым стволам, коре сосен, осин и лип. Да это можно сказать о любом лесном жителе. В лесу все просто, красиво, а если говорить канцелярским языком, то — целесообразно.

Солнце уже садилось, когда я вышел из темнеющего леса на луговину к Рябиновке. Две важные коровы и черно-белая телочка смотрели на меня с коровьим равнодушием, из стороны в сторону жуя и обмахиваясь хвостами. Два выводка белых гусей чинно, семейно тащились с речки. Ворота у кордона были отперты. Возле стояла запряженная в телегу калмыковатая лошаденка с девичьей челкой между ушами. А возле лошади и телеги суетился высокий, сухой и голенастый мужчина в серой рубаше с опояской и полосатых дешевых брюках, заправленных в рыжие хромовые сапоги. При ближайшем рассмотрении лицо у него оказалось бледным и благообразно постным. Постным блеском лоснился большой прямой нос, начинающийся от самого лба. На голове со свинцовой проседью по вискам плотно сидела форменная фуражка с двумя потемнелыми медными веточками.

«Это, наверное, и есть Павел Васильевич — тутош-

ний лесник», — подумал я, поздоровался и хотел пройти мимо.

Но лесник остановил.

— Билетик ваш, гражданин, предъявите, — официальной скороговорочкой попросил он, подходя.

Я достал охотничий билет.

Он долго рассматривал его, листал, шевеля губами.

Потом все так же сухонько-быстро спросил, будто прислушиваясь к своему голосу:

— Ну как охотка-то?

— Я не на охоту.

— Вон чо!

— Просто поживу вот пару деньков, погляжу и уйду...

— А чего глядеть-то хотите?

— Ну, лес... Грибы, ягоды собирать...

— Ага... Так...

В это время из ворот показалась коренастая и толстая женщина с неприветливым круглым лицом. Она недружелюбно, вприщур посмотрела на меня и остановилась, сложив руки под наливным бюстом.

«Экая медведица!» — подумал я.

Лицо Павла Васильевича выразило скрытое беспокойство. Он вежливенько вернул билет и затоптался возле телеги.

— Пожить, значит... — как-то растерянно повторял он. — Значит, пожить?..

* * *

— Как тут живется Павлу-то Васильевичу? — спросил я хозяина за кружкой вечернего чая.

Иван Емельяныч, видимо, был не в духе: не то воротившийся лесник задал ему перцу, не то еще что.

Он помолчал, со свистом схлебнул чай с блюдечка, которое держал по-старинному всей пятерней, похрустел сахаром и лишь тогда обронил:

— Помешник он.

— Как? — поперхнулся я.

— Помешник и есть, — повторил Иван Емельяныч уже более словоохотливо. — Живет. Что ему не жить. Получает мало, конечно. Вот хоть бы и я... Так ведь он лесом в десять раз больше наживает... Одне ягоды возьми... Он их возами в Свердловско-то всю зимушку возит.

Грибы солит, рыбу ловит. Весной насакал ее в Истоке невпроворот. Лещ по Истоку шел, а Павел-то Васильич заездок сделал, перегородил Исток и давай черпать. Оба с Ефросиньей — женка евоная — видал? А лещ мерный, во какой, заслонка... Продать не продал всего. Тепло ударило. Проквасил. Все из-за жадности из-за своей...

Иван Емельяныч хотел было продолжать, но, видимо, вспомнив что-то, только губами пожевал, усмиряя раззудевший язык. «Кто знает, человек незнакомый все-таки». Однако молчать было выше сил, и он снова осторожно заговорил:

— Да Павел Васильич еще ничо, хозяйственный мужик просто, а вот женка его... Уж до того жадна, до того жадна. У ее каждая кринка, можно сказать, наперед сосчитана. Коров пару держит. Телок выкармливает. Гуси у ее, уточки, куриц штук сорок... Ну, вот лошадь еще. Живут. Где же им до лесу радеть, ежели они то по домашности, то в городе у сыновей, то на базаре... Никак невозможно. А жалованье у нас плохое, мало платят.

Старик закрихтел и, не подымая глаз, начал ощупывать карманы в поисках кисета с махрой.

А я припомнил заросшие просеки, поленницы дров, гниющие в глубине леса, снова увидел обширные выруб-ки и печальную гарь, где привольно посвистывал ветер, сеял по своей прихоти березы да осинки.

«Больно уж мы богаты...» — приходила мысль, когда смотрел я на молчаливые синегрудые увалы.

«Что, если б собрать весь этот ветровал, пальник, валежник, очистить леса от колод и хвороста — сколько бумаги, картона, дров и другого нужнейшего сырья и топлива получилось бы тогда. Сколько живого леса осталось бы на корню. Ведь собираем же мы лом, утиль, макулатуру».

Я прикидывал так и сяк, воображал, какой хороший завод можно построить, где каждое дерево будет превращаться в золотистый тес, кора и обрезь в картон, стружка в волокнистые плиты, опилки в целлюлозу, спирт и деготь, хвоя в пахучий бальзам, — словом, все будет использовано рачительно и умно. Однако... где же взять такую армию сборщиков? Как охватить леса на миллионах гектаров, куда не только проехать — пройти пешком не представляется возможным? И будет ли толк

в том, что леса очистятся, приобретут тот подмосковно-дачный вид, от которого тоже невесело? Исчезнет тогда лохматая глухомань, живописный крен стволов, осторожное перепархивание птиц; сойдут мхи, вымрут дремучие филины, и уж нигде не увидишь березовый гриб-трутовик, широкий и коричневый, как лосиное копыто...

Вокруг Свердловска сплошь образцовые лесничества и егерские участки с плановой рубкой, с очисткой, а леса в дорожных зонах сохнут, и ничего, кроме тоски, не вынесешь, прогулявшись по сосняку где-нибудь в окрестностях Сибирского тракта. Время от времени тучи белой бабочки-монашенки отраждаются тут, и тогда лес в отдельных местах кажется занесенным метелью, а мириады отвратных серых гусениц суетливо ползают по стволам и земле, пока подоспеет служба безопасности.

Массовое появление вредителей объяснялось просто. Оказалось, что чересчур старательные лесники начисто вырубали дуплистый сухостойник, выкорчевали пеньки и сломы и тем лишили мест гнездования самых полезных сторожей леса — синиц. Сотни москотов, гаечек, грендерок, поползней и дятлов откочевали из трактовых зон в дальние леса, и эпидемия монашенки вспыхнула на следующий год.

Припомнилось, как однажды нашел я на северном склоне горы у спуска к лесному болоту красивые сибирские орхидеи — редкие, как женьшень, цветы северного лета. Я пожадничал и сорвал их все. А на другой год весной, вспомнив про место, решил выкопать два-три растения в свой сад. Но сколько ни искал я их возле болота, орхидеи больше не попадались: лишенные цветов, они вымерли там навсегда. Пусть случай с орхидеями пустяковый, но ведь от леса не отмахнешься, без него невозможно обойтись, как без хлеба, когда грандиозная стройка ключом кипит по всей стране...

Я долго сидел на пороге барака, смотрел на луговину, на лесные дали, уже подернутые синим ночным туманом, слушал негромкие вечерние голоса. Ближе журчала речка, переговаривались гуси в лесниковом подворье, устраиваясь на ночлег, да брякала боталом где-то в лугах стреноженная лошадь. Быстро темнело, лишь светились макушки исполинских лиственниц на заречном увале.

Спать я снова лег в бараке на метелках и уже не просыпался, хотя по-прежнему кто-то возился на чердаке, и золотые совиные глазки не раз, наверное, заглядывали из черной пустоты за окном.

* * *

И снова солнце разбудило меня. Новое утро смеялось и голубело за кривым окном.

Я поднялся значительно раньше, но хозяин опять опередил меня. Ивана Емельяныча нигде не оказалось. Дверь его комнатухи была закрыта на деревянную чеку, которая сама приглашала: «Выдерни! Заходи...»

Новый день я решил провести на полянах и в лугах по Рябиновке.

По обкошенной ровной луговине спустился к самой речке и пошел по течению, не задумываясь ни о чем. По речкам легко и весело ходить. В лесу память и сознание напрягаются, приходится запоминать дорогу, следить за приметами, за солнцем, в пасмурный день сверяться по компасу, иначе неминуемо заберешься в такую крепь, где живет, быть может, одинокий леший. А речка, как веселая живая дорога, ведет путника. Недаром по рекам заселяли люди отдаленные углы земли.

С непокрытой головой я шел по холодной росистой осоке, между островами ивняка и черемухи, шел навстречу солнышку, заспанный и счастливый простым и легким счастьем человека, у которого светло на душе, который хорошо выспался, у которого ничего не болит. Будто воскресло детство: Основинка, Солнечный бор, мерно шумящий от теплого ветра, грустная поэзия ветхого прясла. Рябиновка походила на ту золотую речку моего детства, была лишь пошире, но так же мелка и быстра. Никаких рябин не росло по берегу, и я думал: может быть, она зовется так за мелкую рябь ее скорого течения? Пойди-ка узнай, кто дал ей это имя. Сколько Ольховок, Ручьевок, Безымянок резво катится в лесах по склонам хребта! Все они похожи одна на другую желтоватой ледяной водой, широкими отмелями, черной, кремовой и белой галькой, кустами черемухи, наклоненными над водой, и стоями зеленых мальков.

Мальки ходят подле берега у самого дна. Их не сразу заметишь. Сперва вода кажется безжизненной. Легкое движение зеленоватых теней заставляет глаз насто-

рожиться, и вдруг видишь одну, три, сотню, тысячу рыбешек, легко скользящих против течения. Мальки так сливаются с тонами дна, что сразу растворяются, едва рассредоточится глаз. Рыба покрупнее — щурята, окуни, плотва — держится в струе, в водяных травах, вытянувших свои узкие листья-плети по течению. Изредка медный блеск напоминает о ее присутствии.

Я знаю — закинь сейчас удочку в быстрину, поплавок понесет, а потом он юркнет, и елец трепещущей серебрянкой вылетит из воды. В ямах-омутках хорошо возьмется колючий окунь, мелконький ерш, осторожный чебак. И я уже невольно начинаю рыбацким глазом оглядывать излучины Рябиновки, высматриваю в черемушнике подходящее удище, соображаю о приманке. Можно на кузнечика попробовать, на муху, муравьиных яиц поискать в коричневых земляных муравейниках. А если не станет брать, добудем ручейников, зеленых пиявочек, водяного цвета. Так уж всегда возле воды думаешь о рыбалке, а лески, крючки и грузила у меня при себе — лежат в жестяной баночке из-под леденцов.

Чем дальше ухожу я от кордона, тем глуше становится луг. Лес подходит ближе к воде. Короткая отава сменилась некошеными травами. Матово-сизые от неотряхнутой росы, они стоят, чуть поникнув. Позади темнеет торная тропа. Ни один стебелек не распрямится молодо и упруго. Август. Закат лета. Преддверие осени. Ни комаров, ни оводов... И невольно сравниваешь это тихое стариковское лето с июнем, когда бродишь в лугах, всем телом ощущая полдневный жар, знойную истому. Сухо во рту. Зольно тепла земля. Березы заснули вершинами в знойном и выцветшем небе. Лицо и руки облиты горячим загаром. На спине под майкой росистый пот. А эти оводы, что с гудением вьются, кружат, прилипают неслышно, пока не почувствуешь внезапную колющую и жгучую боль. Еще хуже маленький узкий слепень. Он жжет, будто кто-то прижимает к телу тлеющую спичку. Я молчу уж о красивых треугольных мухах с узорными крыльями, с золотыми глазами...

В июне пропасть цветов. Цветочные реки текут по луговинам. Иногда забредешь в такую высокую буйную поросль, что жутко становится. Кажется, вот-вот схватит кто-то. Стоишь по пояс в цветах, а глаз так и ловит сплетения венчиков, листьев, соцветий, полосатых шмелей, голубеньких бабочек. Все это нагретое, накален-

ное солнцем, залитое светом пахнет медово и пряно, сухо и одуряюще...

Сейчас на лугу все скромнее: и солнце, и цветы, и бабочки. Приглядываюсь к мокрому разнотравью, стараясь по листьям определить растения, и память начинает подсказывать: подмаренник, колокольчики, купальница, журавельник, золотая розга, черноголов, купыри... Я люблю народные названия трав и цветов. Самое глубокое чувство, тончайший аромат поэзии, поразительная меткость соединены в них.

Пустырник, дремляк, василистник и букашник, живокость и жабрей — таинственные, волшебные слова. А вот нивянка, овсяница, лисохвост и козлобородник, сушеница и сердечник, кипрей и таволга. Таволга! Одно слово, и я вижу горячие июньские луга, молодой блеск солнца, изгибы речки, и эти кремовые пахучие кисти над зеленой, безмятежно цветущей луговиной.

И здесь, как в лесу, многое множество тайн. Как знать, не тот ли невзрачный желтый цветок обладает удивительным целебным соком?! Ведь оказалась же никчемная плесень такой полезной человеку.

Сохнет роса. Сохнут и мои промокшие колени. Первые бабочки кружатся над редкими цветами кипрея, ромашки, розового тысячелистника. С лесистых гор дует теплый ветер. Я присматриваюсь к порхающим лоскуточкам глазом опытного коллекционера. Еще в студенческие годы я не одно лето провел на лугах и в лесу с морилкой и сачком. А все началось с толстой серой книжки, на обложке которой был вытиснен рогатый жук.

«Определитель насекомых». Я купил его случайно в букинистическом магазине. Я всегда покупал определители. Их у меня много: определитель растений, определитель грибов, определители птиц, атмосферных явлений, птичьих гнезд, пресмыкающихся и земноводных. Они читались не с начала, не до конца, всегда с новым интересом. Сотню раз собирался я прочесть какой-нибудь от корки до корки, но обязательно что-то отрывало, книга оставалась забытой, и так до тех пор, пока она снова не напоминала о себе. В определителе насекомых я нашел великое множество нового, интересного, и он стал для меня настольной, а точнее сказать — трамвайной книгой. Я работал тогда учителем физкультуры в школе на конце города. И пока трамвай тащился туда, прилежно изучал видовые признаки жуков и бабочек.

«Златка пятнистая, — читал я. — Темно-бронзовый, мало блестящий сверху, медный или медно-красный снизу; надкрылья с гладкими пятнышками в грубых густых точках. 11—20 мм. Тополь, осина, ива. Вредит. Кроме Крайнего Севера...

...Рогачик скромный. Один из немногих наших представителей тропического семейства жуков-рогачей.

Тело удлиненное, слабо выпуклое, черное, блестящее, усики и лапки ржаво-красные. Жвалы самцов развиты довольно сильно, 15—20 мм. Лесная зона до Севера. Березовые пни. Редок...

...Бронзовка золотая. Дровосек еловый. Скрипун мраморный. Вьюнковый бражник. Черный аполлон...»

Я утопал в этом царстве жуков, кузнечиков, кобылок и стрекоз, прочитывал страницу за страницей. Быть может, и не стоило так много говорить о рогачиках и златках, махаонах и аполлонах, но ведь именно «Определитель насекомых» дал мне столь много чудесных, по-настоящему счастливых дней в лесу.

Из знакомства с ним оказалось, что дневных, или «настоящих булавоусых», бабочек на Урале совсем немного, 60—70 видов. Как же завидовал я Дарвину, Уоллесу, Бейтсу и всем тем великим путешественникам, которые ездили на Амазонку, ловили бабочек на Борнео, вывозили коллекции из лесов Западной Африки. Мои коллекции были невелики и чем дальше, тем скуднее пополнялись.

И сейчас я убедился, что бабочки, перелетающие по малиновым башенкам кипрея, по желтым связкам золотой розги и кустикам иван-чая — обыкновенные рыжие шашечницы, перламутровки, репейницы. Их видал всякий, без них нет летнего луга и леса. Реже пролетали бархатные траурницы с белой каймой, кирпичные павлиноглазки или медлительные лимонницы. При появлении самок ревнивые соперники вступали в отчаянную битву. Они хлопали друг друга крыльями, налетали то сбоку, то сверху, стремясь сбить в траву. Иногда бешено крутятся друг возле друга, бабочки столбиком уходили в вышину.

«Ах, как они порхают, играют!» — умилился бы иной созерцатель, нимало не подозревая, что красивые насекомые просто-напросто тузят друг друга под бока и под микитки. Часто, ослепленные ревностью, они становятся добычей голубой стрекозы-кормысла.

Вот и сейчас десятки отливающих бирюзой и бронзой стрекоз проносятся над речкой, над кустами, иногда они почти натыкаются на меня, с треском взмывают вверх, но не отлетают от меня далеко. Ведь я невольно помогаю им охотиться. Из травы вырываются мелкие бабочки, мошкара. Вот взлетела белая неловкая пяденица. Коромысло пикирует. Удар! Одно белое крылышко отлетает в траву, а стрекоза уносит в цепких лапах оглушенную добычу. Она съест пяденицу не торопясь, присев где-нибудь на сухую солнечную ветку, съест, поглядывая на мир огромными, изумленными, изумрудными глазами.

На луговине водятся и певчие кузнечики. Они отличаются тем, что могут заливчато трещать без перерыва минут по десять. Они поют и по ночам. Кому не знакомы летние деревенские ночи, прохладный сумрак, наполненный этим стрекотаньем! Мне захотелось поймать зеленого певуна. Но все попытки кончались неудачей. Бдительный кузнечик как сквозь землю проваливался. Стоило, однако, отойти шагов на десять, как он снова азартно запевал.

Я ушел от кордона километров за пять. Теперь луговина становится совсем неширока, то переходит в болотце с лютиками и осокой, то идет сухим берегом, а у самой воды стоят раскидистые сосны с ветками до травы. У подножия они непролазно обросли шиповником, малиной и бузиной. Птичья жизнь бьется в таких островках. То одна, то другая птичка, напуганная моим приближением, выпархивает из островка, чтобы промчаться к другому и нырнуть в его спасительную густоту.

Высокий взъерошенный чертополох малиновыми шапками доцветает на сухом дерне. Красивые бабочки-адмиралы с красными лампасами и лентами по черным мундирам присаживаются на него. А по сырым местам я выпугиваю дупелей. Они взлетают с коротким криком, низко и прямо летят над лугом. Не так вырывался вертикальный бекас: словно кто-то запускал из травы крылатый диск.

Но ружье оставалось на плече. Мне дороже были солнечные зайчики в сосновых ветках, шорох ветра, кучевые облака и блеск речушки на перекатах. На солнце уже становилось жарко, в тени по-прежнему было свежо.

Луговине, как и всему на свете, пришел конец. Она

уперлась в кромку черного заболоченного ольховника. Дальше речка утекала под его своды, будто хотела спрятаться от солнца. Сначала я сунулся в ольховник, но очень скоро захотел назад. Сырой ольховый лес в летнюю пору самый скучный и бедный. Неприятно однообразие темной зелени, чернота стволов, ворохи гнилой листвы, вода, чмокающая под сапогами. Еще противнее мелкая мошкара — мокрец, тучами живущая тут. Мокрец облепил меня со всех сторон. Лицо, руки и шея чувствовали живую липкую паутину. Крошечные мошки лезли в уши, под веки, в нос, не давалидохнуть. Чертыхаясь, кашляя, отирая лицо ладонями, я побежал на луг и даже не посмотрел на рыжего вальдшнепа, который вылетел совсем близко... Что было бы, если б проклятый гнус распространился по всей земле?

На опушке мокреца не стало. Здесь можно было спокойно протереть глаза и набрать целую горсть жучков-листоедов, ярко-золотых сверху, вишнево-бронзовых с испода. Золотые листоеды всегда встречаются на ольхе. Пожалуй, единственное украшение тускло-зеленого, никогда не желтеющего ольхового леса.

Возвращаться прежней дорогой не хотелось. Я решил перейти на другую сторону Рябиновки. Сняв сапоги и брюки, переправился благополучно, если не считать, что вода вызвала ощущение крутого кипятка. На другом берегу росла многоствольная широкая черемуха с такими переспелыми, душистыми, слегка вяжущими ягодами, что ешь, ешь, и все хочется. Черно-глянцевых ягод оставалось не густо, зато желтых грубых листьев на земле и на ветках было не счесть. Казалось, кто-то пригоршнями бросал на черемуху светлую, неяркую краску. Между корнями, полузаваленное этой листвой, открылось травяное гнездышко какой-то птички. Может быть, здесь гнездились соловьи. Они любят черемуховые речки. Пустое гнездо и желтые листья наводили на мысли об осени, об отлетных стаях и холодах.

Мне понравилась эта живописная черемуха на сухом дернистом берегу, а ягоды пробудили вдруг жестокий аппетит.

«Не пойду никуда. Разведу здесь костер и сварю какое-нибудь варево. Да не попытать ли счастье в рыбной ловле?»

Сперва я отверг соблазн. Я был никудышным рыбаком. Мне всегда удивительно не везло. В самых добыч-

ливых местах при сильном клеве, когда все уносили кто по корзине, кто по ведру мерной хорошей рыбы, я довольствовался тремя-пятью окунешками. Где за день ловилось по три чебака, у меня не клевало совсем.

И все-таки аппетит и желание еще раз испытать судьбу пересилили. Кажется, я упоминал, что лески, грузила, крючки у меня были в достаточном количестве. Надо было срезать на знакомой черемухе длинный и гибкий жировой побег — и простая снасть готова. Теперь дело за приманкой. Червей на луту разыскать без лопаты мудрено. Зато есть кузнечики, мухи, бабочки, есть хлеб, на который теоретически должна клевать всякая рыба.

Не раздумывая долго, забрасываю леску выше по течению, смотрю, как несет поплавок на пережат. Вот сейчас... Вот сейчас! Вот.... Но поплавок уже полощется в струе на вытянутой леске, а клева нет. Прошло несколько минут, в продолжение которых моя надежда таяла, как крупинка сахару в стакане воды. Наконец я вытащил лесу. Крючок был пуст. Хлебный шарик смыло. Повторил опыт. Забрасывал еще и еще и скоро убедился, что при повторении весь запас моего хлеба будет принесен в жертву водяному и русалкам Рябиновки. Тогда, нацепив на крючок несчастную кобылку, я забросил ее на пережат, воткнул удилище в берег и пошел разводить костер.

Я приволок из лесу засохшую елку, несколько сучьев, куски бересты, а сам все надеялся и прикидывал, какая рыба клюнет на кобылку.

Рыбацкая фортуна не обернулась ко мне и на этот раз. На извлеченной лесе болталась лишь побелевшая дохлая кобылка.

Я снова пообедал кашей, приправленной размышлениями об ухе, да парой кружек чаю немыслимой крепости, какой умеют заваривать одни охотники да рыбаки.

В домашних условиях он так не заваривается. Для этого нужны закопченный котелок, речная вода, костер и еловый дым, и если первое еще найдется в городе, то остальное достать затруднительно.

После обеда ноги никак не хотели идти обратно. Разморенный теплом и сухостью луга, я забрался в береговую тень, лег на спину в немятую траву и постепенно весь ушел в созерцание голубого простора, где тонул, не находя опоры, взгляд. Я и раньше любил лежать так.

Земля словно отступала, уходила куда-то вниз, и, потеряв чувство места и времени, я оставался один в глубоком небе вместе с бегущими облаками. Даже листва в вершинах не напоминала о земле. Листья трепетали, веточки гнулись от легкого ветра, они не мешали мне плыть вдаль по течению мысли. Я ощущал осторожную ласку солнца, шорох ветра, запах травы и думал, как же хороша эта простая жизнь без печали и смерти, жизнь облаков и листьев, ветра и воды. Громкий гортанный крик прозвенел вдруг где-то над лесом. Два косяка серых журавлей высоко и плавно тянули на закат, мерно взмахивая крыльями.

Странное чувство рождает журавлиный крик. В нем спрятано сладкое осеннее уныние и глухие невыплаканные слезы. И когда птицы пролетят и скроются за лесом, еще большую нежность испытываешь к своей земле, хочется гладить блеклые соломинки, ласкать землю, как осиротелого ребенка...

...На подходе к кордону я издалека различил сухопарую фигуру Павла Васильевича и его жену. Лесник и лесничиха что-то суетливо собирали с земли у ворот и подле забора. Павел Васильевич даже опустился на колени и стал ползать на четвереньках, а вернее — на трех конечностях, потому что свободной рукой непрерывно клал что-то в решето. Жена стояла каменным монументом, изредка наклоняясь.

«Эк стараются!» — подумалось мне. Я подошел ближе с намерением узнать, чем же они заняты. Но в этот самый момент Павел Васильевич встал и бойкой козьяйственной трусцой направился в калитку, а лесничиха так враждебно-подозрительно покосилась на меня, что всякая охота к расспросам тотчас испарилась.

«Ну и медведица», — снова подумал я, мельком взглянув в ее загорелое лютое чело, повязанное желтым платком. Редко бывают женщины с такими темными злыми глазами, а все-таки бывают.

Я прошествовал мимо и, кажется, на сплыве осязал ее взгляд. Он ощупывал мои сапоги, ружье, фотоаппарат, рубашку.

«Отчего они так? Ведь я не сделал им ничего плохого. Может быть, на постой не попросился и лишился доли законного дохода? Так ведь их не было дома. Или предполагают, что я какой-нибудь ревизор, инспектор? Тоже невероятно. Во-первых, ревизоров (даже предполагае-

мых) встречаются не так, а во-вторых, об инспекции кто-нибудь да сообщил бы. В-третьих, работников лесничества они знают наперечет... В конце концов, мне безразлично расположение какого-то Павла Васильевича».

Пока не вернулся Иван Емельяныч, я ушел за Рябиновку на хвойный увал и бродил по его склонам, обросшим брусничником и толокнянкой.

К вечеру ветер усилился. Морским прибоем шумели сосны. Было что-то тревожное в мерном раскачивании их вершин. Ветер дул с северо-запада. Тонкие стрельчатые облака протянулись оттуда, указывая его направление.

Иван Емельяныч усталой походкой прибред откуда-то из-за увала после захода солнца. Прохладный августовский вечер быстро синел. Кричали кузнечики. Коровы, побрякивая боталами, сгрудились у запертых ворот кордона. Вот отворились тяжелые тесины, на миг мелькнуло долгоносое лицо Павла Васильевича, коровы важно скрылись во дворе, и, как в пещере Али-бабы, створы сомкнулись торжественно и плотно.

К бараку подошла однорогая коровенка Ивана Емельяныча. Неловко переставляя клешнястые ноги, облепленные засохшим пометом, мотая выменем, она толкнула мордой дощатую дверь, зашла в подобие хлевушки, собранной на скорую руку из каких-то горелых бревен, жердей, гнилушек и накрытой сверху дерном. «По барину и говядина», — вдруг вспомнилась старая пословица, когда я сравнил буренку с дородными тагилками лесника.

Однако скудная животина оказалась довольно-таки молочным существом, о чем свидетельствовал подоенник, на три четверти полный кремовым парным молоком с нежнейшими жемчужными пузырями. Его вынес из хлевушки Иван Емельяныч.

— Не хошь ли тепленького? — спросил он.

Я отказался.

— Где это вы были целый день?

— Робил, — коротко отозвался старик. На мой вопросительный взгляд он пояснил: — В питомнике робил. Есть тут, версты за четыре, большая вырубка. На той вырубке сажень сосняк. Вот хожу, окашиваю его, пристволья перекапываю, «дуст» таскаю от майского червя. Он в первую очередь на молоденьки сосенки нападает, корни ест. Белый червяк с красной головой, толстуш-

ший, вот этакой, — Иван Емельяныч показал согнутый корявый мизинец.

— Кто же сажал сосняк-то?

— А лесхоз... Иди-ко, я тебе что покажу, — поманил он меня. — Ты думаешь, мы в лесу живем и дела нам нет?

Он снес молоко на погреб в огороде и подвел меня к низенькой, вросшей в землю избушке. На проваленной крыше ее росла лебеда, бодяки, чертополох и другая сорная трава. Дверь отворялась с трудом.

— Баня тута, — пояснил старик.

Уже в темном предбаннике я почувствовал иной, не банный запах. Не мылом и сырым полом пахло тут, а сладчайшим хвойным ароматом сосновых шишек. Иван Емельяныч нашарил в потемках огарок свечи, зажег его и, прикрывая пламя ладонью, шагнул вперед.

В мыльной на полке, на подоконнике, прямо на полу лежали груды сосновых, еловых и лиственничных шишек. Иные были еще каменно закрыты, другие чуть приотворены. Они сохли.

В прыгающем свете свечи, поднятой над головой, Иван Емельяныч показался мне добрым волшебником.

— Видишь, сколько добра? — сказал он, указывая на таз, полный чистого соснового семени. — В шайке ельничные семена. Вот листвяжные...

— Кто же столько набрал? — изумился я. Не верилось, что один человек способен собрать такое количество. Ведь это сотни мешков шишек. Да не каких-нибудь, валяющихся под ногами, а съемных, нераскрывшихся.

— Я наколотил, — просто, хоть и не без гордости сказал старик. — На вырубке лес валили, я шишки ходил обирал. Каждый день по мешку да по два таскал. Лес-то ведь выпластывают — смотреть жалко... Что ж будет, ежели его не сеять? Вот видишь, растет по рубкам осинник, ольха, ну березняк... Худой лешишко, непотребный. Садить надо кедрач, листвянку, ну и сосна не плоха, хорошее дерево, строевое... По-моему, даже так должно — высек лес сколько там га и посади сразу новый да хороший. А то ведь перерубают много. На четверть, поди-ка, от всего лесу... — Он замолк, погасил свечу, повернул к двери.

В глазах тотчас возникла картина рубки леса. Не той рубки, которую мы видим на холстах передвиж-

ников: крестьянин в лаптишках с топором за опояской в молчаливом темном бору. Видно, что он долго тяпал, срубая перестойную лесину, а лес смотрел на него, как на ничтожную мошку, недостойную внимания, спокойно и величаво. Это была и не толстовская картина задумчиво-красивой смерти дерева на росистой заре...

Мне припомнилась современная рубка, точнее — валка леса без топора. Яростный визг моторных пил, пропаханные до глины лесовозные просеки, стук сучко-резов, грохот трелевочных тракторов, похожих на танки. Тяжкое оханье падающих сосен. Мертвая пустошь новых порубей. Все это походило на беспощадное избивание, всегда вызывало у меня долгое гнетущее чувство, похожее на скорбь.

Мне не хотелось идти в душную комнату. Я присел на кучу жердей у прясла. Смотрел на закат. Ветер утих. Низкие тучи стояли на западе. Края их горели дымным огнем, купались в ярко расплавленном золоте. Выше накал зари слабел, переходил в нежнейшие розовые тона. А над последним голубовато-розовым отблеском открывался такой бездонный океан холодеющей синевы, что трудно было оторвать глаз. Звездочки едва начали различаться в нем, словно издавека летели к земле.

«Как же красива ты, дорогая земля», — думал я, глядя на эти бесконечно разнообразные, наново величественные, тревожащие сердце закаты.

Ночь быстро надвигалась из-за хвойного увала.

— А чо, опять на метелках спать станешь али в избе? — спросил Иван Емельяныч, высовывая свою кержацкую голову из низенькой двери.

— Да уж, пожалуй, на метелках. Сена бы вот еще...

— Сена-то вдосталь, бери сколько хошь. Не из тех вон зародов смотри... Те Павла Васильича, — он указал на темные длинные стога.

— Послушай-ка, Иван Емельяныч, чего лесник сегодня возле дома подбирал?

— На коленках пластался? — вопросом ответил старик.

— Да, почти.

— Ну так это они перья собирают. Куриц у их много. А в августе курицы линяют. Вот Ефросинья и гонит мужика: «Айда собирай! На подушки, на перину». Самой-то трудно, с ж...й, со своей, кланяться.

И он вдруг захохотал молодо и весело. Потом вылез

на порог, сел и, все еще улыбаясь, стал крутить аппетитную папиросу из листового табаку.

— А кто это ночью на чердаке все возится? — снова полюбопытствовал я.

— Прыгает? — усмехнулся он, пуская клуб синего махорочного дыма. — Это кошка моя, охотница. Опять, поди, кого-нибудь притащила, окаянная. Надясь валешня долгоносого приперла, там бельчонка где-то сгребла, бурундуков носит. Зайца даже одинова задавила. Поводился по осени белячок в огород похаживать. Ну, видно, кочешки капустные грыз, еще чего. Узорила она его и задавила. В земле вся укаталась. Заяц-то больше ее. Вот сюда, к сенцам, приволокла. Погоди-ка... Покличу ее. Муся, Муся... Кыс-кыс... Где ты, животное окаянная...

И действительно, из-под крыши отозвалось хриплое мяуканье, потом высунулась смутно белеющая мордочка, и тощая некрасивая «кошшонка» с грязной белой шерстью спустилась вниз. Она вопросительно посматривала на Ивана Емельяныча дико светящимися в полусумраке глазами.

Над полянами спустилась ночь. Я развел костерок на берегу Рябиновки. Вскипятил чай. Поужинал. Перед сном захотелось походить недалеко от костра по ночному лесу, ощутить его глухую темь. Я пробрался на опушку, потолкался, как лунатик, между спящими кустами и черными елками. Когда я задевал невзначай кусты, они недовольно шелестели, невнятно шушукались разбуженные травы. Росы не было. Звезды кутались в светло-сизые тучи. Они тянулись из-за вершины черного хвойного увала за речкой, как летучие призраки. Ненадолго завеса разрывалась, узкий, добела накаленный месяц проглядывал вдруг. Весь увал седел в его голубом свете. Через мгновение месяц прятался, и тогда еще чернее становились тени в лесу. Все казалось мне, что в даях меж стволами что-то шевелится, встает, оживает, бредет неслышными колдовскими шагами.

Мой костерок у речки мерцал, как красная звездочка. Я боялся потерять его из виду. Погасни он, я остался бы в жутком одиночестве под белесым расплывчатым небом, в могильной темноте леса.

* * *

Острой дождевой сыростью тянуло откуда-то. Я поежился, открыл глаза. За серым окном сыпал дождик.

Кто-то укрыл меня вторым полушубком, и он был чуть влажен. «Вот так штука! — подумал я. — Неужели ненастье?»

За щеткой дождя виднелся хмурый мокрый лес. Прозрачные светлые капли бежали по черному сырому бревну сруба, срывались вниз: кап, кап, кап...

Я вылез в окно под дождь. Огляделся. Ненастье было широкое, обложное. Ветер порывами тянул с северо-востока, тучи над вершинами увалов выволакивались одна другой скучнее. Дождь кропил мелко и холодно, по-осеннему. Он блестел в траве, изморозью оседал в сосновых иглах, бисером осыпал лицо.

Мысли о доме, о сухой комнате против желания зашевелились в голове.

С кровли барака к земле сносило дымом. Иван Емельяныч варил какую-то похлебку с грибами. В комнате было тепло, парно, пахло картошкой и зеленым луком. Стекла в окне по-осеннему запотели.

— Садись давай к печке, погрейся. Озяб, поди? — участливо спрашивал старик. — Ночесь вышел я на двор. Дождь. Холод. Поглядел — ты спишь, скорчился весь. Ну, я будить не посмел, а полушубок принес. Да... Вот и летичку конец. Отошло летичко. Теперь опять стужа, да стужа, да дожжичек...

Он бормотал еще чего-то, по-стариковски вслух высказывая мысли.

Я засмотрелся на огонь. Рыжий поток его вырывался из чела, лизал закоптелый свод, стаями искр уносился в трубу. Раньше у нас дома тоже была такая же большая печь с печурками, шестком, чугуном с водой, полати. Вот только тараканов не было. А здесь из запечья то и дело высывались длинные подрагивающие усы. Бойкий прусак или сам задумчивый черный боярин вылезал на беленую стену.

Иван Емельяныч не обращал на теплолюбивых букашек никакого внимания, будто они были домашними животными.

— Почему ты, Иван Емельяныч, их не выведешь? — спросил я.

Старик усмехнулся в прокуренную бороду.

— А я их уважаю. Мне с емя веселее, — услышал я ответ. — Никому они не мешают. Живут смирно. И пущай живут. Вот мух не жалую. Вредная тварь: и в тарелку тебе, и везде...

Мне осталось вспомнить одного знакомого. Солидный научный работник, он привозил из деревни летом в свою благоустроенную четырехкомнатную квартиру сверчков. Сверчки приживались плохо. Древний обитатель рубленых русских изб никак не мог свыкнуться с современным комфортом. Зато надо было видеть близорукое лицо доцента, когда среди вечерней тишины вдруг раздавалось из-за пианино: «Трюк-трюк, трюк-трюк».

«Знаете, мне с ними веселее. Спать лучше», — оживленно говорил он и даже очки снимал, прислушиваясь.

— Садись-ко давай, закусим, — приглашал Иван Емельяныч, вытаскивая из печи kloкочущий глиняный горшок.

Это было вкусное душистое варево из картошки, лука и белых грибов с перцем и лавровым листом. Я ел его с аппетитом человека, третью ночь спавшего на лесном воздухе.

— Что, Иван Емельяныч, сегодня отдохнуть не грех? — спросил я, слушая, как дождь посypает в стекло.

— Не. Сейчас робить пойду. — ответил он. — И то уж надо бы пораньше, да Павел-то Васильич с утра куда-то угнал. Я и припозднился. Опять в питомник пойду, молодняк окапывать. Оно даже лучше по дождичку-то, земля мягче. Не жарко.

Мне захотелось пойти вместе с ним поглядеть знаменитый питомник. Я тут же высказал свое желание.

— Айда, — охотно согласился старик. — Надевай мой брезентик, у меня еще один есть, старухин.

Мы вышли под мозглый, кропящий дождь. Все кругом было серо, туманно и скучно. Земля отдавала последнее тепло. Мы шли друг за другом по мокрой скользкой тропе, усеянной свежими желтыми листьями. Гряды сырого березняка и осинника тянулись справа и слева. Сегодня он был тускл, мокр и молчалив. Однообразный шепот дождя не нарушал тишину. Нигде не было видно ни птиц, ни бабочек. Мертвый плюшевый шмель валялся на тропинке. «Озяб, бедняга», — подумал я.

После получаса ходьбы мы как-то неожиданно вышли на огромную вырубку. Она простиралась километров на восемь.

— Вот питомник, — проговорил Иван Емельяныч. — Половина его самосевом зарастает, а половина-то засажена.

Я только что сообразил, что короткие сосенки растут

не по произволу работяги ветра, а посажены в определенном порядке. Земля вокруг молодняка была разрыхлена, междурядья прокошены. Мы прошли километра три, и везде был тот же порядок.

— Все роблю, — говорил старик словно про себя. — Летось рабочих лесничество давало. А нонче говорят: «Нету рабочих, сами управляйтесь». Хожу с весны, а конца-краю не доберусь еще...

Трудно было поверить, что такой огромный кусок земли обработал один человек. Впрочем, я припомнил, что в селе Таватуй в свое время жил одинокий тщедушный старичонка Афоня с обидным прозвищем Червяк. Прозвище оказалось не по фамилии. Фамилия этого Афони была, кажется, Пьянков. А прозвище получилось так.

Когда Афоня появился в селе, мир отвел ему самую худую землю — каменистый склон горы на задах Таватуя. Правда, отвел не скупое, чуть не гектар, зато какие сизые каменные глыбы выпирали из этой земли. Ни одна душа не зарилась на Афонины уголья.

Но в этом ледащем мужичонке жила, по-видимому, совершенно непостижимая душа труженика. Ломом, кайлом, рычагами он разворачивал каменную целину. Добытый плитняк и песчаник складывал по краям своих владений в виде изгороди. Через несколько лет усадьбу Червяка вместе с домишком окружала метровая каменная стена. Через десятилетие она поднялась еще на полметра. А Червяк копал и копал. На зависть безбедно прожил голодные двадцатые годы. Сеял вручную рожь за своими стенами. Молол на каменных жерновах, лопатой подымал десятки соток земли. Жил по-прежнему бобылем, говорят, ни одна женщина не уживалась с ним не то из-за непомерной скупости, не то из-за нелюдимости. Умер Червяк в тридцатых годах, а на лесной окраине села, как памятник людскому трудолюбию и упорству, осталась усадьба Афони — настоящая крепость трехметровой высоты, она стоит и поныне. А сейчас, прикинув сделанную работу, я еще более удивился стоящему рядом невзрачному старику. Червяк копал землю и выбирал камень ради себя, себе строил гранитную крепость, а этот трудился с тем же терпением, без громких слов отдавал остаток своих стариковских сил обществу.

Пока я оглядывал вырубку да раздумывал о трудолюбии, Иван Емельяныч раздобыл откуда-то тяпку и

потихоньку «протяпывал» землю под сосенками.

Мне показалось совестным оставаться в позитуре наблюдателя, захотелось помочь старику. Однако Иван Емельяныч воспротивился самым решительным образом:

— На-ко вот, чо придумал! Ступай, ступай, гуляй себе. На своем деле наработаешься. Я ведь помаленьку. Да тятки для тебя нету. Ступай!

Тогда я задумал обойти вырубку и потихоньку тронулся краем ее к той половине, которая зарастала сама по себе.

Идти было сыро. Хотя дождь перемежался, листья, земля, трава и хвоя уже достаточно напитались им и щедро осыпали мою одежду. Довольно скоро я оказался среди мелкой лиственной поросли, вперемежку с темными елочками и сосенками. Широкие пни, на которых медовыми каплями желтела смола, кучи сучьев и обрубков — все говорило о недавней неравной битве. Клади хвороста не были даже сожжены. Они обрастали осинками и травой с высокими тощими метелками.

«Пррр... прр... прр...» — вдруг со всех сторон начали вырываться тетерева. Я повел стволами за стремительно улетающей черной птицей с белыми полосками и дважды нажал на спуск. Ружье подпрыгнуло, сильно отдало, а косач оборвался в траву.

Я подобрал его не скоро. Красивая птица с воронным отливом на зобу, светло-красными бровями и нежнейшим белым подхвостьем завалилась под широкий и мокрый березовый куст.

«Сделаю чучело», — думал я и бережно укладывал тетерева в сумку. Здесь же нашел я прихотливо изогнутый березовый сук. Пусть тетерев сидит на этом сучке у меня дома, пусть напоминает счастливые лесные дни.

Тетерева с вырубки слетали часто. Раза два поднимались даже осторожные глухари. Очень скоро я понял, что привлекало лесную птицу на эту зарастающую сечу. Между кустами, осинками и елочками, вокруг пеньков — везде был брусничник. Красные дурманные ягодки майника посматривали из середины уже поблекших двулепестных листьев. Оклеванные кустики черники местами покраснели, должно быть от холодных рос. Мелкие начальные муравейники гнездились возле пеньков хвойно-песчаными бугорками. Муравьев не было видно. Они попрятались от ненастья, плотно закрыли пробочками из трухи все входы и выходы. Редко-редко показывались

сторожевые муравьи. Они, точно люди, застигнутые ненастьем, как-то зябко горбились, словно высматривали окрестность, и скоро, безнадежно махнув лапкой, уползли.

Как бывает в предосенние дни, ненастье перемежалось: то сыпал косой холодный дождь, то налетал порывами сырой ветер, и тогда особенно заметны были северные тучи. Они волочили мокрые подола по макушкам почернелого ропщущего леса. Иногда на несколько минут все стихало: замирал ветер, умолкали листья, редко в траву обрывались капли, пасмурная тишина заглядывала в самую душу.

В такие мгновения остро чувствовался запах дождя, мокрых листьев, мокрой травы — приятный запах лесного ненастья. В городе оно пахнет грязью и паровозным дымом, резко и скучно.

Я люблю бродить по лесу в пасмурные дни с редким дождем. Его холодная сырость делает бодрее. Свежо и печально становится на сердце, и хочется идти далеко-далеко, на край земли, пусть дождик холодит лицо, пусть небо смотрит серыми глазами. Все равно хорошо. Меньше ежиться и хмуриться! Меньше ленивой крови!

И все-таки уже начинало тянуть домой. Осторожная мысль задворками пробиралась и потихоньку нашептывала: «Хватит, находился. Скоро на работу. Денек отдохни». Я гнал эту удобненькую мысль, а она назойливо напоминала о себе каждый раз, когда дождь попадал за воротник, когда ветер задувал вдруг особенно бодро, а вершины березок гнулись и роптали.

С вырубki я спустился по пологому склону в моховое болото. Что-то бурое вдруг зашумело в кустах, ходко тронулось прочь.

Медведь?

Высокая горбатая лосиха в белых штанах не оглядывалась. Две еще более неуклюжих, сухопарых и желтоногих телочки поспедали за ней.

Через минуту их уже не было видно, только вдали затихали кусты, через другую — все смолкло. Потом в болоте запричитала желна и раскатилась долгим стонущим воплем. По болоту я шел недолго. Здесь начинался такой угрюмый угол леса, что находиться в нем долго не хотелось. Кочки, мох, поваленные березы, широченные многоярусные елищи. Казалось, им без

малого лет по триста. Под их широкими навесами зеленый полумрак и не растет ничего, кроме каких-то фантастической величины грибов, похожих на подосиновики с белой шапкой. Даже тенелюбивая еловая молодь не топорщилась под мрачной завесой. Вверху, невидимые, цокали клесты, изредка падала вниз свежая узкая шишка. Нога по колено жутко уходила в моховую перину. Стали попадаться и кедры. Они поднимались так же высоко и девственно свободно. И только на головокружительной высоте виднелись их шишки со спелыми орехами. Снизу они не то не росли, не то были околочены вездесущими шишкарями.

На минуту мне показалось даже, что я не один. Сзади хрупнула ветка, прошелестела хвоя. Я обернулся, но никого не заметил. Так часто «блуждает» в лесу. Или осторожный зверь уносит ноги за добра ума.

Но человеком здесь все-таки пахло. В одном месте попался заломленный кедрик. Так свернуть шею деревцу могла лишь бездушная, но человеческая рука. Вот мох примялся тропкой. А вот... Я наткнулся на явные следы деятельности шишкарей.

Два громадных кедра были безжалостно срублены под корень и обобраны дотла.

Хотелось яростно кричать и ругаться самыми последними словами, когда я смотрел на поверженных красавцев. Сколько десятилетий росли, шумели, плодоносили они — кормили лесное зверье, птицу и человека, — и вот легли под топором убийцы, который, полужгивая каленые орешки, беспечно торгует где-нибудь на рынке, слюнит вырученные рубли. Щепка со светлой кедровой смолой была еще свежа и пахуча, шелковая мягкая хвоя не завяла, не пожелтела. Здесь орудовали самое большое неделю назад.

Я топтался близ порубки, бессознательно надеясь найти улики, хоть кострище, где обычно обжигают снятые шишки, но ничего не нашел...

Хотелось мне узнать, что за болото, в которое я забрел, велико ли оно. Лестница нашлась скоро. Большая крепкая ель наклонилась на другую, образовала к ней удобный накат. Я снял ружье, сбросил сумку, осторожно полез вверх, все время жмурясь от колючих ветвей. Когда смотришь снизу на лезущего человека, все кажется простым. Иное дело самому карабкаться по скользким, ломким, упруго-колючим веткам. Едва я

добрался до середины, «лестница» стала угрожающе гнуться. «Вот оборвешься, рухнешь с десятиметровой высоты, сломаешь позвоночник...» — шепчет кто-то, и слова его не кажутся малоубедительными. Я прилег отдохнуть, ощупал и осмотрел ствол ели. Он был толстый и лежал достаточно прочно. И я стал взбираться выше, стараясь не смотреть вниз. Выше... еще выше... еще... Вот макушки деревьев подо мной. Выше... еще... Выше... Стоп. Вот и голубоватая влажно-бархатная хвоя вершины, связки светлых, коричневых шишек, птичья высота. Крепко держусь за колючий ствол. Сердце бьется. Ноги дрожат. Только спустя несколько минут, в продолжение которых убеждаюсь в относительной безопасности и прочности всех точек опоры, начинаю осматриваться. Впереди макушки елей и кедров, светлая зелень берез, и так тянется далеко, пока не сливается в синеватом мгlistом просторе.

Значит, это Кедровское болото. Огромная заповедная палестина. Я сижу на его окраине. По другую сторону вид закрывает вершина увала. Из-за нее ползут тучи. И так хорошо здесь, на высоте, среди сырой пахучей хвои, на свежем ветру, под самыми дождевыми тучами. Снова гляжу на бескрайнее болото и размышляю, что там, наверное, очень привольно живут глухари, по сухим островинам немало лесного зайчика-беляка, есть лесные тропы, россыпи клюквы, водянистая морошка, комариные царства, мхи и лишайники. Может быть, заходит сюда по зимам или на кого не похожий зверь — росомаха, забредают северные олени. Они ведь жили тут не так давно. Остались в памяти стариков, в названиях: Олений мыс, Оленья стойка.

Меня тянет туда, в нехоженые пустоши. «Вот бы построить где-нибудь на островине избушку, писать, жить, знакомиться со зверьем», — мелькает идеалистическая мыслишка. Я усмехаюсь ей и начинаю спускаться. Пора от поэзии ближе к земле. Спуск не менее труден, ветки обдирают лицо, руки порят от тысяч уколов. Земля далеко. Иногда нога оступается, и тогда жаркой волной пробегают озноб страха. Чуть-чуть бы — и... Совершенно обессилевший, сваливаюсь в моховые подушки.

Из болота я вышел на склон того увала, который загоразживал северо-восток. Здесь рос сосняк вперемежку с елями и березами. Обычно такой лес встреча-

ется крайне редко. Сосна и ель не уживаются вместе. Сосна любит почву сухую, песчаную, подзол и камни, ель гнездится где посырее. Но, очевидно, ветер-сеятель заносил сюда много семян из елового болота, и многие елочки все-таки принялись под сенью широких сосен и столетних берез. У выросших елей образовывались острова молодняка. Как цыплята возле наседки, хорогодились елушки вокруг широкой матушки-ели. Здесь было суше, чем в кедровнике. Хвоя мягко впитывала дождь, лесная осока и папоротник-щитовник не держали его. Я бесшумно продвигался по мягкой подстилке. Время от времени нагибался, чтоб взять липучий свеженький масленок или особенно красивый подосиновик. Грибки были один к одному.

Вдруг возле очередной островины я увидел совсем другие грибы — красноватые с прозеленью, будто кто-то бросил в хвою десяток медных самородков-хризолитов. Рыжики! Боровые!

Я срезал их с особенным чувством, похожим на благоговение. Крепкие кругляшки, веснушчато-рябые сверху, рыжевато-красные с испода, они сладко пахли дождем и осенью. Корзины у меня не было. Она осталась в погребушке. А я и без того пожадничал, набрал полные руки маслят. Куда же девать такое добро? Сложить в фуражку — будет мокнуть голова. Не раздумывая долго, я поступил так, как делал это в детские годы. Быстро снял брезент, рубашку и майку. Ежась под дождевым крапом, завязал у майки ворот и рукава. И оделся еще поспешнее. Теперь можно набрать рыжиков, как говорят дети, «дополна».

На четвереньках обыскал я еловую островушку, нашел еще парочку. Даже в таком заповедном лесу рыжики попадались не густо. Дорогие грибы знали себе цену.

Уже за полдень. Но солнце не показывается, дождь не утихает. Сеется, сеется водяная пыль — коробом становится потемнелый от влаги брезент.

Я выхожу на вырубку. Иван Емельяныч согбенно бродит меж сосенок, тюкает, тыпает, слышно, как тятка бренчит о камень.

Заслышав шаги, он оборачивается:

— Набродился...

— Вроде бы... Думаю, домой...

— Айда. Пойдем. Спина не моя...

Дорогой рассказываю о порубке в кедровнике. Старик хмыкает:

— Недавно ссечены?

— Не позже недели.

— Ну, это он. Ах, стерва...

— Кто он?

— Да Сашка, сын Павла Васильича. В ту субботу приезжал с товарищем каким-то. По мешку орехов наколотили. Когти у них были, чтоб на лесину залезать, простые когти с шипами, не монтерские. Один коготь-то у них обломился напрочь, дак они вон чо... Ах, стервецы... Кому же больше. То-то он рано убрался. — Иван Емельяныч качал головой.

— Может быть, другой кто-нибудь? — попробовал я усомниться.

— Не... какое... Сашка тут каждую палестину знает. А жаден он, весь в мать. И не робит, слышно, нигде. Куда поступит — месяцу не продержится: то ему от дому далеко, работа не по ндраву, еще чего. Вот и болтается, как дерьмо в пролубе. Летом у отца живет... Ну погоди, приедет в другой раз... Надо бы по указу его, гниду проклятую. Да ведь не пойман — не вор...

— Ну а лесник чего?

— Павел Васильич-то? Он, может, и знать не знает... Сашка ему докладываться не станет. Сам-то он в лес когда-когда выберется. Да и была им нужда об двух лесах горевать. На дрова свезут.

— Почему же вы молчите?

— А потому, что раньше-то еще хуже было... Лесник, который до Павла Васильича, Васька Родионов, вовсе вор был. Он и лес рубил и сеном торговал. У него за поллитру да за красную бумажку чего хошь купить можно было. Пьянчуга был несусветная. Сняли его, под суд отдали. Ну, Павел Васильич не вор ведь. Лес он не рубит, не пьет, за порядком сколь может наблюдает. Домашность его заела... Ефросинья. А ведь он бабу свою любит как! Только что на руках не носит. Весу в ней пудов шесть. Живет справно! А кто не хочет лучше жить?

— Ну, пойду я в лесничество, — продолжал он словно про себя, — обскажу все, а сюда и сунут кого-нибудь вроде Васьки-пьяницы. Это как? Не больно кто на лесниковы харчи обзарился. Ты вот пожил, походил, воздухом нашими подышал, а поди-ка, домой ладишься?

Он взглянул на меня так пытливо, насмешливо, что краска какого-то детского стыда тронула мои щеки.

Ведь действительно, рассеянно слушая его голос, я больше думал о промокших коленях и старался припомнить, во сколько уходит в город последняя электричка.

Погода, видимо, не собиралась улучшиться. Хотя ветер стих, дождь по-прежнему тихо шуршал в листве берез и осин, носки сапог побелели от воды, на козырьке фуражки одна за другой рождались капли. Мне казалось, что деревья в дождевом тумане покорно ждут еще худшей доли. Иными они были вчера, овеянные теплой лаской ветра, лепечущие что-то безмятежному небу...

После сырости и холода комнатуха Ивана Емельяныча представлялась райским жильем. В ней было сухое тепло. Мы разложили на лежанке огрубелые брезенты.

Только сейчас я по-настоящему понял и оценил все достоинства громадной русской печи. Без нее в лесу не проживешь. Тут прогреешься от простуды, высушишь одежду и сладко выспишься, если есть возможность поладить с тараканами. Наконец, ничто так не располагает к думам, как огонь, красно льющийся из-под свода, и широкая нагретая лежанка.

Мы сели обедать горячей картошкой с молоком, огурцами и зеленым луком, вымытым дождем. Я очистил огромную молодую картофелину, разломил, посыпал солью, готовился, обжигаясь, приняться за еду.

Вдруг дверь без стука быстро отворилась. В комнату зашел человек среднего роста, неприметной наружности, в таком же сером неприметном плащике, мокрым насквозь.

— Здравствуйте, — коротко бросил он, как-то по-особенному цепко оглядывая меня.

Иван Емельяныч недоуменно жевал, борода его шевелилась вверх и вниз.

— Я из лесничества. Документы ваши попрошу, — так же настороженно и, как мне показалось, опасливо проговорил гость и кашлянул.

Дверь отворилась снова, через порог шагнул милиционер с погонями старшины, за окном промелькнула еще одна синяя шинель.

Это было так неожиданно, что в первые минуты

я потерялся, не зная что сказать, только хлопал глазами.

Вероятно потому, приняв недоумение за растерянность пойманного преступника, милиционер без предисловий вмешался баском:

— Ну, чего, чего? Документы... Сказано вам, гражданин.

Я молча полез в карман, подал охотничий билет. Штатский глянул в него одним глазом, словно в ружейное дуло.

— Его вы леснику предъявляли?

— Предъявлял... Но по какому праву...

— Еще какой-нибудь документ у вас есть? — не дослушал милиционер.

Я достал членский билет Союза писателей. В нем же, сложенная вчетверо, лежала путевка, по которой горком партии направлял меня для проверки наглядной агитации на завод транспортного машиностроения.

Гладкий красненький билет ССП и особенно бумажка возымели действие.

— Пишете, значит? — улыбнулся штатский. И тут я заметил, что он еще зелено молод, недавно бриться начал, что глаза его светло-карие с детской искринкой, а волосы на висках из-под мокрой кепки светятся совсем по-мальчишечьи.

Лицо здоровенного старшины было жестче, но и в нем я увидел простую душу, проглядывающую кое-где сквозь маску служебной суровости. Мне подумалось, что дома этот старшина ходит по комнатам в своих окантованных галифе, заправленных в шерстяные носки, в свободное от дежурства время любит поспать и неплохо нянчит ребятишек.

— Садитесь, — приглашал Иван Емельяныч, по-видимому едва-едва начиная понимать, в чем дело.

— Да спасибо. Мы уж пойдем. Извините, конечно, — улыбался кареглазый. — Ведь как получилось. Пригнал утром лесник. Говорит. Так и так, неизвестный пришел, третий день живет. Билет, мол, в порядке. А все чего-то ходит, высматривает, пишет, фотографирует тоже. Ружье есть, а не охотится. Подозрительный, мол. Ну, знаете, время какое? Пауэрсы разные. Проверить надо. Мы вас немедленно искать. Пришли сюда — нету. Мы на вырубку, в лес... Нашли. Видел, как вы косача сбили, на ель лазали, рыжики в бору брали. Патрончики-то

вот, возьмите! — Он достал две стреляные папковые гильзы, поставил их на стол. — Ну, извините, конечно. Нам пора... До свиданья.

Они разом шагнули к двери.

— А порубку в кедровнике вы видели? — спросил я.

— Какую порубку? — обернулся молодой.

— Там, в болоте, два кедра из-за шишек свалены...

— Да что вы? Нет, не замечали...

И он вышел следом за старшиной.

— Вот так Павел Васильич — каку штуку отмо-чил, — сердито пробормотал старик, усаживаясь за стол. — Да нешто не видать человека по обличью... Это сам он с перепугу, не иначе...

Мне было отчасти смешно, отчасти неприятно, как всякому человеку, незаслуженно заподозренному.

...Молча принялся я за остывшую картошку, запивая ее холодным молоком.

Дождь за окном перемежался, то стихал, то густо осыпал стекло. Кланялись ветру мокрые высокие коноп-лины в огороде.

— Разнесет ненастье-то. Холод будет, — сказал Иван Емельяныч. — Угли в загнете шают. Это уж к холоду... В бобы не ворожи... Да, отошло наше красное летишко, истаяло.

А после обеда я стал укладывать котомку. Первым долгом установил корзину. Доверху заполнили ее сыро-ватые холодные грузди и рыжики. Они были уложены плотно, шляпка в шляпку, грибок к грибку. Бережно завернул в газеты тетерева, положил хвостом вверх. Его надо было сохранить целым, до единого перышка. Неожиданно под руки попала банка с ящерицей. Батюшки! На дне ее сидела уже не одна пузатая ящерка, а целое семейство гибких коричневых ящерят, похожих друг на друга как две капли воды.

Но вот сборы закончены. Ружье стоит у порога. Пора в обратный путь.

— Садись, посиди на дорогу, — напутствует Иван Емельяныч.

Послушно сажусь на лавку под окно, последний раз оглядываю закопченный и облупленный известковый потолок, печь и рыжего прусака, резво бегущего по ней в свое запечное царство.

— Пойду.

— С богом!

Иван Емельяныч провожает меня за порог и долго вприщур смотрит вслед. Оборачиваюсь не один раз, перед тем как свернуть с луговины, — все стоит. Как быстро привык я к этому человеку. Деньги за жилье Иван Емельяныч не взял наотрез. Обиделся даже. Я ухожу, и чувства мои как у человека, которого наде-лили чем-то дорогим, теплым и задушевым, что оста-нется на долгие годы.

Вот скрылась луговина, снова я один в промокшем лесу, под мелким дождичком. Я иду быстро. Сейчас уж не тянет глазеть по сторонам, любоваться каждой встречной елушкой. Я шагаю по мелким лужам, по сырым желтым листьям, ружье висит на плече. Одна мысль занимает меня: успею ли до потемок выбраться на трассу?

А через семь часов я уже лежал на теплом диване бешено летящей ночной электрички. Пустой полутем-ный вагон покачивало, гулко гудели колеса. Какая-то девушка в клетчатом платке, телогрейке и лыжных брю-ках, заправленных в резиновые сапоги, пластом спала на дальней скамье. Изредка, перед разъездами, в дверь просовывалась голова проводницы и, проворчав что-то, исчезала.

На поворотах потряхивало. Плотней прижимало к спинке дивана. Я приподнимался, заглядывал в окно, видел две линии света от фар мчащейся электрички. Я не мог уснуть, вышел в гулкий тамбур, откатил дверь. Холодом, сыростью ударило в лицо. Бежал за порогом черный лес. Поля-разворачивались, одетые мраком.

Далеко-далеко, на небосклоне, светилась слабая туманность. Там был город, была моя работа, близкие люди. Все это стало бесконечно дорогим после трех лесных дней, коротких, как миг, долгих в памяти, как сама жизнь.

Поезд мчал сквозь мрак и ночь, а в холодных спя-щих лесах под темным небом уже кралась на волчьих лапах запоздалая осень.

1961 г.

Золотой дождь

Повествование в размышлениях о коллекциях и коллекционерах

Не знаю, где сейчас находится эта картина. Тогда — двадцать лет назад — она висела в скромном зальце Эрмитажа и перед ней не было еще наплыва зрителей — созерцателей всех сортов, от хлопающих глазами хихикающих девиц до ценителей в бородах, так сказать, аристократов духа и взыскующих града.

Не было и обычной по теперешнему времени просвещающейся групповой массы, которая с гулом заполняет музейные залы, с гулом перемещается, почтительно слушает речистых экскурсоводок, создавая в прежде чинных учреждениях культуры тесноту, очередь, давку, и все спорят социологи-искусствоведы: Что такое? Стресс? Взрыв? Почему? Откуда? Где корни? ..

Но тогда в малом зальце картина висела в подобающем ей одиночестве, на отдельной стене розово-серого женского цвета. Цвет как-то особо подходил к золоту багета, овально округленного в углах, что придавало картине некую законченную ювелирность, может быть, в согласии с замыслом живописца. Люди, не знакомые с трудом художника, вероятно, и не знают, сколько времени, гаданий, прикидок, растерянности, озарений, разочарований тратит он на подбор и создание рамы — только рамы, но ведь рама, как говорят, лишь подарок художнику, а главное? Главное, заключенное в раму, было средних размеров полотном, подпись к нему кратко гласила: Тициан. «Даная. Золотой дождь». 1554 г.

Помнится, стоял перед картиной тяжело утомленный, перегруженный впечатлениями, с болью в стертых ногах, — дернула нелегкая надеть в Эрмитаж новые скороходовские полуботинки. С болью в висках и во всей усталой голове я смотрел и все старался убедить себя, что это одно из лучших произведений Тициана, что это шедевр Эрмитажа, роскошь, сокровище, уникам и все

такое. А картина как-то терялась в моем сознании после бесконечных дверей, лестниц, потолков, скульптур, других картин, золота-серебра, орденов, фарфора, гобеленов, монет, оружия — всего подлинного, что я успел осмотреть и что потрясало именно этой подлинностью, чьей-то принадлежностью — ну вот, к примеру, неужели эти слегка уже потускневшие, но все-таки роскошно сияющие звезды — кресты были на мундире генералиссимуса — князя Суворова Рымникского, а вот эту цепь возлагала на склоненную выю Потемкина сама Екатерина II холеными царскими руками? У всех этих вещей, монет, картин, мебели была таинственная судьба, прямо связанная с судьбой их владельцев, тех, кто их носил, заказывал, получал, рассматривал, короче говоря — владел. И сейчас эти вещи, сберегаемые здесь уже в музейном нетлении, мешали мне созерцать творение Тициана.

Ныне думаю, что для величайших творений человеческого духа надо бы создавать и особые отдельные помещения. Как ни странно, это хорошо понимала церковь. И если не получалось у мастеров Кёльнского собора, церкви Покрова на Нерли или Василия Блаженного, зван был немедленно великий живописец, чтобы своим произведением осветить ничем не примечательный храм.

Итак, я недолго задержался перед «Золотым дождем». Может быть, виной тому был и мой возраст — не таковы ли все мы, двадцатилетние, когда чересчур смело, невнимательно и жестоко оцениваем все, в чем не можем разобраться, и лишь спустя многие годы чувствуем тяжелый стыд за свое невежество, а то и вовсе не ведаем стыда.

Разглядывая картину, я воспринял, конечно, лишь внешнюю, очевидную суть, — так сказать, форму: обнаженная, очаровательная в обнаженности и неге толстушка фривольно раскинулась на белом атласе ложа с блаженно остановившимся взором, в то время как ее служанка — ключница, черная и гнусная старуха, пыталась заслонить сияющую девичью наготу от вполне реального потока золотых, как будто горячих динариев. Они сыпались с разверзнутого грозового неба...

Пожалуй, вместе с видом молодого розовеющего под закатным и грозovým светом тела, больше всего мне запомнилось название картины:

Даная. Золотой дождь.

Как ни скупо преподавали античность в нашем институте, моих познаний в мифологии все-таки хватило, чтобы вспомнить, что Даная — дочь мифического царя, заключенная им за что-то в темницу — и только. А вот причем здесь дождь, да еще золотой, было непонятно совсем, не соединялось с представлениями о сыплющихся динариях и талантах. Их я только что видел здесь же, в Эрмитаже, и они ассоциировались в моем представлении с чем угодно: мешками, сундуками, подземельями, пиратами, мушкетерами, парусниками, менялами, карманами, наконец, — только не с дождем. Золотой дождь вещественнее всего я видел именно дождем, крупным, сверкающим, майским, хотя его с таким же успехом можно было назвать топазовым, яхонтовым, алмазным, серебряным. Представилось: жарким полднем вдруг найдет-набежит темное облачко, кратко верескнет, скифски-буйно ударит гром и с отемненного неба, не стесняясь ни солнца, ни полудня, зашумит сверкающий озорной дождь. «И солнце нити золотит...» Как это здорово было сказано про дождь, который по недоразумению именуют еще слепым. Что слепого тут, в этом словно рукотворном ливне, в майском голосе грома и в ответной дрожи Земли? Что слепого в Зевесовом хладе тучи, так скоро исчезающей, чтобы опять смениться еще более белозубым смеющимся днем в запахе мокрой новой травы и тополевых молодых листьев? Золотой дождь...

Иногда с таким дождем выпадает град — кусочки мелкого мокрого сахара. Иногда град бывает и крупнее — в скворчиное яйцо. И всегда удивляешься, подбирая эти снежные небесные льдинки — откуда они и почему? — и почему иные из них напоминают толстые неровно скругленные ледяные монеты с чьим-то на глазах исчезающим ликом. Такие полустертые лики я видел на древнем византийском серебре...

Эрмитаж родил ощущение необъятности. Пробыв в северной столице всего один день, я чуть не весь его потратил на хождение по эрмитажным залам и вышел, как говорится, на свежий воздух, с унылым сумбуром в голове, шел, унося ощущение тяжелого потрясения и недоуменности. Что толку — провел в Эрмитаже часы?

Дни, недели, месяцы нужно, чтобы вобрать в себя и хоть как-то упорядочить его богатства... А может быть, не хватит многих лет, целой жизни? Конечно, не хватит... Вот такое же должно быть потрясение у жителя глубинки в столичном городе с многолюдьем, машинными потоками, витринами — манекенами, консервно-бутылочным и товарным изобилием, гулом — ритмом, богатством и суетой жизни, словно бы отрицающей его провинциальное бытие, казавшееся в лесной стороне таким определенным и важным. Впрочем, я взял это сравнение лишь для тогдашнего робкого и пахнущего овчиной мужичка, какой-нибудь тетки в цветном оборчатом фартуке. Нынешний провинциал, особенно молодой, с прической под питекантропа, в джинсах, в вывернутых наизнанку резиновых сапогах с орущим транзистором в длинной руке ориентируется в городе уверенней исконного горожанина. Но двадцать лет назад такой провинциал еще только-только нарождался.

Среди хаоса впечатлений «Золотой дождь» все-таки надолго задел меня и родил несколько странное чувство. Впрочем, такое ли уж странное? У меня ли одного? Не случилось ли вам, возвращаясь домой после выставок, музеев, галерей, ощущать желание иметь у себя дома нечто тождественное, ну, пусть не все, пусть хоть малую малость, но что-нибудь оттуда: открытки, репродукции, альбомы... А еще бы лучше всю выставку, весь Эрмитаж... Что же тут плохого?

Лично у меня такое с детства. Возвращался с матерью, с бабушкой из зоопарка — тотчас кидался искать по немногим своим книгам тех зоопарковых зверей, и мне надо было немедленно приниматься их срисовывать, переводить (жаль вырезать не разрешалось), а потом все добытое помещать хоть в тетрадку за неимением альбома и быть надолго нелепо счастливым.

Что же это за странность такая? Жажда приобретения? Инстинкт собственника? Любознательность? Овеществление абстрактной мечты о своем зоопарке? А такая мечта-греза была и очень трогательная и очень радужная. Чтобы под нашим холодным небом устроить где-нибудь тропики пусть бы на десятки гектаров и чтобы там все как в Америке Южной и в Африке... Понимаете, чтобы жирафы паслись, баобабы росли. Золотая греза? Фантазия? Несбыточность... А все-таки золотая я... Может быть, как тот дождь...

Иногда я думаю: «Уж не родимся ли мы в самом деле собирателями, искателями, коллекционерами?» Поставишь себе такой вопрос и сразу находятся возражения: «Да сколько угодно людей ничего не коллекционируют, больше того, презирают это занятие, считают его низменным, сродни стяжательству и скупердьяйству. Есть и такие: гордятся тем, что они не коллекционеры, и отдают, посмеиваясь, какому-нибудь фанатику-нумизмату завалявшуюся монету, отклеивают красивую марку с конверта и одевают жаждущего, а открытки поздравительные с ходу несут в мусорное ведро». «Не коллекционируют?!—спрашивал меня кто-то, ехидный, сидящий во мне.—Не собирают? Ну-ка, а платья? А туфли? Пластинки? Серьги-кольца? Деньжонки?» Разубеждаю этого скептика в себе: «Да ты что? Какое же это коллекционирование? Это просто житейское дело...» — «Корыстное!» — заявляет мой скептик. «Да корысть там, где есть доход, деньги, прибыль, а коллекционирование бескорыстно», — вразумляю я его. «Ха-ха!—смеется он.—Ха-ха!»

— Бескорыстное оно!!— ору я на своего скептика и привожу примеры:

Один человек, он и сейчас жив-здоров, вот почему не называю его ни по фамилии, ни по имени-отчеству, сколько раз из-за такого в конфузию попадал — этот человек собирает все, буквально все, что принято собирать: книги, марки, открытки, этикетки, самовары, иконы, монеты. Но главное увлечение — значки. Значков у этого коллекционера почти как в сказке: столько, еще полстолько, да еще четверть столько, — и все в аккуратности немыслимой, на отличных, оклеенных бархатом планшетах — дореволюционные знаки на белых, революционные, само собой, на алых, довоенные на зеленых, нынешние — на голубых. На вопрос: «Что вы с ними делаете? Зачем?» — этот скучный с виду человек с очень скучным лицом и совсем уж скучным голосом ответил так: «Ну... я их... облизываю... по воскресеньям...»

Грубоват, может быть, ответ, но, пожалуй, в самую точку. Видели бы вы этого унылого, с какими радостными восклицаниями, весь в улыбках, в нетерпении и в дрожи умиления воззрится он на довоенный осводовский значок, который я ему презентовал за ненадобностью. И по тому, как дул-тер он на значок, как старательно полировал тусклую бронзу надписи, я подумал,

глядя на него: «Грешным делом, и впрямь ведь облизывает он свои значки, пожалуй...» А в целом счастлив, наверное, он, очень счастлив, наедине со своими сокровищами — гербами, памятниками, миниатюрами, эмблемами спорта, труда, мира и войны.

— Ну-у... Мм... В марках я... изучаю историю почты... Историю человечества... Марка — это же памятный знак, наконец, просто художественная миниатюра... — это объяснил мне один видный филателист, режиссер академического театра.

И хотя возражений можно было найти сколько угодно, хотя бы то, что историю человечества гораздо удобнее изучать по книгам и историю почты тоже, — я не стал возражать этому бесконечно уверенному в своей правоте человеку, весь облик которого говорил об этой уверенности — филателист походил на пожилого, коротко стриженного шотландского пуританина. Вообще замечу, филателисты самая категорически мыслящая часть человечества. Они так накрепко уверены в необходимости и пользе своего увлечения, что едва попробуешь посягнуть на устои, вас тотчас словом, интонацией, взором укорят в невежестве, незнании, неспособности понять и даже просто в тупости, в лучшем случае называя ее культурно, скажем так, инфантилизмом. Ну, подумаешь, какая разница между маркой с зубцовкой $\frac{3}{4}$ или такой же маркой с зубцами $\frac{5}{6}$ или вообще без оных, то есть с беззубцовкой — марка-то одна и та же. Но усомнитесь вы в том, что за «беззубцовку» надо платить в десять раз дороже — вас испепелят, от вас отвернутся, как от круглого болвана.

— Марка — ценность. Марка — стоимость, — торжественно объяснял мне другой солидный собиратель, кажется, профессор консерватории.

Вот говорят и пишут, что музыканты, художники, актеры — народ веселый, непрактичный. Заблуждаются... Верхом аккуратности были классеры этого музыканта, прекрасными рядами стояли там марки и все оценено, обозначено — рядом с каждой серией, мрачный беленький такой прямоугольничек — цена. «Какая такая цена? — спросите вы. — Она же на марке?» В том-то и дело, что цена и стоимость марки понятия разные. Сегодня только что выпущенная марка стоит 5 копеек, через десять лет может быть и рубль. Спекуляция? Боже упаси, ничего подобного — все расценено, все продается

по самому современному каталогу. Европа — по Цумштейну, все прочее — по Иверу (есть такой трехтомный ежегодник, где его берут непонятно, но у всех завзятых марочных китов он тут как тут, а каталог прошлогоний продается любителям помельче — им и старый сойдет за милую душу...).

Итак, марка — это кое для кого стоимость, все равно что деньги, положенные на текущий счет, но деньги — это деньги, любоваться ими не будешь, эстетического наслаждения никакого, если только ты не Плюшкин и не скупой рыцарь. А марка наслаждение доставляет: «Послушайте! Разве так можно, руками?? Так вот же — есть пинцет. Э-э... Нет, нет. Давайте уж я сам вам покажу!» Как любовно, как осторожно переворачивается страница кляссера. Ведь все это — стоимость. То, что обеспечивается активами государственного банка, всем достоянием, золотом-серебром... И видишь в лице такого собирателя тоже нечто банкнотное, банковое — а может, банкирское? Нет, только банкнотное и банковое, пока. Ничего нет у него общего с тем вот усохшим старомодного вида старичком в пенсне, что сидит на сборищах филателистов всегда в уголке, скромно, точно подтверждает пословицу о свержке и шестке. Пословица вполне может быть подкреплена и расхожей мудростью, что вещи — всегда лицо хозяина. Кляссеры у старичка истертые, дряхлые, альбомы мусоленные, в пятнах, похожи на руки хозяина в старческой крупке. Марки тоже все какие-то выцветшие, чай, отклеены от писем из прошлого века, но сам старичок при всем подобии своим маркам боек, живуч, вот уже тридцать лет встречаю его и все не меняется ни пенсне, ни пиджачок, ни повадка — все так же сидит себе в сторонке возле своих кляссеров, тасует бережно пачечку открыток с видами Венеции, с пасхальными амурами и, как рыболов, ждет поклевки — один глаз на снастях, другой на покупателе, как на поплавке.

Удивительные люди попадают здесь, кажется, нигде более таких не увидишь — сами собой они коллекция, экспонаты один занятней другого. Видишь здесь зримо все роды страстей, все темпераменты, кучи добродетелей, сонм пороков, для человека наблюдательного бывать здесь наслаждение, прямо скажем, лукуллов пир. Ах, какие типы попадают, во всей законченности, отшлифованности образа, пальчики оближешь!

Вот, к примеру, целая группа филателистов, один маститее другого, все в солидных костюмах, и преобладают самые достойные оттенки: светло-коричневый, темно-серый, черный в полосочку, бордо с искрой, и лица — испанских, французских вельмож, венецианских дождей, немецких курфюрстов, ну прямо ни дать ни взять — Кондэ, Валуа, Потоцкий... Где ты, Тициан, где Веласкес? К этой касте и подступиться трудно, новичку вовсе невозможно, если, к несчастью, у тебя еще и развитое самолюбие. Говорят с тобой только снисходительно, едва-едва «любезный» не добавляют, и говорят-то ведь как — покривя губы на одну сторону, прищуриваясь полупрезрительно. Нет, оставим этих для сатирика поспособнее, рассмотрим другой калибр, то есть уже не «Кондэ», не «Валуа», но тоже с большими претензиями на благородство. Вон там, у окна, сидит, к примеру, один мужчина кинематографической внешности. Широко сидит, расставив ноги, опершись на колено, как Роденовский мыслитель. На мыслителя, однако, не похож, а лыс, румян, круглолиц, волосат до ногтей, что, кажется, примета большого счастья, и тоже рядится: в трубку (он ее не выпускает), костюм серый добротнейший в желтую клетку, ботинки английские — люкс. Мистер Твистер, Нат Пинкертон, Смит-Вессон — лезут на язык расхожие определения, до того заграничный вид. Знаю, служит он где-то в НИИ не то охраны труда, не то лечебной физкультуры и, слышно, еще теннисист, яхтсмен...

А торгует «Пинкертон» благородно — только «колониями». Всегда возле него, возле солиднейших в желтой коже кляссеров — кучки подростков в благоговейном молчании, в подавляемом сопении. А марки! Ах, какие марки там, за целлофаном, в клеммташах! Глянцевые, яркие, с парфюмерно улыбающейся Елизаветой английской, со старыми занзибарскими владельцами в чалмах, малайскими султанами в фесках — все на фоне пальм, гор, крокодилов — бегемотов, слонов, обезьян, парусников, морских див: скатов, медуз, осьминогов... Цены на «колонии» стандартные: штука — рубль и рубль — штука. Смотрю со стороны на благоустроенное, вполне довольное собой лицо «Пинкертона» и вспоминаются мне слова не чьи-нибудь, а самого Карла Маркса, помните, о капитале и его свойствах, о том, что с капиталом делается, когда почует он сто, двести и триста процентов прибыли...

Увы, факт остается фактом: среди благородных интересов, рыцарских увлечений, незабвенной любви к марке, к истории почты — в филателии встречаются и куда более прозаические страсти-страстишки, как бы демонстрирующие французскую пословицу, что пороки всегда лишь продолжение добродетелей. Встречается, иной раз и нечто подобное тому, что увидел я однажды, правда, совсем в другом месте...

Воскресный день. Август. Рынок, в просторечье именуемый толкучкой и барахолкой. Толчея и давка, водоворот. Две девицы. Чувствуется: дома они тут, на своей почве. Ну, знаете вы их, видали, конечно... Парички, выщипанные бровки, голубые веки, перламутровые губы, кофточки такие обезьяньи, с начесом, юбки-миди. Лица не то что бы красивые и не то что бы дурные — обезличенные косметикой, а вот глаза у девиц запоминаются: у одной голубая сентябрьская пустота, у другой мартовская стынь-пустынь, февральский холод.

— Ну, ты,— говорит та, в чьих глазах навсегда задержался холод.— Чо с костюмом-то, мылилась-мылилась... Брать надо было.

— Да черт его знает... Не сдашь еще.

— А-а,— говорит с досадой первая.— Не сдашь, не сдашь... Ну, ладно... Счас мы с тобой такую деревню найдем... и окучим...

Совсем недолго надо побыть филателистом, чтобы вселилась в тебя расхожая меж собирателями мечта: приходит на коллекционерский этот шабаш, на Вальпургиеву ночь меновых страстей, простак со старым пожелтевшим альбомом. Альбом когда-то, может, голубой или синий был. И первым заметили робкого простака вы. Отвели дядю поскорее в сторонку, глянули,— а там, в альбоме-то, все Советы — с первых марок! Леваневский с надпечаткой! Первая спартакиада! Антивоенная — целенькая! Золотой стандарт! Бакинские комиссары! И вы все сразу оптом, с альбомом, даром, что марки-то там на клей приляпаны — все по номиналу!! А? Бывает же счастье-то — только редко — Леваневского, понимаете, Леваневского с надпечаткой — по номиналу...

Греза, конечно, опять золотая... Где теперь такие простаки... И все-таки бывают, приходят, но чаще не дядя,

спускающий все оптом. Дядя-то, может, все-таки сам собирал в детстве, кое-что в марках смыслит, а вот женщина иногда появляется такая недоверчивая, все шурится, хмыкает, оглядывается, некает-мекает, не знает, что просить, конечно не соглашается по номиналу, но на нее пикируют со всех сторон и, глядишь, уже отдала альбом, нет его, унесли... А еще реальнее женщины юноша, молодой человек обычно в полосатых больничных брюках и с такой же насиненной пижамной подружкой. Приникает подружка к его хлипкому без пределов самоуверенному плечу, глядит более чем преданно. Эти и не торгуются слишком — марки папины, дедушкины, еще чьи-нибудь, а деньги нужны позарез: в ресторане кутнуть, посидеть вечерок принцем, изящно сбивая пепел с американской сигареты, по-байроновски глядя вдаль.

Бывает, случается...

Раздумываю, вспоминаю, и никнет мое сатирическое копье, обращается в обыкновенную авторучку, когда вижу перед собой самый огромный слой собирателей. Это начинающие. Те, кто еще не успел разочароваться. Вижу, как тихонько морщась, точно от слабой боли, лезут они в собственные неглубокие карманы, платят полновесные трудовые за «спартакиады», за «гонконги», за «искусство»...

И для непосвященных в филателисты должно быть ясно, сколь много выпускается ныне марок. Бесконечное непосильное множество. Попробуйте скупить хотя бы то, что выставлено в витринах газетных киосков. Академику не под силу. И давно уже канули в прошлое хронологические коллекции, где все начиналось с первой марочки, с первой серии. Есть, конечно, но чаще у миллиардеров, у владетельных особ, у испанского короля, наверное, если не распродав его дед по нужде коллекцию, вывезенную когда-то из революционной Испании. Одни чемоданы с марками захватил тогда убежавший Альфонс с несчастливым тринадцатым номером. Но оставим испанских королей, они выход найдут, а что делать начинающему инженеру, молодому врачу или даже высокооплачиваемому начальнику мартеновского цеха? Что делать обыкновенному филателисту при возрастающем марочном рынке?

А остается умерить страсть, пустить ее по узкому отраслевому руслу, и вот специализируются коллекции,

что поделаешь, век специализации, уходят корнями в животный мир, возносятся в космос, застревают на спорте, приникают к многочисленным родникам искусства, и текут из этих родников марки-картины, марки-репродукции, марки-миниатюры с картин и скульптур, украшающих известнейшие галереи.

Можно бы, наверное, и посмеяться. Хм! Измельчало человечество! В прежнее-то время любители подлинные полотна скупали, Рубенса в гостиных весили, Веласкеса с Тицианом, Снайдерсом украшали столовые, Ренуаром — кабинеты и спальни... Мона Лиза-то, Джоконда-то знаменитая, у кого-то, простите, в ванной комнате, по-нынешнему, в нужнике, висела... А вы ныне, охти, господи, репродукции какие-то да еще на таком мизере, на марках, копите и гордитесь: галерея в миниатюре! Леонардо в миниатюре. Э-эх...

«А ничего не поделаешь», — отвечаешь этому голосу из глубины. Мона Лиза-то одна, а видеть-то ее всякому хочется, кто любит искусство. Что поделаешь, если хочется иметь у себя дома Веласкеса и Эль Греко? Если душа ноет без Ренуара, томится без Дега, без Гогена и без Берты Моризо? Да вы не смейтесь очень-то! Думаете, если Рубенс на марках, так уж все просто, легко-дешево? Ошибаетесь, сударь... И в марках творения великих в немалой цене, тем более, что добываешь их часто не из первых рук: как знать, не обходился ли иному покупателю подлинник Ренуара в свое время дешевле иной импортной марочной серии. Неуступчивы продавцы. «Но это же — Лувр! Это же — Модильяни!» И особенно неуступчивы, когда предлагают женщин...

Здесь читатель, не знакомый с современной филателистической терминологией, вполне может вытаращить глаза. Что — женщин? В каком это, простите, смысле??

Ну, конечно же, в единственном смысле — филателистическом. Отмечу только сначала, что марки — увлечение вообще-то мужское. Женщины-филателистки, конечно, есть, но явление это редкое, в виде исключения, что ли, ну, допустим, как женщина-рыбак, женщина-охотник, женщина-капитан (а мне встречалась даже женщина-пилорамщик, и как ворочала она саженные бревна ломом-гандшпугом!). Девочки-второклассницы, конечно, не в счет. Не в счет и молодые супруги, еще припаянно влюбленные в своего юного мужа, — в таком состоянии они прощают ему это увлечение и пытаются

даже сами им светиться, как луна от солнца. Это, пожалуй, самый распространенный случай появления женщин на филателистическом сборище, и надо видеть эту девочку-женщину, всегда почти прелестную, как ранняя весна и как молодая антилопа, когда она тянется из-за мужьей спины в чей-то распахнутый классер и слабо дышит, может быть, от дальнего ужаса, глядя как муж наносит ущерб неокрепшему семейному бюджету. На цветущем, слегка утомленном личике юной антилопы еще бродят сполохи счастливых медовых ночей. Она пытается скрыть, погасить эти сполохи, но не всегда ей это удается, и с понимающей ухмылкой смотрят на нее, подмигивая друг другу, сановно пожилые «Валуа» и «Кондэ».

Вот, наверное, самый распространенный тип женщины, причастной к филателии. А далее идут другие формы, иные варианты, ну хотя бы такой: супруг-коллекционер, еще достаточно молод после серебряной свадьбы, но уже в большом чине, весе, степени, супруга же отчаянно борется с подступающей старостью и уже чувствует: не помогают, не помогают, чтоб им провалиться, ни косметические кабинеты, ни кремы, ни массажи, ни диета, ни парики. Приходит пора, когда начинаешь ненавидеть зеркало, вот тогда и заболевают женщины увлечениями мужа и начинают сопровождать его туда, куда раньше исчезал он лишь под недовольное брюзжанье. Женщины такого рода еще как будто не исследованы литературой, но, наверное, оттого, что исследовать особенно нечего. Все они примерно одинаковы, и увлеченно можно беседовать с ними по четырем проблемам: о сервизе, о серванте, о квартире и о курорте. Дальше не стоит: неинтересно ни им, ни вам.

Вот встретил недавно — гуляет в брючках по вестибюлю отдельно от мужа, углубленного в деловые обмены. Лицо — сама скука, спрятанная жалость к самой себе. «Ах! — сказала, пытаюсь вызвать оживление в блеклых глазах с раздельно расставленными ресницами. — Это ты? Как ты постарел! Ну как семья? Как квартира? Ты не переехал?.. Давно тебя не видела». Показалось, что ее лицо, тщательно прожированное витаминно-масляными кремами, ягодно-овощными масками, и само маска. Впрочем, что такое маска? Не суть ли человеческая фиксируется в ней? Можно ли представить плута с обликом человека умного и честного? Сомне-

ваюсь что-то... Ну, а умного и честного с физиономией плута и рвача? Но мы уклонились от моей знакомой, вернее от ее неподвижного лица с едва заметными и как бы утюгом разглаженными морщинками. Морщинки... Никакой женщине они не идут, это вам не ямочки на щеках, не веснушечки, высыпающие к сезону очарований. Вот и не улыбается женщина, чтоб не испортить лица. Каменеет лицо...

— А ты знаешь, я тоже решила заняться коллекционированием... Собираю места, где мы путешествовали. Мы же объездили полмира. Сейчас опять вот собираемся в Египет... (Из-за лица это она так сказала: Выгыпет...) Как здоровье? Да все, знаешь, болею... Печень... Нервы. Давление. Надо на курорт. А ты здорово постарел...

Однако мы отвлеклись. Речь-то ведь зашла о том, что изображение женщины на марке — очень в цене на филателистическом рынке.

Невольно хочется воскликнуть: О, женщина! Ты и Земля и Солнце! Везде и всюду без тебя не обходится. Не обошлось и в филателии. А мода сия возникла еще в довоенные времена, когда, по-видимому, стесненный в средствах и уже упомянутый испанский король санкционировал выпуск удивительной серии к юбилею Гойи. Нахмуренный Гойя появился в мире филателии почему-то в паре с вариантом своей известной картины «Маха» (Девушка). И маха была обнаженная, хотя кисти Гойи принадлежит и другая маха — одетая. Скандал не скандал, но факт потрясающий, и мировая филателистическая общественность (какое неудобное слово «филателистическая», но не скажешь ведь — марочная) только что не возмущена, коллекционеры шокированы, обыватель растерян, женщины не решаются посылать письма с такой маркой, а почтальоны-мужчины воруют конверты...

Но минуло потрясение, и филателисты — так уж они, видимо, устроены — перешли от осуждения к рукоплесканьям. (Как тут не вспомнить войны против узких и широких брюк.) А обнаженная маха все росла и росла в цене. Предложение родило спрос, и спрос рождает предложение. Женщина властно вторглась в филателию, тесня императоров и королей, крокодилов и тигров, памятники и технику. Женщина заулыбалась с марок самых фантастических стран.

Кому не известно, что самые яркие и эффектные почтовые знаки выпускают крошечные, карликовые государства? Сейчас так и просится на язык: Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра. Но это все-таки известные государства. А вот с некоторых пор открылись филателистическому миру вовсе уж малоизвестные острова и эмираты, которые найдешь и не в каждом географическом справочнике. Эмирам, правящим этими микрогосударствами, видимо, не дают спать щедрые недра Саудовской Аравии, а собственной нефти не хватает на содержание двора. Вот почему они решили наводнить мир раззолоченными глянцевыми, многоцветными марками, услужливо изготовляемыми некой зарубежной фирмой. Женщина, женщина, женщина — в репродукциях. Боттичелли. Веронезе. Ренуар. Сезанн. Гоген. Дега. Моне и Мане. Матисс и Пикассо. Все, кто в меру своего таланта воспевал прекрасное женское тело. Марки-блоки, марки-сцепки, марки-микро, марки-картины. Не забыт русский Брюллов (конечно же — «Вирсавия»). Никто не забыт во имя эмирской казны. Не беда, что в репродукциях перевран цвет, не беда, что сам Ренуар побагровел бы от своей «Купальщицы»: на одной марке она в синих тонах, на другой в розовых, а там и вовсе четверть купальщицы... И сам я, грешный, покупая иную серию, думаю иногда, ну, родись Ренуар в том эмирате, бегай в детстве по улицам его селения-столицы — марки уж вполне законно прославляли бы своего великого живописца. Однако Франция — страна, где жил и творил Ренуар, — если не ошибаюсь, не выпустила еще ни одной Ренуаровской серии...

Но пора вернуться к многообразию человеческих увлечений. В самом деле, если б в одну филателию уходили корни собирательских страстей, не слишком ли однообразным представлялось бы лицо человечества? И откуда все-таки пошло оно — собирательство? Говорят, чтобы понять явление, надо спуститься в его первичные глубины, дойти до истоков, разложить на простые множители. Ведь не случайно и человек повторяет в своем развитии весь процесс эволюции живого от первичной клетки до философствующей материи. Не случайно львята рождаются пятнистыми, напоминая тем древних предков льва, а птенцы изощреннейшего из пев-

цов — соловья также бывают крапчатыми, что говорит о их принадлежности к древнему роду дроздовых. Не случайно мелкий головастик больше всего похож на рыбку (и дышит ведь жабрами!). Так и история собирательства восходит к сбору предметов и существ, произведенных природой: камень, раковины, бабочки, жуки, травы, в изощренных случаях — корни, сталактиты, чучела, когти и зубы хищников...

Вижу, как первый коллекционер подбирал осколки кремня, обсидиана, агата и кварца, бродя по галечным отмелям рек, по осыпям камня вблизи своей пещеры. Он любил и ценил камень за насущный практический смысл, камень давал защиту, служил оружием и орудием, дарил огонь, но практический смысл, вероятно, уже у дриопитека и неандертальца дополнялся поиском красивого, блестящего, радующего глаз не только свой, но и соплеменника...

В раннем детстве я тоже, видимо, «повторял историю человечества», когда искал и находил самые разнообразные камни и тоже отчасти цель была практической — снаряды для пращи, для стрельбы из рогатки, — но постепенно все более отходил я в сторону чисто эстетическую, хотя это модное понятие было мне абсолютно неведомо, так же, как и дриопитеку. Камни. Просто игра света и цвета, просто разнообразие, просто радость... На пустырях возле нашей слободки долгое время сваливали отходы гранильной фабрики. Вы представляете, что можно было там найти? И я находил не только полированный гранит всех цветов от голубого до черносерого, но еще и множество яшмы, куски родонита, обломки горного хрусталя, полутшлифованные топазы, камень красный, бурый, сиреневый, совсем черный, лазурно-голубой, желтый, светящийся самоцветным блеском, мне попадались друзья фиолетовых аметистов, кристаллы турмалина, мрамор, роговик и даже кусочки зеленого малахита. Камни... Увлечение это велико есть. И вышли из него все геологи и рудознатцы. Ему мы обязаны бронзой, медью, железом и, конечно, золотом. Золотой дождь — не оттуда ли он пошел? Не от камня ли?

А мои собственные увлечения не ушли дальше ящика с камнями и одной друзой пирита, с великой радостью принятого, конечно, за настоящее самородное золото. Помню, как мчался с находкой, не чуя под собой ног к

старшему приятелю, обозначим его просто Юрка, и едва не ревел, разозлился, расстроился, когда Юрка, едва глянув на мой самородок, высмеял мое золото, превратил его тут же в какой-то там «медный колчедан». И пришлось верить: Юркина коллекция была не чета моей, все в одинаковых отполированных ящиках, каждый камень в своем гнезде, даже настоящего золота немного: кусок кварца с тоненькой прожилкой. Прозаическое имя Юрка не выражало сути этого человека, а суть была такая же, как коллекция. Все в Юрке было рассчитано, высчитано, расчерчено, разлиновано, определено до последнего пунктика. Уж не родятся ли такие с генетически обусловленной аккуратностью? Есть над чем подумать... Сколько ни приучал я себя к его пунктуальности, четкости — ничего не получалось. Лепим вместе на речке из глины — я мокр и грязен, не знаю с чем сравнить, он чистехонек, белая рубашка, на штанах наглаженные складочки; идем на болото ловить лягушек, ноги мои промочены, сначала я провалился в жижу до колен, он даже сандалии не замочил, а поймал больше; покупаем мороженое — меня обсчитали, а он только посмеивается.

Коллекционером камней я не стал. А вы не знаете, как называется эта камнемания? Уж не филоминералия ли? В общем, страсть к безжизненным минералам зачихла в зародыше, и не достиг я даже первого перевала к той вершине, которая случайно обнаружилась в разговоре с одним знакомым. Знакомый, обозначим его просто Яша, любитель прозы и поэзии и сам пописывающий на досуге, знаток романских языков и собиратель поэтов-модернистов от Бодлера с Метерлинком до Мережковского и Соллогуба в отечественном исполнении, Яша, в подпитии цитирующий Рембо, Цветаеву, Городецкого и Пастернака с вдохновением жреца и посвященного, а с виду похожий на дореволюционного дворника, особенно когда нарядится в сатиновую горошковую рубаху, Яша этот похвастал мне, что приобрел в собственность заветный томик Мандельштама. Разговор у нас пошел далее о погоде, о здоровье и камнях из почек. Я рассказал Яше со смехом, какую великолепную коллекцию камней, вынутых оперативно, держат под стеклом в коридоре энской больницы, а тут же лежат и ходят больные с подобными камнями и смотрят и обсуждают, бледнея, какой камень предположительно у

того или у другого. А камни в той коллекции от мизерных крапинок до почти дорожных булыжников, какими раньше выкладывали мостовые. При упоминании о камнях Яша встрепнулся и сообщил, что завтра они тоже едут копать камни, что там, куда они едут, даже изумруды, говорят, бывают, и пошел он и пошел, о камнях и о камнях, простояли мы битых два часа, и я поразился, как просто могут сочетаться вершины символизма с еще не открытыми копиями царя Соломона.

Когда говоришь о коллекционировании существ живых, невольно вступаешь в конфликт с моралью и этикой. Все живое, до бактерий даже, до бессмысленных вроде бы червей хочет жить и совсем не стремится попасть в спирт, в формалин, а тем более подвергнуться ужасной пытке — быть проткнутым живым булавкой и корчиться на ней иногда не одни сутки (а есть еще булавки специальные — энтомологические, длинные и тонкие, как волосок, впивающиеся в пальцы, едва к ним прикоснешься). А душегубки-морилки, где несчастное насекомое корчится, шевелится, взлетает беззвучно, молит кого-то о чем-то. Как совместить это с понятиями любознательность, доброта, увлеченное собирательство? Я боюсь задавать себе этот вопрос, ведь в детстве все мы бываем неосознанно жестокими и мораль вполне очевидная часто либо не осознается нами, либо уходит куда-то на задний план, а на переднем плане остается главное — коробки с засушенными чудесами: усатыми, бронзовыми, серебристыми, расписными, рубчатыми, рогатыми, отливающими полированной закаленной сталью, воронеными, многоцветными, светящимися, покрытыми сложнейшим, однако всегда присущим данному виду узором.

Первичное бессистемное собирательство, которому предавались в детские дни все без исключения, ну, хоть на один день ведь появлялся же в ваших руках некий замечательный с виду и несчастный жук, и вы тотчас же решали оставить его для будущей огромной коллекции, садили в коробку, носились с ним, показывали всем, а на завтра уже навсегда забывали о существовании этого жука, так что, обнаружив его в коробке лет через пять-десять, уже никак не могли вспомнить, откуда он там взялся, как туда попал. Первичное собиратель-

ство рождает случай, но для того, чтобы оно стало страстью, надо, во-первых, чтобы случаи эти повторялись, а, во-вторых, надо иметь, наверное, к собирательству особую душевную склонность. Ваша страсть может пройти несколько расширяющихся кругов, либо уже на первом-втором витке, подобно спутнику, запущенному на временную орбиту, она должна снизиться, потерять инерцию (интерес) и сгореть без следа в более плотных слоях вашей интеллектуальной сферы. Так говорю я с уверенностью очевидца: ведь сам пережил этот выход на энтомологическую орбиту после обычной, неизбежной, как корь, детской вспышки и прошел еще два круга в студенчестве и в более зрелые годы.

Все началось с жука, которого я даже не сам нашел, а сообщил мне о его местонахождении самый мой близкий друг-приятель в детстве Юрка, но в отличие от уже названного выше Юрки это был китаец, и я привык обозначать его так: Юрка-китаец.

— Тамо наша тебе жук покажи! — сказал он однажды, улыбаясь во весь рот.

— Большой? — спросил я, ибо в детстве величина жука — главный показатель его ценности.

— Шибко большая... Шибко... Вот такая...

— Врешь...

— Шибко... Надо ходи...

Мы побежали.

Жук сидел в сыром углу каменного спуска в подвал, где жили китайцы, и показался мне невероятным. Он был овальный, черный, блестящий, с голубоватыми глазами и величиною, наверное, со столовую ложку, если брать ее без черешка... Возле жука на корточках сидела сестра Юрки, китаяночка Рита, и боязливо посматривала то на меня, то на жука черными ночными глазами. Я с радостью схватил жука и объявил, что это не просто жук, а жук водяной, плавунец, я был в этом накрепко убежден, ибо уже добывал гораздо более мелких, но подобных ему, к тому же от жука пахло тинной сыростью и глаза у него были какие-то водяные и напоминали глаза рыб, если только рыбу сварить. В доказательство я принес банку с водой, куда жук тотчас нырнул и начал бойко плавать, взмахивая ногами-веслами и щелкая о стенки, а Рита подняла вой:

— Моя жук! Моя жук! Мой краунец! — причитала она, хватаясь за банку, и Юрка потупленно признал,

что действительно открытие жука принадлежит Рите.

Пришлось отдать банку, и я ушел сердитый и на Юрку и на Риту и все еще в недоумении — вот, оказывается, какие бывают громадины жуки, разве чета тем, которых я постоянно находил в огороде и на пустырях под камнями.

Но на другое утро Юрка-китаец прибежал снова и с виноватой улыбкой сообщил, что нес мне жука, а «жук уехала». Улетел жук. В доказательство он показывал ладонь, на которой жук оставил какую-то вонючую жидкость. В то, что жук улетел, я не мог не поверить — Юрка-китаец никогда не обманывал меня, но какое же действительно чудо этот плавунец, если может жить на суше и под водой и плавать, и бегать, и летать... (Помнится, я не совместил этого открытия с утверждением о совершенстве человека.) Громадный тот жук побудил меня расширить и усилить поиски подобных существ, и все лето прошло в этом поиске и многих счастливых открытиях. Так я нашел несколько синих больших жуков-навозников, серебристого и словно бы каменного жука-златку, огромного с острым полированным рогом жука-носорога и несколько великолепных усачей, причем поимку каждого из них помню во всех подробностях. Одного, например, зеленого широкого усача, я поймал на гнилом осиновом чурбаке, что валялся за ненадобностью возле забора уже не один год, другого жука; темно-бронзового, сбил кепкой, когда жук летел, расставив усы и крылья, как нечто весьма странное, даже пугающее, выделяясь на яблочно-спелом фоне заката. Жук остался у меня, и я хорошо помню весь этот вечер, темноту заборов, молчание тополей, желтую дынную дольку луны и усача, летящего на закате. А еще один жук-усач серо-голубой, напоминающий тоже бронзу, только в древней жесткой патине, сел на меня сам, напомнив пословицу, что на ловца и зверь бежит.

У этого жука были замечательные голубовато-серые усы-сяжки, состоящие из конусов-члеников, и длина этих усов-антенн превосходила самого жука раз в пять.

А теперь представьте себе здоровенного парня-мужчину, который с большим желтоватым сачком, сшитым, правда, не из тривиальной марли, а как полагается по науке из крепкой канвы-конгресс, бродит по лесным

опушкам и полевым межам, бегают за стремительно улетающими цветными лоскуточками тяжелой поступью голиафа, останавливается возле старых пней, сидит на берегах ручьев и болотцев. Что-то там ждет-поджидает, к чему-то подкрадывается, что-то находит. Его не раз встречают с той улыбкой, которая всегда бродит на лице, скрывается в глазах опытных психиатров и следователей, ему задают вопросы тягостно глупые или озабоченно настороженные. Однажды его всерьез скрадывают два лесоохранника и милиционер с наганом.

— Чем занимаетесь, гражданин?

— Документы, документы!

— Ково делаешь тут?

— Вот... ловлю... Собственно... что вам... нужно?

— А разрешение как?

— Какое, простите... разрешение??

— Как какое? Ну, на эту твою... вашу охоту... — уже помягче, но все-таки достаточно жестко.

— Но я же — бабочек!

— Вот мы и говорим — б а - б о - ч е к... Ну-ка, покажите, что у вас там в банке...

— Пожалуйста...

Долгое рассматривание. Взгляды то на вас, то на банку, непонимающе трудные, недоверчиво щупающие, под конец все более презрительные. Вопросы. Вопросы. Документы. (К счастью, я их всегда ношу с собой.) И наконец краткое:

— Для музея, что ли?

— Себе... Коллекцию собираю.

— Хм... Чудно... Хе... Делать, видно, вам нечего... Ну, извините, бывает, конечно...

Это в смысле: «Бывают, конечно, такие болваны, что с них возьмешь. Дурачок не дурачок, а около того»... И уходят, наконец, и улыбаясь, и оглядываясь еще все вроде бы с некоторой опаской. Совсем, как в той китайской пословице: «Когда мужской монастырь напротив женского монастыря, даже если ничего не происходит, все-таки что-то есть».

Я не очень обижался, в конце-концов больше было смешно, я чувствовал, что так оно и должно быть. Тогда я еще не знал, что и художнику-академику Пластову, сидевшему с этюдником за околицей, старик-односельчанин, — долго глядел из-за спины на движе-

ния кисти, покачивал головой как бы в понимании и одобрении,— под конец изрек со вздохом, сурово:

— Не-чего де-лать...

О, сладкие скитания по опушкам, полянам и порубам! О, милые мне заросли малины и кипрея! О, пустоши с золотым веселым дроком, где пахнет жидким нежным медом и где лежал я, уткнувшись в траву, в ее прохладную жестко-мягкую щекочущую лоб и щеки суть. Лежал и подобно Антею набирался силы от матери-земли... О, речные плесы-пески, коричневая глубина с круглыми листьями кувшинок, зеленые мальки едва видной стремительной стайкой, осока и стрелолист у берега бочажка, наивного и мудрого, как голубой глаз,— тут я сидел часами, замороженный созерцанием тихо идущей жизни. О, счастливые находки под корой пней, на поваленных стволах, в цветах и репьях, в болотных травах и водах...

Жуки и бабочки много дали мне в неосознанном совершенствовании чего-то неусовершенствованного, неполного внутри себя, открыли мир рациональной и бессмысленной как будто красоты, соприкасающийся, восходящий к какой-то горной тайне. Зачем, например, крылья бабочки *Aratura iris* — ивовый переливницы могут быть то кофейно-коричневыми, то покрытыми голубым электрическим огнем. А вы знаете, что многие бабочки названы именами древних богинь или волшебниц — вот таковы Цирцея, Ниобея, Селена, Пандора, Феба, Гермiona, Дриада... Бабочка-дриада?!! Этот вопрос, возможно и не мучил меня сильно, однако он всегда присутствовал, если я ловил, скажем, редкого в наших краях парусника и понимал, что его большие соломенно-желтые с черным крылья в тон раскидистому желтому дроку... Но хвостики на крыльях парусника, но красно-голубые, обведенные синим пятна на тех же крыльях уж ни к чему не привязывались, кроме Фата Морганы, творений Метерлинка, и ни к чему не звали, как только просто сидеть зачарованно где-то совсем одному на дурманно и чисто благоухающей вырубке, синей от луговой герани, и растворяться в дыхании ветра, в птичьих голосах, запахе травы и синеве небес, и чувствовать с тоскливой озаренностью себя вечным в краткосрочной ступени возвышенного бытия.

Окраски бабочек, скульптура жуков исходили неотделенно от этих опушек, берез, кукушкиных слёзок, орхидей-любок, венериных башмачков, осеннего тенетника, журавлиных криков, багряных осинок, песен зябликов, щелка и рокота майских соловьев, совиного пера, осенних зорь, тихих закатов, грез о дальних землях и мало ли еще такого, о чем только тихо и сокровенно полудогадывается душа.

Вот почему я не скорблю, что эти увлечения сгорели без остатка. Зола их удобрила более нужную душевную почву, на которой многое может взойти. А если уж пользоваться снова модным термином космонавтики — энтомология перевела меня на новую ступень, иную и высшую орбиту полета...

Мечта о совершенстве, стремление к красоте. Они так же плохо объяснимы, как крыло парусника. Стремление к совершенству и красоте не отпускает человека, пусть он даже кладбищенский нищий. Мечта заставляет лгать возвышенные истории падения, оправдываться, искать правду там, где ее уже не найти, заставляет надеяться даже в застенке отвержения, одиночества и болезни. Она заставляет что-то искать даже пресыщенного лаврами, но это не типичный случай... Неандерталец шлифует копье. Первобытная Ева рисует звезды — узоры на теле, глядясь в воды ручья. А сельская девочка и ныне творит веночек из одуванчиков, под размычивое хныканье с голубой радостью примеряет на ржаную, русую, как поля, головку.

У магазина по доскам сгружали тяжелые ящики с пианино. Тут же их расколачивали, а потом, взявшись по восьмеро, нацепив мешочные лямки, тащили-вкатывали в магазин. Грузчики были в общем-то одинаковые, каких немало работает при магазинах и мебельных складах, ребята-калымщики с постоянным винным душком. И все-таки выделялся меж них один, так же нетвердый на ногах, так же одетый, однако было в нем что-то неуловимо непохожее, и я стал приглядываться, пытаться понять какую-то его тихую глубину, жизнь в себе. Грузчики кое-как столкали пианино в кучу и ушли, а этот все стоял возле новых, роскошно облитых лаком

инструментов, он, казалось, не решался уйти, что-то соображал. Вот вздрогнул, было заметно, как прыгнули желто-черные пальцы на полированной крышке. Человек открыл крышку, и пианино радостно улыбнулось ему. Он медленно склонился, взял неверный глухой аккорд. Я ожидал пьяного бреньканья, в лучшем случае «собачьего» вальса, но человек, забыв обо всем, справился и заиграл уверенно. Странно звучал полонез Огинского в этом культмассовом магазине среди эмалевых кубков, шахматных досок и фигур, каких-то вымпелов, лыжных палок, велосипедов со свернутыми на одну сторону рулями и неезженных новеньких мотоциклов. Играл опустившийся пьяный человек в замызганной ушанке и в солдатском старом бушлате. Нет, не виртуозно, где там, со сбивами и переходами, играл так, как идет человек под хмельком, и все-таки это была вполне профессиональная игра музыканта, некогда хорошо обученного, может быть, и воспитанного в музыкальной семье — именно музыканта. Кончив полонез, он взялся за Бетховена, что-то из Лунной сонаты забрезжило под нетвердой рукой, и тут же он устыдился, захлопнул крышку, убегая от себя, зашаркал прочь. Он именно убегал, стыдливо шаркая валенками, напитанными грязной весенней водой.

И никогда не позабуду сценку, что поразила меня тоже в магазине, на этот раз писчебумажном.

Двое, мужчина и женщина, по-библейски вошли, держась за руки. Держались друг за друга потому, что были веселы, благоухали хмелем, вообще, чувствовалось, находились в таком постоянном марьяжном состоянии. Мужичок в фуражке лесного ведомства, скорее всего пожарный сторож, а его подруга, пожалуй, из тех встречающихся еще по вокзалам и базарам торговки известкой, пихтой, вениками и еще непонятно чем. Облик подруги объездчика состоял в основном из синяков разного цвета и давности.

«Зачем они здесь?» — спросил я себя и не успел подумать, как женщина, громко вскрикнув от радости, поволокла мужа к прилавку с кипами плотной цветной бумаги. Таковую бумагу любят портить первоклашки на уроках труда, а учителя обертывают журналы.

— Деньги! Где у тебя деньги-то? Давай скорее, — заторопила женщина, дергая улыбчиво медлительного, счастливо мигающего мужика за рукав. — Ох, хороша...

Ц-ц... Какая хорошая гумага, — в умилении повторила она, оглаживая кипы и не решаясь отпустить. — Да чо ты там?!. С деньгам-то! Уснул, чоль?

Мужичок в улыбчивом трансе все шарил под пиджаком в гимнастерке: не то не мог расстегнуть карман, не то не попадал.

— Тьфу ты, копуша, — последовало четырехкратное послесловие, и женщина сама обшарила карманы, нашла деньги, оживленно приговаривала: — Смотри-ко, какая гумага. Счас это... Возьмем... Три листа. Так, значит... На стол красну возьмем, на камод — синюю... А на тунбочку — вот эту, зеленую...

«А на тунбочку — зеленую», — повторил я про себя и подумал: «Что это? Умение радоваться малому? Счастливая непосредственность? Неразвитость чувств? Как это можно и надо понимать? Или никак понимать не надо? Покупают же девочки из общежитий целующихся голубков, кошек из фольги, тошнотворно красивых молодых людей, лобзающихся с такими же возлюбленными. Находят же спрос шкатулки из открыток, коврики с лебедями...»

Ушли супруги совершенно счастливые, обнимая друг друга и унося скатанную трубкой недорогую покупку. Не решился бы делать сей факт достоянием литературы, если б не встретил ту чету снова, мало не через десять лет. Встретил их на этот раз уже в электричке и к собственному изумлению без труда узнал. Словно бы не постарели, а может, потому еще так кажется, что и сам я старше стал... Вот, к примеру, учительница, которая меня обучала; казалась мне очень пожилой женщиной; мне было пятнадцать — ей, наверное, двадцать пять; теперь встречаю ее (мне — за сорок, ей — за пятьдесят) и удивляюсь: ну как это можно так сохраниться? А в самом деле секрет прост: и я и она неуклонно приближаемся к тому возрасту, когда не все ли равно уж — семьдесят или девяносто...

Были мои невольные знакомые в том же состоянии, что и тогда, в магазине. Мужчина приобрел еще огромный безобразно морщиненный шрам на правом виске и выше, словно бы кто-то от души хотел стебануть его обухом, да промахнулся, задел скользом. Лицо женщины еще более очугунело, и теперь уже никакой синяк на нем не был бы заметен, потому что по цвету оно сходило за каслинское литье.

Компания довольно громко шумела, порывалась петь, излучала длинные винные волны, люди в вагоне постепенно отсаживались от нее подальше, и вскоре она осталась среди вагона, как на островке. Я сказал «компания», потому что с четой супругов был некто третий, тюремного обличья молодой мужчина, его они звали то Володей, то Валерой. Володя-Валера был, видимо, из недавних друзей и ехал в гости или переночевать. Известно, что люди, подобные описанным, легко знакомятся, в пять минут становятся так называемыми «корешами» — ненавистное мне слово, — скверно пахнет от него табаком, водкой, матерщиной и какой-то псевдоматросской удалю. И опять скажу: не стоило бы вспоминать ту компанию, если б не одно обстоятельство... Женщина держала в худых коленях горшок с цветком. И цветок этот — глоксиния — невинно смотрел большими белыми с синим бархатными колокольцами. Он казался несчастным и напуганным.

Временами женщина угрожающе кренилась с лавки. Тогда супруг на нее кричал, а Володя-Валера бросался подстраховывать горшок с невиданной заботливостью. Он даже вообще хотел принять цветок и держать сам, но женщина брякнула его по лбу, и он отступился.

Все началось сначала...

В конце концов горшок все-таки выскользнул из невластных рук, с глухим стуком раскололся на полу вагона. Раздались дикие крики. Видавшие виды пригородные женщины морщились, а мужчины в вагоне принимали вид суровой готовности, не ввязываясь, однако, в семейное дело. Наконец шум поутих. Валера-Володя полез собирать черепки. Мужичок нетвердо закурил. А женщина... Она привалилась головой на спинку скамьи и вдруг зарыдала, зашлась в три ручья и, вслушиваясь в ее причитания, я опять увидел, как в потерянном, потерявшем себя без остатка существе еще метался и горевал человек, искал в себе остатки женского и человеческого, они проступали через плач, чудились в согнувшейся спине.

Тяжело было наблюдать все это. Не могу смотреть, как плачут женщины и дети.

Жизнь цветка, по-видимому, тоже стремившегося к совершенству — иначе зачем же он так цвел, возводил

эти бархатные волшебные трубы с белыми звездочками внутри,—заставила вспомнить, что и таинство растений не обошло моего детского круга познания жизни. На пустырях, свалках и огородах, где неслышно проходило мое детство, росло бесчисленное множество растений, трав и цветов, которые я или считал за нечто родное, свойское — это в первую очередь были лебеда, полынь, репы, крапива, мать-и-мачеха,—или они поражали меня своим видом, запахом цветения, чем-то еще непонятным, едва угадывающимся тайным предназначением.

Бело-розовые и сиреневые крепкие цветы тысячелистника с перистыми зелеными ответвлениями напоминали об аптеках, синий с желтым паслен напоминал по виду цветущую картошку, шиповник был из царства грез, темная с зазубринами белена имела отношение к Пушкину — «Что ты, баба, белены объелась...», — а вонючий и тускло-зеленый дурман прямо-таки сочетался с обликом одного моего одноклассника, которого и фамилия была Дурманов. Помню, как однажды этого Дурманова будто на каторгу привели в школу мать и отец, буквально втолкнули в наш класс, потом отец ушел, а мать осталась караулить сына в коридоре. Светло-оранжевый, стриженный «нагладко» и весь светившийся оранжевой щетиной на яйцевидной голове, этот парень с белыми сголуба, как снятое молоко, бешеными глазами ни на кого из ребят не был похож. Учить он ничего не учил, не отвечал ни на один вопрос, а только сидел в странном пришитом оцепенении, глядел в окно, задетый, бешено оборачивался и бил кого попадая, чем попало с нечленораздельным воем. Едва родители переставали его доставлять и сторожить, он мгновенно исчезал, не появлялся неделю и месяц, пока его где-то не находили и снова вталкивали в класс. В хоккее есть такой хороший термин «вбрасыванье»... Дурманов все-таки в конце концов сбежал и больше уж в школе не появился.

И цветок дурман тоже был на особицу: колюч, дик, редок, и еще сочетался он тоже с оранжевым одноглазым котом, который бездомно жил в нашей слободке, неизвестно кому принадлежал. Оранжевый кот таскал цыплят, опрокидывал кринки в погребах, ловил голубей, что за кошками вообще не водится, добывал воробьев из-за наличников и хватал даже ласточек, забираясь под

самые коньки, насмерть битый, он все-таки оживал и опять его проклинали, ловили, сторожили, стреляли мелкой дробью...

Многие цветы напоминали людей. Вот, например, анютины глазки, фиалки. И они попадались на пустырях и было в них много женского, напоминали мне девочек и женщин. Совсем определенных девочек — такой была беленькая малышка Анята, которая всегда, в любую погоду играла на соседском дворе, а запомнилась не столько лицом, сколько белыми штанишками — они всегда торчали-выставлялись из-под ее широкого короткого платья. Другая была женщина, а может, девушка, и тоже Анята из нашей улицы. Очень большая, толстая и, по-моему, очень красивая. Может быть, бессознательно, я всегда эту девушку Аняту ждал, словно бы сквозь забор видел и слышал, когда она проходила улицей и всегда выскакивал за ворота, потрясенно и долго смотрел ей вслед. Она ходила удивительно неуклюже и в то же время тянуще грациозно, как-то мягко сотрясаясь бедрами при каждом шаге. Так ходят коровы, лошади и слоники. И никогда она не смотрела на меня, не оборачивалась ни разу, погруженная в какие-то свои думы. Лицо всегда у нее было задумчиво-спокойное. Вот сравнил Аняту с цветком, от цветка была у нее, наверное, спокойная задумчивость, и сравнил с теми большими животными, а кто-то засмеется, загогочет, скажет: фи! Но это хорошо понимали индийцы, и я чуть не вскрикнул однажды, читая индийские веды: «Когда прекрасная, как слон, Мохини шла по дорожке...» Так было сказано о богине любви и красоты.

И с цветами же, точнее с цветником, было связано еще одно событие, оставшееся на всю жизнь, а может, было это не со мной, а просто с мальчиком — представителем рода человеческого...

Возле дома было два огорода, один, как и полагается огороду, спускавшийся длинными грядами к речке, был занят картошкой, капустой, луком, там росли морковь и свекла под зелеными зонтиками укропа, другой огород был маленький, внутри двора, и здесь росло только то, чем люди балуются в летнее время — огурцы,

помидоры, бобы, горох, кустики земляники, смородина и, конечно же, цветы. Цветы занимали треть этого огорода, обнесенного желтым, давно облупившимся, но сохранившим цвет палисадником. В палисаднике же среди цветов был устроен серый щелястый стол и скамьи в виде буквы П. Красно-белые георгины, пахучий табак, львиный зев, ромашки-маргаритки, оранжевые настурции и пряно-медовый аlesiум окружали скамьи со всех сторон, склоняясь к ним и, сидя за столом, можно было следить шмелей, ползающих по венчикам цветов, желтых цветочных мух, похожих на ос и бабочек, остекленело-загадочно глядящих, сующихся в цветки тонким волосяным хоботком и все время готовых вспорхнуть.

В выходные дни здесь пили чай, вечерами играли в карты, в «подкидного», если своей семьей, в «шестьдесят шесть», если приходили гости, а в обычные дни здесь играл мальчик, рисовал картинки, загорал, мастерил себе игрушки и караулил бабочек; то и дело они перемаживали забор с улицы, как видно, на запах цветов. Это были обычные светло-желтые белянки, кремовые лимонницы, кирпичные крапивницы, реже бабочка павлиний глаз, черная траурница с белой каемкой, еще реже настоящие лесные бабочки: рыжие перламутровки и серые шашечницы, как они оказывались в городе — трудно сказать. Однажды сюда залетел даже дальний житель лугов аполлон. Светлая огромная бабочка реяла, подобно белой птице, и восхищенно, забыв про сачок, смотрел на нее мальчик и так же восхищенно хмурились, следили за ней цветы. Мальчик давно понимал, что бабочки и цветы из одного мира и они могут так же понимать, чувствовать, сердиться и смеяться, как смеемся, грустим и задумываемся мы. Аполлон улетел, не коснувшись ни одного цветка, а когда он словно бы растворился в солнечных лучах, исчез в голубом небе, мальчик с досадой вспомнил о сачке и тут же услышал легкий шорох в проулке за соседским забором. «Кто там?» — подумал мальчик — за забором была старая голубятня и во всем проулке росла сырая трава-мокруша — и, спрыгнув со стола, где он сидел, подошел-подкрался к забору. Незнакомая молодая женщина в белом платье стояла там к нему спиной в проулке между забором и голубятней. Она была очень крепкая, ладная, с золотистыми короткими волосами, и то, что она встала тут,

прячась от всех, потрясло мальчика неодолимо-тянущей воровской тайной... А женщина между тем быстро поставила на землю маленький чемоданчик, небрежно оглянулась и вдруг стала снимать платье, подняв и захватив подол, освобождаясь от него где-то наверху, над головой. Это был первый случай, когда мальчик видел чужую раздевающуюся женщину, и, сцепив зубы, удерживая себя от трясучего волнения, от стыда, стегающего непонятым крапивным жаром и холодом, он увидел ее теперь в высоких чулках, в голубых шелковых панталонах, врезавшихся в ее мощно-круглые, тугие ноги, и в беленьком лифчике, тоже перетянувшем на боках смуглую кожу спины. А дальше было совсем невозможное: женщина быстрым соскальзывающим движением обнажила словно бы сияющее собственным светом тело и торопливо стала снимать чулки...

Кажется, сердце его было на грани разрыва — так стучало, — кажется, он зажмурился, но по-прежнему видел белую божественную в своих изгибах и линиях округло прекрасную фигуру с темными розовыми полосками на высоких прекрасных ногах.

Позже он видел женщин, наверное, более красивых, он писал в студиях натурщиц, видел картины и скульптуры купальщиц и победительниц конкурсов мировой красоты, но ни одна, ни одна никогда даже не приблизилась к той, возникшей перед ним в пасмурном проулке, и навсегда осталась ему широко и кругло развернутая в бедрах фигура необычная и непостижимая, а теперь уже точно пригрезившаяся...

А когда она торопливо надела розовый купальник и, быстро сунув снятое в чемоданчик, ушла к пруду, он долго не мог опомниться, оглушенно сидел прямо в цветнике с пылающим лицом. Ему было душно, жарко, он дрожал и вздрагивал точно в приступе тяжелой лихорадки, а цветы смеялись над ним, улыбались ему и ласково-понимающе смотрели красные георгины и розовые флоксы, фиолетовые дельфиниумы и оранжевые настурции...

Метерлинк приписывал разум цветам. Некоторые соглашались, восторженно одобряли. Большинство возмущалось и хохотало...

Если уж о разуме цветов, то, не зная Метерлинка,

ничего не подозревая о его существовании, я по-своему воспринимал этот разум, эти веянья-запахи цветов, их взгляды, и разговоры, и молчание, по-своему овеществлял и очеловечивал знакомые и незнакомые растения. Так полынь для меня всегда была, как старуха нищенка под темным и скорбным небом, осот напоминал нечто жаляще-ядовитое, гусиная трава — скучные гобелены, подмаренник — легкие девичьи платья, обязательно шелковые, синюха — это всего лишь синька для белья, а кого напоминал клоповник — и называть не надо... Так без начала, без конца отражался во мне растительный мир и сам я отражался в этом мире.

Гербарий же, как форму собирательства, я не принял, едва начав. А вы разве не начинали вдруг тоже вкладывать в книги по листику, по цветочку? С пылом, с жаром принявшись за ботанизирование, я очень скоро уныло остывал, особенно когда обнаруживал в безнадежно зазелененной книге эти листья и травы, выглаженно-плоские, истончившиеся во что-то бесплотное, и еще страшнее были сплюснутые, изуродованные бывшие цветы. Ботаника не увлекла, но зато она открыла мне кактусы, о кактусах же, как и о певчих птицах¹, не скажешь наспех — здесь речь уже не о собирательстве, не о том, что по-модному обозначено «хобби», но о деле, которое проходит через всю жизнь.

Мир увлечений, рожденных мечтой, представляется безбрежным: ведь кроме всеобщих массовых поветрий, устойчивых, как воздушные течения, неизбежных, как морозы в зимнюю пору, — рыбки, птицы, марки, цветы, — есть еще сколько угодно более мелких отраслей собирательства. Таково хотя бы отдающее тщеславием увлечение старой бронзой (различают и собирают бронзу японскую, китайскую, индийскую, индонезийскую, древнейшую, древнюю, полудревнюю, подделку под древнюю, арабскую, негритянскую, скифскую, греческую, римскую, староиспанскую (мавританскую), европейскую средневековую, ренессансную, французскую куртуазную, русскую салонную, модернистскую и т. д.); увлечение трубками (преимущественно писатели), и опять можно удариться в перечисление, как-то: английские

¹ Смотрите книгу «Певчие птицы» (прим. автора).

трубки, голландские пенковые, русские вишневого корня, капитанские, посольские, носогрейки, поморские, ямщицкие, запорожские трубки-люльки, китайские опиумные, индийские кальяны, персидские чубуки и прочая, и прочая; дальше пойдет своим чередом коллекционирование японской миниатюры и китайского лака (музыканты из филармоний и первые скрипки оперы), лубочной пасторали и разного рода петушков-гребешков (исключительно фанатики), присоединим затем купеческий в своей основе интерес к фарфору, хрусталям, литью (перечисление видов заняло бы десятки страниц), упомянем стародворянское кокетничание с холодным и огнестрельным оружием, в первом случае: кинжалы, сабли, шпаги, рапиры, стилеты, кортики, ножи медвежьи, рогатины, мачете, крисы, ятаганы, самурайские двуручные мечи, русские «кладенцы», малайские паранги, индейские навахи (в уголовном варианте финки, «перышки», «мойки»). А о случаях с огнестрельным собирательством не знаю как, разрешает ли милиция... Упомяну коротенький случай-быль. Вечером стук в дверь. «Кто там?» — «Откройте, милиция». Бледная жена отворяет дверь. «Здесь живет такой-то?» — «Здесь...» — «Есть у вас ружье?» — «Есть...» — «Покажите...» — «Пожалуйста...» — «А зачем вам все-таки?» — «Да вот убили в городе одного человека... Ищем...» Еще более бледнеющая жена приносит ружье. Достает из чехла. Открыли. Посыпались из ствола сухие пауки. Лет десять уж не бывал на охоте. Самоусовершенствуюсь. К вегетарианству уже подошел... «Да, — сказал милиционер конфузно, — ну... с вами всё в порядке, значит...» И пошел себе дальше. Молодой такой парнишка. Ясные глаза, волосы косицами из-под фуражки. А все-таки не станешь собирать огнестрельное. Вдруг бы с тем ружьем я только что с охоты вернулся? Боязно как-то... А продолжая о дворянских увлечениях, назовем еще музыкальные шкатулки, граммофоны, табакерки, гравюры на меди, валдайские колокольцы, и дальше все смыкается с модным ныне интересом к русской старине: иконы, прялки, цепи, сохи, телеги, пряничные доски, павловские гостиные, екатерининские будуары, елизаветинские фижмы, петровские бирки за бороду, кокошники, сапоги, перстни, деревянные наличники, лестовки, кадила, наперстные кресты и складни (преимущественно художники, которые в боро-

дах ходят, интересуются) и, наконец, пройдя через конструирование фрегатов и каравелл, спичечных мельниц, бочонков в графинах, можно добраться до собраний вообще необычайных, ошеломляющих: кепки, например (и опять же писатели), вывески с поездов (сам был свидетелем, стащили в Горьком с фирменного поезда «Урал»), пивные этикетки, подозрные трубы, ночные вазы, фарфоровые собачки, а также кареты, древние автомобили, отслужившие паровозы, океанские лайнеры и окурки, оставленные великими... Перечислив эту малую часть странностей человеческих и оставив ее для будущих исследователей, я хотел бы остановиться еще только на одном увлечении. Оно задело меня сильно и не отпускает до сих пор. Оно кажется мне из самых массовых и самых нужных человечеству...

СОБИРАНИЕ КНИГ... Приходит по глубокому моему убеждению не сразу (если не передается по наследству и наследию от отца к сыну). Последний случай принадлежит, видимо, к исключению, а не к правилу. Так, близкий мой родственник всю жизнь любовно возводил библиотеку, книгу за книгой, стеллаж за стеллажом, и собрал замечательную. Волей судьбы досталась библиотека младшему сыну. А младший сын был, как в сказке, и хуже того... На другой же день проиграл все в карты. И погрузили книги, и увезли неизвестные, неизвестно куда на четырех подводах.

Итак, не сразу возникает увлечение книгами, но по мере расширения и усложнения собственной внутренней конструкции, углубления взгляда человека на мир... Здесь имеется еще два исключения. Первое, когда внутренняя конструкция человека становится настолько сложной и запутанной, что ломает самую себя (примеры, хотя и далекие от нас, — аскеты, йоги, тибетские отшельники), тогда книги выбрасывают, топят ими вместо дров, раздают их. Второе исключение, когда у человека конструкция склонна к упрощению до одной единственной детали — сберкнижки. И ради нее (детали) человек рыщет за книгами, кланчит у продавщиц, задабривает завмагов, рвет книги из рук, подписывается на сто подписок и торгует Кафкой, едва осилив букварь...

К двадцати годам заканчивая институт, я оказался в скромном звании преподавателя истории и получил

место учителя в отдаленной загородной школе. Постепенно, не сразу мне стало понятно, почему не рвались сюда и была вакансия для гуманитария. Эта странная школа помещалась тогда под одной крышей с отделением женской бани (случай, вероятно, единственный во вселенной, кроме, может быть, времени античности), и через нетолстую стену в нескольких классах всегда было слышно звон тазов, стук шаек, плеск воды и милые голоса моющихся женщин. Я же преподавал древнюю и средневековую историю, а потому, наверное, меньше других учителей удивлялся, ведь известно, что древние греки и римляне чуть ли не большую часть своего времени проводили в банях, там ели-пили, умащивались благовониями, слушали учителей. И мои ученики, точнее ученицы, сами ходили в эту баню со младенчества, там же мылись их матери и сестры, и потому все здесь им было привычно, как дома.

Пусть простит меня читатель за отклонение от главного, я делаю это сознательно, потому что собирание книг пошло у меня не сразу, а лишь когда я несколько упрочил бюджет своей молодой семьи, приобрел мало-мальский костюм и пальто из крашеного шинельного драпа, про который говорят: «Три с полтиной — километр», а у нас называют почему-то «злоказовским». К «злоказовскому» пальто я все собирался купить шляпу, чтобы заменить свою бывалую студенческую кепку. Так что мое пребывание в школе-бане имело прямое отношение к собиранию книг, и чем дольше я там был, тем больше появлялось возможностей. В общем-то книги я покупал всегда, как только заводились мало-мальские деньги и даже на студенческую стипендию кое-что, но теперь, будучи, как говорится, «на своих ногах», я остро потянулся к собиранию книг, наиболее волновавших. Это были книги по искусству. В самом начале этого размышления о человеческих увлечениях и страстях я уже говорил о марках по искусству. Книги по искусству составляют, конечно, более высокую ступень собирания, самоуглубления, самосовершенствования, познания жизни. Впрочем, можно собирать и марки и книги, если...

Наверное, книгами и репродукциями в них я пытался несколько примитивно утолить свою страсть — употребим выражение, которое любили писатели прошлого

века — к живописи, успокоить хоть как-нибудь непрестанно и тихо ноющую душу несостоявшегося живописца. Двойственное чувство испытываю я перед чужой талантливой кистью: сначала восторг и до слез даже бывает — уж исповедуюсь, — а с другой стороны, ощущение беспомощной горести, примерно: «Он-то вот смог, у него хватило, а ты что можешь?»

Оставил я в свое время художественное училище как дальтоник и чересчур самонадеянный студент-фанатик. Он (фанатик) писал чересчур цветные, пышущие неверным цветом пейзажи, натюрморты. Мог и небо зеленым хромом и лес — киноварью, кадмием. Оценки преподающих: импрессионизм, упадничество, низкопоклонство перед Западом, космополитизм, безобразие, яичница...

Он (старательный студент, опасющийся выдавать свое неверное цветоощущение) писал скупые двухтоновые этюды — сиена, охра, виноградная черная, белила. И опять оценки: потеря цвета, монохромность, черномазье, мазерелевщина, безрадостная живопись...

Ушел из училища. Стал историком. А ощущение неустроенности, не той дороги никак не проходило. Словно бы ненастоящий какой-то я был историк. Вот у нас тут же почасовик, работал он, кажется, в пяти школах, Иван Варламович, тот, сразу видно, историк от бога, подлинный. Вечно с картами, со схемами носится, на международной обстановке помешан. «В Англии-то? Читали? У США — тут просчет... В ФРГ движение поднимается... В Китае новости... Слышали вчера по Би-Би-Си? И Ватикан тоже передал...» Все он слышал, все знает, обо всем крепкое, уверенное суждение, просто ходит по истории пешком.

А этот дальтоник объясняет какую-нибудь Третью пуническую войну, реформы Солона, а сам думает: «Встать бы с рассветом в своей мастерской, подойти к мольберту, где еще с вечера ждет на подрамнике свежезагрунтованный холст, и стоять перед его белым, зовущим до дрожи в руках опасным пространством... И все вроде уж найдено: картоны, эскизы, нашлепки, вот они — гора, и рисунок уже нашел, а рука с углем дрожит, не поднимается перед первым штрихом и откладывая уголь, будто бы затем, чтоб выдавить на желтую вощеную гладь палитры огуречно свежо благоухающие краски. Вот так, полукругом: сажу, охры, кадмий, кобальт,

белила. Вообще-то охры с кадмиями не надо бы мешать, чернеет живопись, но я кадмии люблю — уж очень насыщен, чист цвет...»

Все это мечта, а реальность — Третья пуническая война, Корнелий Сципион, Гай Марий, братья Гракхи, первый триумвират, второй триумвират... Школа вообще доводила иногда до глухой тоски, иногда хотелось мне бросить все, бродить по городу, искать чьи-то лица и взгляды. И эту тоску я пытался гасить книгами по искусству.

Книги по искусству, то бишь живопись, которая интересовала меня главным образом, а также графика, скульптура, прикладное искусство — его я не научился ценить в репродукциях и сейчас, — жития художников, монографии — исследования по творчеству великих, альбомы галерей, папки с репродукциями — все это уже и тогда, двадцать лет назад, имело цену и круг постоянных собирателей. Эти собиратели поразили меня странным сочетанием утонченных манер, насмешливой умности взглядов, недоступной цивилизованности во всем: в голосе, в одежде, — с жадной щучьей хваткой, бесцеремонным оттиранием локтем каждого, кто пытался войти в их круги и сферы. Вероятно мой облик тянувшегося к культурным высотам неотесанного парня со студенческими ухватками удивлял этих людей, хотя они постоянно сталкивались со мной у прилавков и развалов с книгами. Думаю, что они вряд ли могли меня посчитать за выпускника историко-филологического факультета.

Смотрю я сейчас на студентов подобных же вузов и факультетов и поражаюсь — как будто не два, а все пять десятилетий легли между нами, студентами в шинелях, в гимнастерках, в сапогах-кирзовиках, а многие из нас были и с нашивками за ранения, носили ордена, медали, солдатские стрижки «под Котовского», равно как девочки щеголяли в стеганках, в лыжных штанах, в некрасивых юбках и шالях. Ну кому пойдет, скажите, деревенский бабский платок, «вегонева» шаль, она кого угодно на сорок лет состарит, а носили... Спрашиваю себя: да признали ли бы в нас, тогдашних, студентов — сегодняшние мальчики в бородах, в вельветках, в импортных очках (об очках еще скажу дальше), в приевшихся, в общем, как там их ни три, ни зашивай через край, джинсах, «техасах» и маечках; признали ли

бы студенток в тех девочках в ватниках, в безвкусных юбках — нынешние утонченные интеллектуалки, исхудалые «под «Твигги», стилизованные под народниц, под казачек и совсем уж непонятно под кого — под журнальных див из «Силуэта», каких-то «Карменсит», под руссофилок, под русалок, под вамп, под... — одним словом, не часто, очень не часто попадаются сегодня на филологических, журналистских, исторических факультетах девочки, сохраняющие простую естественность в облике.

Сие отступление я сделал вовсе не затем, чтобы по принципу «унижение паче гордости» возвысить нас, круглоголовых и простоволосых, над нынешней порослью — просто тогда моя коллекционерская внешность примерно в таком же соотношении отличалась от внешности собирателей маститых, чему я по наивности и молодости не придавал значения и, как видно, зря не придавал. Форма в людских отношениях, к сожалению, еще часто довлеет над содержанием. «По одежке встречают...» Вот почему оснащенный всеми признаками интеллектуальности и принадлежности к литературному цеху графоман и пустодуй долгое время, а иногда и всю жизнь, пребывает в ряду писателей, вот почему один пронырливый старичок с внешностью почтенного академика — еще до войны с грехом пополам отвоевал он кандидатскую степень и место в некоем институте, — благоденствуя прожил всю долгую жизнь и везде преуспевал, проходил без очереди даже к зубному врачу. Не постеснялся сшить академическую шапочку, завел степенный портфель, докторскую трость, и вот тебе на, прихожу я как-то в кафе, глядь: сидит «академик» за отдельным столом, в петлице салфетка привязана, с важностью кушает. Официантка перед ним бегаёт. Он благодарит тоже с важностью. На моем же столе стаканчика с бумажками, руки вытереть, нет. Пришлось подойти, попросить со стола у старичка. «Возьми», — молвил «академик». Вот так-с, форма... Любят многие рядиться в нее. И не обязательно ученые мужи, иной слесарь так нарочно измазутится, такую копченую-саленую кепочку носит, чтобы все видели — р а б о т я г а, этот пашет и пашет, а киношнику никак нельзя без замшевой куртки — не выйдешь в режиссеры, сценарий не возьмут, а деятелю искусств из-под земли достань дубленку и дубленый же яломок, а маститому поэту как без бело-

го свитера, без кожаной куртки на манер восемнадцатого года — оно и революционно и к чугунно-бронзовому многопудью ближе. Что поделаешь, все это понимают, но неисправимы люди и даже самые-самые нередко склонны к маскараду...

Маска полезна. Что врач без маски, что знахарь без филина, что фараон без золотого трона... Вот самый простой случай: доводилось вам видеть печника, которого призывали перекладывать печь? Дымит печь, нет спасения. Греет плохо. Итак, с чего начинается печное действие? Человек в запачканной глиной, обдержанной спецовке прежде всего стоит, глубокомысленно смотрит на печь снизу вверх и сверху вниз. Потом не торопясь обходит ее, выдвигает и вдвигает задвижки, открывает-закрывает выюшки, щупает печное чело, пять-шесть раз хлопает дверкой, постукивает козонками по кожуху, если есть кожух... Потом долго кряхтит и, наконец, вопрос: «Это кто же ек-ту клал?»

А потом, после некоторого торга, соглашается «изладить» новую печь, которая «как шефанерчик» будет.

Самое интересное, что и «шефанерчик» часто так же дымит, и новый печник, обходя это творение, начинает с того же вопроса:

«Это кто же ек-ту клал?»

У прилавка иностранного отдела, где чаще всего и были самые лучшие книги по искусству, собиратели-любители толклись с утра до закрытия. Иногда казалось, уж не ночуют ли они тут. И всегда им улыбалась, бойко тараторила и по-русски и по-немецки широкая зубастая продавщица. Она и по-английски, должно быть, говорила. Но если английский я не знал, так разную только расхожую мелочь «Сэнк ю вери мачч», «Ай эм вери сори», то немецкий, изучаемый и учимый целое десятилетие, приводил меня в глубокое глухое уныние. До сих пор не могут понять, то ли я совершенно не способен к языкам, то ли неусидчив, то ли память слаба или все это вместе, но из всего курса в памяти жила постоянно и накрепко лишь одна фраза: «Анна унд Марта баден». Фраза была первой в первом моем учебнике немецкого языка для пятого класса и последней осталась. Можно смеяться, можно делать какие угодно выводы, — ни школьное, ни вузовское учение, ни благие намерения

«с завтрашнего дня начну учить самостоятельно», с завтрашнего дня (и составлялась программа, собирались в кучу все учебники-словари, подписывалась тетрадь, определялось количество слов для ежедневного заучивания) — ничего это не помогало и после вспышки энтузиазма в памяти прочно все та же «Анна унд Марта...»

У прилавка отдела иностранной книги я понял не только необходимость соответствующей экипировки. Я услышал здесь разговор на каком-то особом немецком языке. Быстрый, мучительно неуловимый непонятный язык и в то же время вполне ясно, что говорят-то по-немецки. Далека была эта речь от того, с чем я сталкивался в школе и в институте! Завистливо смотрел, завистливо слушал. А следствием бойкого изъяснения всегда было нечто весомое. Оно доставалось из-под прилавка, и завсегдатай, не глядя на это весомое, лучезарно просияв, направлялся к кассе. Продавщица меж тем поворачивалась спиной к прилавку. А потом она снова трудно возвращалась в прежнее положение, подобно вращающейся сцене, и с благожелательной улыбкой вручала покупку счастливцу.

Двадцать лет назад на прилавках и в витринах книжных магазинов было изобилие. Особенно в букинистических магазинах. Население ли было меньше, книги ли больше, скорее все-таки не эти причины. Просто мебельная промышленность не начала еще массового производства полированных шкафов, а словом «сервант» можно было удивить и озадачить так же, как словами торшер, камин, как квартирой со всеми удобствами, газом, телефоном, горячей водой (круглосуточно). Недобств было больше, миллионов квартир еще не построили, тех квартир, сама форма которых, сама планировка требует книжного шкафа, на худой конец двух-трех полок в серванте рядом с рюмками, фужерами, хрусталем. Тех сегодняшних квартир, хозяева которых словно бы боятся такой словесной оценки своего жилья: «Да у них же в доме книжки не найдешь!»

В самом деле, что происходит с книгой? Почему на книгу такой спрос, а хочется сказать грубее — дёр! Предположить, что в прежние времена книги не читали, а нынче все забросили и дела и телевизор во имя книги? Неверная посылка... Ну, понятно, что в интерьер квартир книга прочно вписалась, что теперь и директор гастронома, и завскладом, и пьющий водопроводчик — все дер-

жат в полированном заточении коли не Пушкина, не Шекспира, то хотя бы Лопе де Вега с Кальдероном. Изданы Лопе де Вега и Кальдерон изумительно, переплет и корешки в солнечном золоте — красиво, солидно, фамилия культурная... Но все-таки и это не главная причина — есть еще одна. Два десятилетия назад все бы, пожалуй, удивились, услышав от продающего книги на базаре: «Два номинала! Пять номиналов! За эту — сто рэ...» Или томное: «Нет-нет! Только обмен...» Услышав, что рублевая книжка стоит десятку, вы бы в глаза наплевали такому продавцу, обозвали бы его мошенником, спекулянтom, буржуем, хамом, милицию бы позвали. Нынче же некоторые еще спасибо говорят, что продали, и ходят козырными тузами те, кто хорошо понял, что книга — ценность возрастающая, больше, чем марка, лучше, чем марка...

Канули в вечность времена, когда хорошую, редкую книгу покупали по усеченной цене. А процессы просвещения, роста культуры, достатка да и производства полированных шкафов шли параллельно, лучше сказать, бежали, как спринтеры на соревнованиях. И замечалось: исчезли с полок букинистических хранилищ Пушкин, Чехов, Толстой, Куприн, но еще держались Лесков, Короленко и Мельников-Печерский, за Печерским пришла пора писателей двухтомовых, а там уж дошла очередь вообще до нарядных, толстых, как московские купчихи, книг, — ведь иные собиратели тонких книг вообще не берут, писателей, которые пишут тонкие книги, за писателей не считают...

Сколько есть теперь разных сортов читателя... Есть читатель и собиратель, который принципиально не признает рассказы, а к повестям относится с подозрением, другой никогда не заходит в отдел «Поэзия», третий признает только исторические романы, четвертый читает лишь «про войну», пятая «только про любовь», шестой «только про шпионов», и далее идут «только фантастика и приключения», «только путешествия», о животных, детектив и не всякий детектив, а, скажем, преимущественно зарубежный (Сименон, Агата Кристи) — вот сколько читательских степеней, их можно классифицировать как угодно по ступенькам упрощения либо элитарности. Но все равно это будет читатель, следовательно, любитель книги и ее нормальный потребитель. А вот думается, что если б в виде эксперимента для социологов

рискнули издать какую-нибудь скучнейшую чепуху, невыносимую тягомотину, но издать роскошно, подарочно, с золотым обрезом, а главное, в хорошем переплете и во многих томах, как вы думаете, застоялась ли бы она на стендах магазинов?

Вспоминаю. Стоит очередь у входа в художественный отдел, выбираютя оттуда радостно счастливые, взмокающие, прижимают к груди пачки книг. И женщина тут же стоит, такая приземистая, чаще таких возле универмага, где за коврами пишутся в очередь, видишь. Спрашиваю: «За чем стоите?» Не отвечает. «За чем стоите?» Молчание. «Какие там книги-то хоть?» — «А я знаю? — раздраженно. — Книжки... Все берут и я стою...»

И другой случай:

Купил человек книгу, отошел в сторонку, листает, лицо расстроенное. «Не нравится?» — спрашиваю. «Нет...» — «Зачем же было брать?» — «Дак все же берут...»

Страшно это, когда книгу покупают низачем, просто из подражания, «как все». Страшно, когда пробегают по страницам бездумной рысью, следя только за сюжетом, как повернется, чем кончится... Не так ли высиживают иные граждане целые вечера перед телевизором, бездумно и без разбора «глотаая» все передачи подряд — от «мультиков» до хоккея, лишь бы убить время. Невинное заполнение досуга? Так-то оно так, но невольно встает у меня перед глазами одна знакомая крестьянская семья.

Лет пятнадцать назад не было у той семьи ни телевизора, ни «Жигулей», зато были две коровы, пяток овец, свинья, гуси, куры. Со временем убавилось число коров до единицы, овец вовсе не стало, потом корову заменила телка, телка, спустя еще сколько-то, превратилась в козу (коза сама себя кормит и молоко дает), так же точно свинья превратилась в поросенка, поросенок в кроликов, и в результате от всей живности осталась одна курица, которую и лишили под новый год одинокой жизни. Зачем курица, рассудили, когда яйцо можно привезти из города и туда же сгонять на собственной «Ладе» за маслом, за молоком, если найдется время оторваться от хоккея на голубом экране...

Голубой экран и его влияние на прогресс человечества еще будет изучен и описан, мы же взялись разобраться в положении на книжном фронте и потому вернемся

к книгам по искусству. Они-то вперед всех прочих стали ускользать от взоров собирателей. В иностранном же отделе книги бывали самые лучшие, самые величавые. Как роскошно они блестели на своих обрезах! И новым золотом, и старым серебром, и темной бронзой, и просто шелковистой гладью, белым гляncем, равного которому нигде не сыщешь. Такие книги напоминали о своих достоинствах самым звуком переворачиваемых страниц, как бы предупреждали, что их нельзя провинциально листать, каждый раз муся палец и оставляя дактилоскопический отпечаток. Их можно было только открывать за верхнюю кромку с благоговением и бережением. Я уж не говорю, что эти книги облекались либо в картонный футляр, либо были одеты в лаковый яркий супер — тогда это было также модной новинкой.

И стоили такие книги очень недешево.

Но вы-то, читатель, возможно, знаете, что для коллекционеров и одержимых особым заболеванием — библиоманией, библиофилией — денежная сторона не бывает препятствием к обладанию. Деньги все равно находятся. Их занимают, одалживают, выклянчивают у родителей, друзей, жен, скаречно копят, недавно читал про одного скрипача-антиквара, разрешавшего себе в театральном буфете не более полустакана «Боржоми». Находят деньги на книги, марки, монеты, продавленные самовары, изъеденные шашелью доски, будь ты хоть академик, к трехэтажной даче которого каждый день подплывает величественная «Чайка», хоть не знаю даже кто — архивариус-фанатик. Есть такой в нашем городе; и давно уж ему за шестьдесят, и не женат он, и постоянное его место у букинистических развалов, на сборищах книжников, у столов филателистов — видишь его желтую голову со впалыми ямами глаз, не голову — головенку, зимой и летом в кепочке-восьмиклинке. Роется он в книгах, что-то там нюхает, высматривает, листает хищно и нервно, а найдя, хватает с дрожью, несет потом куда-то в свое жилье, вышагивает, тощий, как осенний репей, в латаном пиджачке, справили, может, еще родители к выпуску из гимназии.

Книги по живописи пленяли меня тем больше, чем казались недоступнее. И чем чаще уплывали в руки постоянных клиентов в солидных очках. Вот дошло время и об очках обмолвиться. Что такое очки? Прибор для

исправления зрения, скажете вы и ошибетесь сразу же. Нет-с... Не главное это назначение очков — это их как бы внутреннее содержание, а главное — и я давно это понял — они форма, завершение формы, если хотите... Нет, не будет у вас облика просвещеннейшего, постигшего высшие истины, если вы не обзаведетесь изощренно-модными окулярами с подпалинами, которые и призваны сообщать владельцам облик постоянной интеллектуально-нервной утомленности. Таких очков тогда еще не водилось, но были все-таки весьма солидные, профессорские, и как помогали очки их владельцам собирать книги, как влияли на толстую продавщицу, что и сам я уж подумывал, не достать ли мне где-нибудь такие же, но ведь никак не подошли бы они к моему шинельно-фризовому пальто и к зимней шапке из странного меха, больше всего похожего на коровий.

Книги из-под прилавка продолжали утекать своей чередой, я же пока довольствовался тем, что не брали взыскательные владельцы очков. Ни Лувра, ни Рембрандта, ни галереи Боргезе, ни Леонардо с Рафаэлем мне не перепало, но однажды подойдя к прилавку незадолго до перерыва, я увидел под сенью стеллажа в углу большой и замечательный по глянцевою лоску том. Titian — изящно обозначалось на корешке, лучше сказать корневище этой книги.

Даже дух перехватило.

— Э... э... Покажите мне... Пожалуйста... Вон ту, — указал я продавщице, сомневаясь, как назвать. Если Тициан — хорошо, а вдруг нет, вдруг Титиан какой-нибудь, о котором я слыхом не слыхивал. Скажешь: «Покажите мне Титиана» — и опозоришься навек в глазах продавщицы, она с некоторых пор все-таки стала мне оказывать слабые знаки внимания как самому верному рыцарю ее отдела.

На сей раз продавщица достаточно выразительно оглядела меня. Она сообщила своему взгляду порядочную порцию презрения, почти возмущения, скепсиса, снисхождения, и не знаю еще каких оттенков сходного качества — все там было, поверьте. Думаю, что Тициан был уже отложен и обещан, а продавщица лишь забыла убрать его в более укромное место. Милая эта женщина вдобавок к своим габаритам была рассеянна, часто путала цены, чеки, проторговывалась, вечно у нее чего-то недоставало, и она спорила о недостатке прямо за при-

лавком, куда являлся из какого-то закутка-предбанника сам директор магазина.

Блеснув передо мной съехавшим чулком, продавщица нехотя протиснулась в угол и подала мне книгу, по праву первородства уже предназначенную кому-то, а тут случайному в мире искусства, почти нахалу. Все это я еще раз прочитал уже на спине женщины, пока она вылезала из разваленных по полу книжных груд. Когда же она снова обернулась ко мне, я увидел, что на лице ее держится надежда на несостоятельность покупателя. Том был очень тяжелый и стоил по тому времени тоже немислимо дорого. Но как бы ни была велика цена, я твердо решил книгу взять, в моем кармане лежала сумма достаточная, чтобы купить три таких книги — полумесячная учительская зарплата... Сердце мое билось сильно не только по причине веской стоимости, скорее сейчас я уподобился охотнику, который выследил редкую крупную дичь, и вот она уже близко, уже на мушке, и только бы ружье не осеклось, только бы... А может, такое же ощущение испытал путешественник-неудачник, приставший к острову, где он не ожидал встретить никого и вдруг оказался лицом к лицу с величавой красавицей. Не знаю, откуда пришла эта мысль-сравнение, но она была точно такая, когда я быстро, наспех перевернул несколько страниц и передо мной мелькнули какие-то женские лица и обнаженные фрагменты красавиц, а в ухо уже дышали, к книге тянулись, кто-то смотрел с напускным равнодушием, а сам ждал: «Ну, выпусти, выпусти ее, задумайся хотя бы...» И если бы я выпустил книгу, с ней было бы то же, что со всеми красавицами — их выхватывают и улыбочиво уводят, уводят навсегда...

Как можно тверже я сказал продавщице: «Я беру... Заверните...» Иллюзии распались. Я пошел к кассе. Но там сидела старуха-пенсионерка и до того неторопливо считала, шлепала штампом, ворчала чего-то под нос, что к ней собралась порядочная и нетерпеливая очередь, а я стоял и оглядывался на прилавок, все казалось, вот-вот перехватят мою книгу самолюбивые знатоки. Перехватят, и будут тебе опять улыбки-ухмылки. О, эти улыбки-ухмылки коллекционеров-патрициев над начинающими плебеями... И обидны донельзя, и возразить нечего, точнее нечем... Для всякого рода ценителей, накопителей и знатоков предметов искусства главный авторитет

в общем не ты сам, каких бы знаний ты ни набрался, а то, чем ты владеешь, твое собрание, коллекция.

Вот, скажем, такой случай. Бродит среди книжников на толкучем некто Витенька (это уж нынче, когда книга сделалась дороже злата-серебра). У Витеньки же какими-то судьбами невероятное собрание, библиотека редчайшая и качественно и количественно. Где он ее отхватил? По наследству ли, в карты ли выиграл (случай подобный приводился выше, только в обратном варианте), вывез ли из глубинки задарма, как вывез совсем недавно два грузовика старых книг другой, некто Боба,—ничего не известно, факт только: у Витеньки и Пушкин редчайший, чуть ли не с автографами, и Киплинг, и Мопассан, и Йога и ЖЗЛ с первых выпусков, и всякие там «Мужчина и женщина», «Что нужно знать, чтобы быть счастливым в супружестве», и травники древние, и библия, и Август Форель, Ницше, Фрейд, Кьеркегор, Шопенгауэр, все Бальмонты, Минские, Соллогубы — Северянины в полном наборе...

Витенька щеголяет в подонском обличье, патлы не стрижены словно с рождения, на плечах — шинелишка, лицо изможденной постами монахини, на ногах — опорки, нечто вроде обрезанных сапог, так сказать «полсапожки», в полсапожки засунуты модные штаны — клеш перинного тика. Чучело чучелом, а перед Витенькой любезны и те холодные, в очках с подпалинами, и те, кто имеет как бы незримые генеральские звезды,— вот что такое коллекция... На втором месте держится Боба — он же Боб, Жорж и Жора. Боба — полная антитеза Витеньке: мордаст, в движениях скор, резок, собран, движения больше все берущие, хватательные, цепкие. Взятую книгу не отпускает, а вообще напоминает Боба молодого кабанчика, так розов, щекаст, сигарету пеплом в глаза курит. И собрание у него замечательное и пополняется стремительно. Говорят, он даже женился на время на приемщице из букинистического. Да мало ли что говорят...

После экскурса в нынешнее время, может быть, понятнее станет мое состояние, когда я уносил том Тициана. Все-таки я шел победителем в полном восторге, лишь слегка омраченном предстоящим объяснением с женой. Третью зарплаты... Ну да ладно! Да как-нибудь. Ведь прожили мы с ней однажды два дня на две сданные бутылки и хорошо прожили, веселились даже... Теперь вспоми-

наем. Зато у меня — сокровище! У МЕНЯ ТИЦИАН! Может быть, полностью! Конечно, это уж было утопией. Слишком много написал Тициан — этот мастер, за свои девяносто лет, но иногда и утопия очень греет, помогает жить. Сколько раз за свою жизнь встречался и сталкивался я с коллекционерами всех мастей и рангов, библиофагами, филателистами, нумизматами, открыточниками (филокартисты они называются) и даже какие-то филуменисты (этикеточники, собиратели спичечных наклеек) попадались, но скоро вроде бы заглохли — и товар дрянной, и собирать муторно, — так вот, сколько я с ними ни сталкивался, все они шли в коллекционирование от двух принципов: ценность объекта и полнота собранного. Есть у коллекционера какая-то особенная невыносимая гордость, если он может сказать: «Ну, у меня же все рубли с Алексея Михайловича (царя) имеются... Если нет Константиновского, так он же пробный был, его и в Эрмитаже нет...» Или: «У меня же вся Германия с первой марки по сорок пятый...» И так далее, и так далее до бесконечности.

А теперь я, наверно, заставлю роптать нумизматов и филателистов, вообще собирателей всех мастей, заявив, что с книгами ничто не сравнится... Ничто... Как ни гордись монетой, чеканкой, блеском, древностью — пусть ее хоть Александр Македонский в руках держал, — монета и есть монета, много из нее не выжмешь. Марка в конце концов всего лишь красивая зубчатая бумажка с клеем на обороте, с обозначенной стоимостью, с растущей ценой. А вот книга мало того, что обладает и ценой, и стоимостью, она несет собирателю целый мир и мир не только написанный — отраженный, но мир, рождающий другие миры по принципам ассоциации, самостоятельного мышления читателя, ибо сказано: не столько надо читать, сколько — перечитывать, и не столько перечитывать, сколько думать над прочитанным...

А книга по искусству — еще и галерея шедевров. Репродукции? Ну и что, что репродукции. На марках — открытках все равно они хуже. А книжная репродукция иногда почти не хуже подлинника.

Тициан был передо мной. Прежде чем смотреть его (вы помните, что книга была на немецком языке?), я обернул сокровище чистой хорошей бумагой. Книгу надо уметь беречь. Книга — ценность. Иные любители и не возьмут ни за что, если есть хоть маленькая чатинка,

не говоря уж про пятна, про тараканы и отметки. Одну такую из чистых чистую коллекцию я видел у маститого собирателя. Книги стояли в полированных румынских полках, за толстым стеклом ровными-ровными рядами. Стояли они аккуратные, чистенькие, нечитанные... Небольшой и тоже аккуратно написанный черным на ватмане аншлаг предупреждал: «Книги не выдаются». Коллекционер, усмехаясь, поводил меня у полок, показывал, не касаясь рукой, сказал, что на лето удваивает шторы, а книги затеняет бумажными полосами. Ничего в квартире не было, кроме книг, таких же полок с хрусталем и тахты, накрытой ковром. На тахте лежала юная, отлично расписанная красками женщина-девочка в тонких брючках. Я подумал — дочь этого седенького узкогубого сухонького человека с безукоризненными вставными зубами — оказалось — жена...

Я и не представлял, что женщина-девочка тоже собирательница книг, вид у нее был вроде канарейки в клетке, но в отличие от филателисток женщины с уклоном в библиофилию встречаются гораздо чаще и все разные, типа тут не создашь, скорее, все они ярко выраженные индивидуальности. Есть собирательницы словно бы одесские торговки, есть интеллектуальные дамы, кисловатые такие, всегда недовольные с виду бабушки-пенсионерки, есть всезнающие девушки, умненькие продавщички из книжных отделов, есть и заведующие магазинами — те копят альбомы и книги, как деньги, наконец, есть женщины — знатоки искусства, преподавательницы филфакков, передовые учительницы литературы (в отличие от отсталых учительниц литературы, те, кроме Пушкина — Маяковского, романа «Мать» и «Разгром», отродясь ничего больше не читают) и, наконец, есть женщины, причастные к искусству, через увлечения мужа, через семейные традиции — эти последние самые невозможные. На личиках у них навсегда застыло этакое культурненькое пренебрежение к личности каждого, кто осмелится с ними заговорить, кого они не считают равней. Прочитать выражение можно так: «Ну да, я понимаю, вы тоже там что-то такое собираете-побираетесь, но в сравнении с нами (со мной, с мужем) вы, конечно же, троглодит».

Вот образец разговора:

— Скажите, пожалуйста, и Ренуар у вас есть? Какой-нибудь отечественный? Нет? Что вы говорите?!

А мужу недавно привезли из Японии Сальвадора Дали... Ну, что вы. Это же уникальная вещь... Двести рублей!

Сама женщина-собирательница тоже уникальна, как книга Дали. Личико такое бархатное, бархатные глазки, носик вздернут, губки-клюквинки, в шапочке она почти всегда в немыслимой, знаете так: гномик не гномик, сак не сак, ток не ток, а что-то такое невиданно модное. И всегда такие женщины в брючках.

Тициан был передо мной... Уже за полночь. Тихо. Спокойно. Тогда я жил в крохотной квартире с кухней в полуподвале, и кухня была для меня всем: кабинетом, столовой, местом для размышлений, особенно в поздний час. Здесь всегда было чисто, тихо, тепло и никто не мешал мне читать и думать, разве что мышь выбежит из подпечья, таракан покажет из щелки меж печью и стеной длинные задумчивые усы... Вот сейчас у меня и кабинет, и полки полированные, и стол хорош, а все вспоминаю с тоской ту кухню, окно в глухой двор, широкую несущую печь, нигде мне не думалось потом так хорошо, нигде не мог я так долго оставаться наедине с великими мастерами...

Я открыл Тициана... О, это была ни с чем не сравнимая удивительная книга! Книга-иллюстрация человеческих страстей, человеческих судеб, мучений, раскаяний, озарений, светлой и темной жизни. Я упивался ею — иначе не скажешь, — вглядываясь в лица библейских старцев, великих мужей, напыщенных вельмож, просвещенных властителей, кардиналов, князей, пап, императоров, святых и мучеников, корыстолюбцев, пышных обольстительниц, пастушек, патрицианок, монахинь, служительниц любви, прекрасных богинь, безобразных старух, кающихся грешниц, Флоры, Венеры, Магдалины, Дианы...

Каждая картина дышала глубоким внутренним смыслом, будь то «Динарий Кесаря» со струящейся мудростью от лица Христа или портрет сластолюбца и негодяя Пьетро Аретино. Пьетро Аретино не останавливался ни перед чем для достижения своих целей, и его облик с беспощадной откровенностью запечатлела кисть, которая не могла лгать, даже если писала самого себя. Бездна страстей глянула на меня, когда я уставился на автопортрет Тициана. Я увидел великого труженика и изощренного сибарита, сребролюбца, способного наслаждаться мелодичным звоном флоринов и цехинов,

иначе не было б этого звона в динарии, показанном Христу, в украшениях женщин, точно созданных для золота, в золотом дожде... Женщины — не самая ли снедающая страсть старика Тициана... Кто были они ему, дебелые горожанки, юные девушки и знатные матроны, — живые воплощения его богинь?

Вспомнилось: в нашем училище, одновременно со мной, был студент со смешной фамилией Плюхов. Мало фамилии — и с виду такой же, подшибленно как-то ходит, ногами гребет, лицо серое, неказистое, с какой-то изнуренностью, будто поздний осенний день, — взгляд такой... Учился он, видимо, средне, не выделялся никак, пока шли все эти осточертелые гипсы, муляжи, учебные натюрморты: обливной горшок, драпировка, яблоки, стакан, ложка... Но вот начали живую натуру, перешли к обнаженной, и вдруг ожил этот Плюхов, обрел известность, начали говорить: пишет сильно, уверенно, все по-своему, в самой шаблонной постановке уходит от штампа. Однажды — перед маем — пришла к нам новая натурщица, вернее, было их две, но одна так себе, обыкновенный типаж, зато другая, господи, вот красота, вот женщина — до чего хороша и греховна одновременно... Видал я эту деву раньше на катке в компании с какой-то шпаной. Тогда и очаровался, и огорчился. Потом потерял из виду — и вот она, — видимо, решила прирабатывать в училище. Такую натурщицу не скоро сыщешь, красивые идут в них, к сожалению, неохотно, а те, что идут, не радуют, слишком растеряно уж все — и душа и краса... Эта же девушка была в полном цвете, глаза только слишком уж козы, серые, с продолговатыми ленивыми зрачками... Сбежались, помню, преподаватели, старичок директор припожаловал — он всегда натурщиц усаживал, выбирал постановку. Пока они там в классе совещались — молва по коридору летела: красавицу писать будем.

И стремительно все собрались. В класс набились — стоять негде, кое-как разместились. Действительно, писать такую — нега, наслаждение. В позе она сидела самой скромной, можно сказать, античной. Просто сидит, наклонив голову, полуподжав ногу, полуопершись на драпированный помост. Там, у нее, тишина, нежность; здесь, у нас, торопливость, сопение: надо успеть, ухватить главное, не потерять голову, не разбежаться в размышлениях — все в руку, в кисть — время, краски,

способности... И успели, написали все, и все радуются — получилось. Смотрят друг у друга, сверяют. И у меня вроде бы не худо, на всех нас точно дохнуло весной. А Плюхов еще что-то пишет, не бросает кисти... Вот кончил. И сразу все к нему, расталкивая мольберты. И я туда же — и понял, едва глянул.

Он сделал невозможное. На холсте была не девушка, не учебная постановка, как у всех нас, — сидела богиня с опущенным долу взглядом, богиня, словно сотканная из зыбких, колеблющихся как будто, тонов, но все эти тона, полутона, рефлексy жили, дышали, ощущались живыми, и все мы понимали — не просто юная женщина, не просто рисунок, этюд маслом, как у всех, как у меня, но картина, исполненная таланта и свежести... Как лежала на плече, обегала его и спускалась полурасплетенная коса! Как была подогнута нога! Как клонилась все более никнувшая голова, и эти руки с античными кистями, и бедра, нежные, едва очерченные, неуловимо сходящие на гладкий конус к круглым покорным коленям...

Пока ахали, охали, молчали потрясенно, натурщица оделась, ленивенько вышла из-за ширмы, прошлась-протиснулась меж мольбертами, нигде не задерживаясь, видно, не очень задевала наша мазня, не пришлась по нраву — похоже немного и ладно; у мольберта Плюхова замерла, прищурилась, козий блеск в глазах потух, потом в лице словно что-то дернулось, постояла, покосилась на создателя — не поднимая глаз стоял, рассматривал свои руки — и медленно, как сквозь туман двигаясь, пошла к выходу.

Больше мы ее никогда не видели, хотя спрашивали все время, ждали...

Обнаженной натурой нас не баловали. Вот натюрморты, композиции, портреты учебные — это пожалуй-ста. И писали, писали, писали старух, каких-то безликих женщин, пьяниц с лиловыми носами. Особенно надоел один — синерожий пропойца с остановившимся, остекленелым взглядом. Едва он влезал на помост, устанавливал рядом ноги, прокашливался скрипучим табашным кашлем, кисть начинала валиться из рук, краски не смешивались, картоны казались осточертелыми... И однажды произошло дикое, как неожиданный выстрел. Плюхов пнул мольберт, швырнул кисть в угол, схватил свой этюдник, свирепо захлопнул его, торопливо подвертывая алюминиевые ножки подставок, и быстро пошел к

выходу, отталкивая всех, еще более загребастой ныряющей походкой. Бахнула дверь. Хмыкали. Крутили пальцем у виска. Немногие наши девочки смотрели испуганно. Решили — завтра все объяснится, да и объясняться нечему: остобрыдело, надоело, тоска... Плюхов не появился ни на другой день, ни на следующую неделю. В конце концов прошел слух: бросил училище, отчислен, уехал куда-то в свой Краснотурьинск или Североуральск. Одни пилили: не выдержал; другие говорили: дальтоник, а скрывал, чего зря мучиться; третьи — сожалели; четвертые — хмыкали... Кое-кто из преподавателей пытался осуждать, внушал: искусство требует всего себя...

И не подумали тогда, — а вот сейчас пришло, — может, мы Ренуара, Тициана потеряли...

И опять я столкнулся в книге с золотым дождем... Теперь я узнал продолжение мифа. Царская дочь Даная была заключена отцом в темницу за то, что царю была предсказана гибель от руки внука. Но Зевс-громовержец пленился красотой Данаи, явился к ней в виде золотого дождя. Я узнал также, что есть четыре варианта картины, — в Неаполе, в Швейцарии, в музее Прадо в Мадриде и в Эрмитаже. Но мысль моя скользила мимо, я искал сути. Не мог привлечь великого мастера лишь звон золотых струй, не могла привлечь даже пышная красота женщины, ведь и сам миф несет в себе гораздо большую глубину...

Я хотел понять, что двигало кистью живописца, какой свет освещал его внутренний путь. Уж не любовь ли? Не здесь ли скрыто откровение?

Любовь... Вот ищу ясный высокий смысл этого донельзя изменчивого понятно-непонятого слова и поражаюсь, до чего многозначительно и многозначно, до чего заезжено, захватано, обслюнявлено, обхихикано и стерто, сколько много значений, и все разные. Смотрю в словарь: привязанность, страсть, влечение, пристрастие, — все вроде бы есть, от высочайших понятий обожание, обожествление до таких модных в древности и сегодня, как эрос и секс, до уходящих в сторону определений: одержимость, увлеченность, стремление, интерес, поиск...

Любовь... И нет все-таки чего-то более емкого и значащего, объединяющего и единого, что было бы просто, велико, как солнце. Может быть, СОЛНЦЕ — как раз

есть то самое? Не в его ли олицетворении скрыт замысел золотого дождя? Ибо — что Земля без плодоносного света, что жизнь без обновления рождением и совершенствования рождением и бесконечности возрождением?

Любовь... Есть на Земле такие пустыни, бесплодные места, — дождь не идет годами и только пески и горы угрюмо терпят (и терпят ли?) ежедневный зной, как привычную муку, а все живое перебивается странной приспособленной наоборот и вопреки сущности ночной жизнью. В глубь почвы корнями и стеблями уходят растения, либо покрыты клочьями пуха и страшными шипами, на которых оседает тощая роса... Думается, и люди есть — десятилетиями, бывает, и всю жизнь, не видят золотого дождя любви, живут, как те растения, глухой сущностельностью и довольствуются крохами, неведомо чем, но как те растения, может быть, ждут, а лучше сказать — жаждут...

Припоминаю вечеринку в той школе-бане, обычную учительскую пирушку-складчину на скорую руку в честь какого-то дня, может быть, женского, и ничем вроде не запоминалась она, не могла запомниться — жиденькое застолье с малиновым винегретом и с песней: «А я люблю — жена-това...» Но помню-припоминаю, сидел уже после застолья в уголке класса, с наспех вытащенными партами, истопник и он же завхоз, мужичок кроткий, средних лет, бессловесно-одинокий и пьющий. Все танцевали. Скрипела радиола. Тускло, как в бане, горели лампочки. Была за голыми окнами окраинная ночь. Ко мне прижималась в танго тяжелая учительница географии, и, отстраняясь от нее, насколько позволяло приличие, отступая под движениями неповоротливого тела, я слышал, как мужичок в углу уныло повторял: «Хоть бы кто-нибудь... меня полюбил... Хоть бы... кто-нибудь...»

Учительница подмигивала мне, дергала понимающе свекольной от вина щекой. А мне все слышалось: «...Хоть бы кто-нибудь...»

Вспоминая этот случай, уже заслоненный временем, опять думаю: и растения в тех пустынях, приспособленно-терпеливые, сохраняющие долго бутоны ярких цветов, не всегда выживают под пеклым зноем, и тогда остаются там только скалы, камень и песок. И спрошу: Что такое — скалы? — Это бывшие горы... — Что такое камень? — Бывшая скала... — Что песок есть? — Бывший камень...

А что же такое — песок?

...Золотой дождь... Золотой дождь... Ехал я как-то в электричке, и вошли женщины. Я смотрел. Одна... Чулки забрызганы грязью, но сама! Сама!! Платок светлый в крупную розовую горошину. Лицо! Прелестно-свежее, светящееся, сияющее с зелено-голубыми глазами. Губы древней богини... Волосы продуманно растрепаны, закрывают лоб кругловатой челкой. Колорит лица — цвет самой ранней зари, вот когда небо только едва белеет и чуть розово. Такую зарю называют — досветкой, а видят немногие: косари, охотники... Если видят — запоминают на всю жизнь. И еще такой цвет есть у ранних весенних цветов, словно бы белых, а на самом деле светло-светло-розовых. Он есть у нарциссов, живет в подснежниках и в первых кучевых облаках. Все это и напоминало ее лицо, и присутствовало в нем. Древние женщину понимали лучше нас. Миф об Афродите, рожденной из пены моря и зари, — что может быть пленительней, моложе, свежее. И еще лицо женщины напоминало лицо какой-то артистки. Марины Влади, может быть... Но Марина Влади — артистка, а здесь все естественнее, свежее, моложе и севернее. Это была довольно крупная женщина, под капроном платья угадывалось такое совершенство форм и линий, что я не мог уйти, стоял и глядел пораженно. А рядом сидела ее сестра — бледная копия, хотя и была моложе. Лишний раз ясно: красота, как талант. Природа творит совершенство однократно и не терпит повторений или не может...

На скамье напротив сидел муж этой красавицы. Высокий и препротивного вида — волосы цвета щетки, брови с выступающими надбровьями, мелкие глазки, длинные руки. Все сошлось. Такие вот часто и владеют...

Из вагона ушел с трудом. Заставил себя уйти. И все женщины, все девушки, все встречные разом полиняли. Словно отравился я этой красотой. И горько мне было, и радостно, и тревожно, как под тем дождем...

Впоследствии я редко обращался к Тициану. Новые имена и книги оттеснили его. Я увлекся импрессионистами, и они открыли мне еще более торжествующий мир цвета, куда более яркий, чем творил по наитию на этюдах я сам, в неумелых попытках выйти на ту же тропу. Сезанн, Ван Гог, Гоген, Ренуар, Дега, Писарро, Лот-

рек — я собрал их всех, все они постепенно заняли почетные места сначала на моей полке, потом в отдельном шкафу и, наконец, на стеллажах моей библиотеки. Библиотеки?! Всегда как-то стесняешься поименовать свое собрание БИБЛИОТЕКОЙ и вообще — сколько это? Где кончаются просто личные книги и начинается собрание, где кончается собрание и начинается библиотека?

— Книг-то ведь у меня много — штук тридцать будет, — похвастал один из моих соседей.

— Да, пока я еще не могу похвалиться большим собранием, — ответил один активный библиофил. — Тысячи четыре, может, чуть больше...

Я не заметил, как на моем носу появились очки. Сначала самые простые, их продают в каждой аптеке — очки для работы. Пока они не модные и без подпалин, но почему-то я всегда прячу их в карман, не решаюсь надеть на людях...

Я не заметил, как лицо мое утратило студенческое простодушие, потом непросвещенную живость, потом еще какие-то черты... Однажды случайно увидел себя в профиль в тройном зеркале, в магазине готового платья. Я увидел незнакомого мужчину с густой проседью, с лицом усталого знатока — вот точно такие лица и были два десятка лет назад у тех собирателей, лица которых меня так возмущали.

Я с интересом косил глазом на этого мужчину, и мужчина также заинтересованно косил на меня, я оценивал его, как привык оценивать и понимать портреты, искать в рисунках морщин и движении лица его скрытую суть. И точно так же оценивал он меня из глубины зеркала, критически строго и усмешливо-снисходительно. Жаль, редко мы видим себя в профиль, совсем не видим своего затылка, спины, походки... Мы вообще хорошо знаем только свою, обращенную к людям сторону, а люди видят и ту, неизвестную, непонятную нам, и оттого, зная, оценивают нас точнее и беспристрастнее — «со стороны виднее». Точно так смотрел я на себя сам в это короткое мгновение и подумал так. Мысль причинила боль, я не успел все-таки за это время осмысленно определить себя — кто же я теперь и в каком человеческом разряде, ибо сказано в писании довольно мудро, что есть много званых, но мало избранных...

Однажды я раздумался: что, если всю жизнь, с тех пор, как вспыхнуло мое сознание и осознание своей причастности к окружающему миру, явно или неявно, и скорее неявно, искал я смысл золотого дождя жизни и хотел всегда понять его больше, чем мог, силился проникнуть в самую его запредельную тайну, все время и мучавшую и обогащавшую меня чем-то похожим на ожидание и предвиденье. Вот так иногда смотришь в небо и видишь его тучи, его краски, его спокойную беспредельность и все время растворяешься в относительности своих догадок, понимаешь лишь, что дыхание этого неба куда больше, чем все твои мучения-озарения, понимаешь, что оно одно для всех и больше, чем для всех, и отступаешь — мысль всегда возвращается к реальности от иррациональных стихий, а тогда все просто: небо есть небо, земля есть земля, а дождь может быть только дождем...

И была весна... И было лето... Странная весна без ручьев, с мгновенно исчезнувшим грязным снегом. Страшное лето с суховеями, с торфяным горько-пряным дымом — торф пахнет бывшими листьями, бывшей землей и бывшей жизнью — лето с постоянным воем, визгом пожарных машин. Горели леса. Все сохло, обращалось в камень, вымирала трава, и останавливались реки, лишенные истока. И что-то жуткое было в постоянном, ежедневном солнце, которое ровно калило, жгло, висело в безоблачном пустом обесцвеченном небе, а к вечеру спускалось в багровый сухой туман.

Все тосковали по дождю, по тучам, по облакам, по холоду и влаге. Дождя не было. И новое лето началось так же. Досужие прорицатели уже предсказывали бездожде на семилетие. Газеты призывали экономить воду. А в пыльных полях, в печной золе земли лежало невсхожее зерно...

Но пришел ветер, и стена тучи встала серо, широко и влажно. Стена темнела и высилась, и уже дышало оттуда холодом и мраком, и было что-то безнадежно-радостное, восторженно-глухое там, вдали, в глубине над отемненным горизонтом. И это восторженное росло, а неизбежное надвигалось, уже доносилось сюда в коротких пылевых вихрях, скакало по дорогам, заставляло

тревожно переговариваться вершины тополей. И вот, наконец, дошло, когда тронулись, задышали, согнулись и понеслись все в одну сторону белые от страха тополя, и неувимый свист, как от чего-то размахнутого с плеча пронесся над землей, мелькнул в небе, и все началось, смешалось, зарыдало в три ручья бешеным ливнем, гнетясь и раскачиваясь в плаче боли и радости. А цвет тучи, как цвет самой скорби, был ровен, беспросветен, бесконечен, гром ходил из края в край не торопясь, и росписи молний, их светлые росчерки в облаках лишь подтверждали цвет тучи и голос грома: Надолго... Надолго...

И ах, как хорошо было видеть-понимать это чувство растерянной, принимающей дождь Земли и гневно любящего хмурого неба.

Это был опять золотой дождь...

И еще три картинки в дополнение.

...Идет дождь, и все, как куры, спрятались, забрались под карнизы, сгрудились под свесами, сплотились под тесными крышками у входов в магазины.

Один человек все-таки идет, подставляет ладони дождю. Мокрый, облипший — нечего терять — но самый, наверное, умный из всех, самый счастливый!

...Не помню возле какой станции метро. Две старухи разминулись у входа.

— А что б яму, этому даждю... Что б яму... — первая, спешащая в укрытие.

— А ты, матушка, чай, с ума сошла, без хлеба, видать, не сидела... До старости дожила. Дождь проклинать! Нет стыда-то у тебя... Дождь-то ведь — хлеб...

...Вечер, и вход в театр. Принаряженные, причесанные, раздушенные, подбирая жеманно длинные вечерние платья, спешат красавицы и ставшие красивыми на этот час. Крапает, не может никак собраться реденький, слабосильный дождик.

— Фи, гадость, — говорит одна, кривясь морковными помаженными губами, напряженно спеша раскрыть модный японский зонтик.

Золотой дождь... Я так и не понял его до конца, сколько ни искал — от расхожих частностей до горних дуновений. И не найти, наверное, как эти дуновения, не проследить запредельный полет мысли до громовой

стрелы замысла. Но всегда есть благодарная и благодатная почва у художника — человечество, по каплям собирает он с ее поверхности и из ее глубин святую и чистую влагу. И счастлив художник, когда его туча разверзается золотым дождем и восходят под ним не сорняк и плевел, но улыбчивые цветы счастья и добра.

1976 г.



Перед
весной

Мороз

Два месяца неподвижно стоял мороз. Безветренный и беспросветный, он усиливался к ночи и от него веяло навсегда покинутой людьми землей, несчастьями и мраком.

Я не мог работать. Все время казалось, что вот-вот лопнет работающее на пределе отопление, размерзнутся газовые трубы, а окна не выдержат под тяжело осевшим льдом...

Солнце едва вставало, едва показывалось сквозь мглу. Желто-розовое и бессильное, оно тотчас покорно начинало опускаться в глухой синий туман, и все стонало, взвизгивало, скрипело в этом тумане: шаги, двери, колеса, гудки. Сквозь замороженные серые стекла, с трудом протаяв в них тут же схватывающийся льдом кругляшок, можно было увидеть, как обреченно борются с морозом прохожие: бегут, закрываясь, сгибаясь, держась за головы и полы, а солнце гаснет на глазах, и вот уж розово-синий промерзлый закат и прямые дымы, фиолетовые и белые.

Думалось мне не раз, не так ли уж было когда-то: вдруг и внезапно удлинялись зимы, застывался мороз, и ветры с полярных шапок несли холода и снег. Что-то творилось с Землей: неотвратимо и неостановимо, сокрушая все, ползли ледники, и там, где буйно цвела жизнь, радовались солнцу цветы и резвились звериные детеныши, оставалась безгласная пустыня, занесенные трупы слонов и погибшие, придавленные километрами снегами леса. Кто видел это? Кто пережил? Только Солнце, и сама Жизнь. Солнце! — это ему трубили падающие гиганты, к нему тянулись хоботы и лапы, к нему росли леса. Оно свидетель всему, доброе и злое, ясное и равнодушное, великое и бессильное, как вот сейчас, когда над землей уже лиловая ночь. Неужели ночь сильнее солнца, неужели хаос был первопричиной мира, неужели оттуда рождалось тепло, свет, наслаждение, жизнь — из ночи и хаоса?

Я выходил из натопленной и все-таки холодной квартиры на мороз, в пустые улицы, смотрел в седое с вороньим оттенком в центре, пробитое звездами небо. Из этой пустыни, живой и немыслимой, шло дыхание вечно-

сти, и нечто постоянно тревожило ум: Зачем это? К чему? Зачем дано миру?

Я брел по улице, чувствовал, как ледяным дыханием коробит кожу, оковами стискивает ступни и руки, как невыносимо и уже словно бы равнодушно деревенеют голени — и я поворачивал назад.

А поутру снова был мороз и ничего не хотелось делать. Так было, пока в душе не рождалось что-то, похожее на злобу, на гнев сопротивления. И я говорил: Нет! Я пересилю тебя... Буду работать, буду противиться и скажу этому солнцу все, что я о нем думаю.

В полдень, когда оно опять проглянуло ненадолго сквозь туман над крышей гостиницы, я сказал: Стой! Остановись! Хватит!

Вид у него был безучастный, как у человека, слишком занятого своим делом.

Да неужели ты не видишь, что все замерзает, все оцепенело, неужели не видишь, как гибнут яблони, цветочные почки, воробьи, синицы, голуби, и остается одно воронье, потому что его не губит никакой холод?! Остановись! Хватит! Довольно! Где твоя сила? Неужели ты бездушное? Что ты притворяешься ко всему безучастным? Зачем тогда на Земле все: тополя, животные, цветы, девушки?

Я видел — оно задумалось как будто. Оно присело на карниз крыши и окрасило снег в розовый цвет стыда. Потом оно вдруг просветлело и улыбнулось и начало уходить, но не так, как вчера, и я понял: что-то изменится. Уйдет мороз, исчезнет мгла, отползут ледники, и снова все покроется травой, заплачет дождиком, засмеется цветами, и новые слоны понесут жизнь на своих могучих спинах. Так уже было, было не раз и, наверно, всегда начиналось с того, что кто-то не боялся сказать правду хотя бы и солнцу.

Воробьиный скок

Я проснулся оттого, отчего просыпаются только в раннем и беззаботном детстве — просто оттого, что мне было хорошо, удобно и уютно в моей кроватке, я славно,

легко выпался, легко и свежо проснулся, и было еще что-то такое, точно ощущение дальнего праздника, чего-то светлого, прекрасного и радостного. Что? Я не задавал себе такой вопрос, я вообще себя ни о чем не спрашивал, только чувствовал какую-то скрытую тихую радость этого дня.

Утро было темное и пасмурное. Летел снежок. Небо куталось в тучи, и никак не рассветало, хотя за наличником уже возились воробьи.

— А день-то сегодня прибыл! — сказал отец. — На воробьиный скок.

Отец точно объяснил мне мою радость, ну я же чувствовал, что все-таки что-то случилось, было как-то не так, как вчера. И тотчас увиделся мне воробушек, зимний, распушенный, нахохленный и его неловкий скачок, когда воробьи собираются кучкой на зимней дороге и кое-как слетают, если подходишь к ним уж совсем близко, вплотную.

И целый день до самого вечера не оставляло меня ощущение тихого праздника и не выходило из головы: «На воробьиный скок».

А день этот остался мне навсегда. Шел и шел с утра мягкий и словно бы малиновый снег. И тополя под ним в снегу стояли особенно задумчивые. Пахло пирогами, севером и волей. Даже в сугробах замечалась особая, необъяснимо понятная мне тишина. Точно они прислушивались и думали. Я бродил по двору, слонялся под навесом сарая, выходил за ворота на улицу посмотреть, как там идет снег. Что-то не давало мне быть спокойным, и в конце концов я полез в огород, увязая в сугробах, пробрался к забору, влез из него и сел, отряхиваясь, — здесь было мое любимое место смотреть на мир и думать. «На воробьиный скок», — бормотал я, и мне надо было понять, увидеть и ощутить, как это и почему Земля, такая огромная, вдруг начала клониться куда-то к Солнцу и к теплу, стала возвращаться куда-то к весне и к лету, от которого она вчера еще уходила и уходила. Почему? Мысль долила меня, и я все более хохлился под ее тяжестью, не понимая, не в силах понять, замирая в каком-то оцепенении. Белые плоские крестики и крестинки рождались и никли на моем рукаве и на воротнике. Тучи ползли ленивые и низкие, точно и зима знала, что сегодня солнце повернуло к лету, и вот печалилась, тужила.

А вот оно как — «на воробьиный скок» — наконец пришло счастливое детское озарение. Вспомнил я, как было в сказке про ту великую репку, что тянули-тянули, а вытянуть не могли... И так же и здесь получилось с Землей: тянуло, тянуло ее солнце и не могло пересилить, а прыгнул воробушек и помог солнцу, качнулась земля и пошла к лету, к весне, к теплу, и так всегда, наверное, было, и только воробьям известно, когда солнцу нужен этот первый «воробьиный скок».

Маяк на краю света

В ту ночь я не мог заснуть. Дул ветер. Упругий поющий поток с непонятной силой обтекал дом. Он давил в окна, врывался в форточку, и во всех щелях причитало, пело, замирало, усиливалось. Ветер был живой. Его песни я люблю и всегда долго не сплю, потому что хорошо думается под ветер, вспоминается и грезится. А сегодня я был один в этой комнате...

Уже давно потухли на улицах огни. В окне было только серо-фиолетовое, слегка отсвечивающее и меняющееся, как всегда бывает глухой ночью с ветром и одиночеством, когда остаешься один на один с этим небом, с его грозной и вечной пустыней, и, благоговея, дивишься ему, робеешь перед ним, любишь его втайне именно за мрачную недоступность, отрешенную непонятность.

Ветер слышно ходил по комнате. В его запахе чудилось приближение будущих дождей, тепла, холодов и вёсен — именно вёсен, а не одной весны. Это было больше, чем простой ветер. Это был поток, проносящийся над всей Землей, с ее самых дальних полярных окраин, может быть, даже от Антарктиды, с Южного океана — был такой океан на старых картах и сейчас он есть, живет и волнуется у безвестных угрюмых островов, там, где шумят и воют ревущие сороковые...

А еще была книжка, давно, в детстве. Она вспомнилась мне сейчас, старая, в глянцевой потертой обложке. Издание Сытина или Сойкина с ятями и твердыми зна-

ками. В заглавии было: «Жюль Вѣрнѣ. Маяк на краю свѣта». Край света... Почему это мы так любим именно отдаленные края? Окраины земли? Не потому ли, что за ее краями грезится нечто волшебное и недоступное, как сказка, как видение и мечта? Там, за краем света...

На обложке была серая, скучная башня, высоко вознесенная над таким же голым каменным берегом, над угрюмым, бесконечным морем. Читать книжку не хотелось, вообще не любил я как-то ни про Арктику, ни про Антарктику. Да и все башни отчего-то родают во мне уныние и ощущение тревожной неопределенности моего бытия... А, может быть, не только я вспоминаю так все эти колокольни на ночном закате, молчаливо-мертвую бетонную суть элеваторов, просто какую-нибудь трубу, возносящую в небо свое как бы нерукотворное тело, хотя вот они, видны вделанные в кирпичную твердь скобы, по которым не знаю кто сможет спуститься или подняться. И то же тревожное чувство нагоняют пожарные каланчи, уже упраздненные временем, но еще бесцельно живущие по окраинам, как на картине Де Кирико «Ностальгия бесконечности».

Как думается под ветер... Куда уводит поток, поющий и свистящий... Не нравилась мне книжка, но привлекала фамилия автора: Жюль Вѣрнѣ.

Жюль Верн. Странно, что никогда уже потом я нигде, ни в каких собраниях сочинений не встречал у Жюль Верна повести «Маяк на краю света». Уж не мистификация ли это была, не подделка ли под знаменитость? (Такой повести Жюль Верна не читал и никто из моих знакомых.) И однако книга лежала передо мной... Но не буду забегать вперед, лучше вспомню ее иллюстрации. Вот они, как наяву. Трое сторожей-моряков в зюйд-вестках на площадке башни маяка. Группа вооруженных оборванцев, предводительствуемая высоким бородатым разбойником, бежит к маяку. Пираты взбираются на башню по громоотводу, держа ножи в зубах. А дальше: гибнущие корабли, погасший маяк, мешки с добычей и бочонки с золотом, крейсер с наведенными на пиратскую шхуну пушками — и везде один человек, всюду успевающий, борющийся в одиночку.

Все же я начал читать. Пролистал первую главу, утомительно подробную — рассказ о том, как три сторожа, Васкес, Морис и Фелиппе, жили на маяке близ мыса Горн на самом крайнем суровом острове, как ждали

аргентинский крейсер со сменой и тосковали по дому. Но за скучной первой главой следовала драматическая глава о высадке шайки разбойников, только что захвативших китобойную шхуну. Пираты осаждают маяк. Убиты Морис и Фелиппе. Маяк погашен. На рифах гибнут суда... А уцелевший сторож Васкес отчаянно борется с шайкой грабителей. Он стреляет пиратов из засад, находит их пещеру-кладовую, зажигает маяк, когда разыгрывается невиданный шторм, он находит корабельную пушку и, втащив ее на гору, поражает ядрами пиратскую шхуну, не давая ей уйти в море.

Такова была эта удивительная история, и ее мне в ту ночь напомнил ветер. Я вспоминал, видел седого писателя с удивительно добрыми глазами и заново понимал вместе с ним: если хочешь победить и выжить, держись и мужайся. И пусть со всех сторон будет ледяное море и под ногами камень, пусть разбито стекло твоего маяка, сломаны лампы, а кругом разбойники — все равно держись, сумей не сдаться, все вытерпеть, найти оружие, перехитрить врага, — и снова загорит твой маяк и все вернется, вернется, вернется...

Так, а может, и не так думал я в ту бессонную ночь под вой ветра в больнице, после операции.

Паучишка

Было холодно. Вдоль трассы мела поземка. Змеились бесконечно седые дымки по укутанному санями проселку.

«Уж и март на носу, а ничем не напоминает весну», — думал я, вышагивая по дороге и отворачиваясь от ветра.

Вдруг на снегу почудилось мне какое-то движение. Остановился, нагнулся. Небольшой длинноногий паук боком, боком скользил по снегу, он двигался как тень и производил впечатление чего-то нереального. Полно! Не бред ли это? Паук, отрицающий все законы природы. Я коснулся его, и он замер, сжался в сухой комочек. Я поднял его на ладонь и попробовал греть — паук не шевелился. Тогда я снова положил его на снег, и тотчас он опять развернул свои волосяные ножки и так же, как прежде, боком заскользил по снегу. Куда он полз?

Что заставило его упрямо пробиваться вперед. Как смог он пересилить холод и ветер? Или шел он навстречу своей Весне? Попробуй вот догадайся.

Ворон

Я шел через февральское поле, и глаза болели от блеска снега, солнца и синевы. Взмахи крыльев слышались мне. Большой ворон летел над полем к высокому лесу, прямо уставив ножевой клюв. Я смотрел ему вслед без всякого интереса — подумаешь, ворон и ворон...

А он, не долетев до леса, вдруг стал набирать высоту в странном не вороновом парении, редко и емко взмахивая крыльями, и наконец, забравшись в оглушительную вышину, вдруг закувыркался вниз, как подстреленный, и трубный голос его загудел над полем. Вот, почти коснувшись макушек леса, он справился, снова пошел ввысь, иногда поворачиваясь через крыло. Был красив сейчас он — эта грубая черная мрачная птица. И я понял, что ворон пляшет свой предвесенний танец перед молчаливой женой — воронихой. А она смотрит на него из леса, может быть, уже с гнезда — груды сучьев в верхушке коломенной сосны.

Когда я возвращался под тем сосновым лесом, донеслось из синей глубины его непонятное, будто бабаяга пела там скрипучую старушечью песню, пела и бормотала старая карга. Сказкой показался мне в те минуты бор. Я полез туда, проваливаясь в снег, и увидел: на высоченной корабельной сосне, упертой в самые облака, сидел тот черный мрачный ворон. Он каркал, прищелкивал, напевал на вороньем языке дремучую, как бор, воронью песню, и слышалось в ней: «добрра, добрра...»

Тут вспомнилось, ведь ворон певчая птица, из той же семьи, что и снегирь и щегол, что может он выучиться говорить, что он — вещая птица.

Я ушел и все думал дорогой о весне, знать, вправду будет добра, коль такой разбойник поет и пляшет.

Цветы над снегом

Говорят, что самые первые цветы — подснежники, медуница, мать-и-мачеха, сон-трава...

И все-таки не они встречают весну, ведь самые первые цветы появляются еще над снегом.

Кончается февраль. Теплеет. Сахарный мокрый снег. Шальной ветер-растрепка. И над снегом, на ветру цветы. Они серебристые... Да вы же знаете их!

Скромная кустарниковая ива с женским именем «верба» стоит по пояс в снегу и цветет. Летом никто на нее не взглянет. Слишком обычен и тускл ивняк. Разве корзинщик подойдет, нарежет гладких лаковых прутков. Зато весной хороша верба. У каждого дерева свой месяц радости, когда блещет оно во всей красе, гордится своим нарядом. И в марте ничто не сравнится с вербой — ласковым деревом русской весны.

Бескорыстие

Чистый тонкий звон отдавался по всей улице. Было воскресенье, потоком текли по бульварам люди, и никто не замечал птичку. Она сидела на ветке подстриженного тополя и насвистывала изо всех сил, словно хотела пересилить шум города, голоса людей и грохот трамваев. Лился, лился ее музыкальный голосок, точно играл кто-то на хрустальном ломком ксилофоне.

И песенка птички была в тон солнечному утру, когда над городом сиреневый туман, когда сосульки радостно слезятся и в первых лужах чмокаются капли. Все шли мимо. Никто не поднимал голову, никто не сказал ей ласкового слова. Для иных ведь что птичка поет, что ведро на коромысле скрипит...

А птицу звали синичка...

Мы с товарищем стояли на бульваре под тополем. Мне было обидно за нее, и я сказал:

— Зимой она голодала. Ее ловили в западни и за-

пирали в грязные клетки. Когда она начала хохлиться, ее милостиво выкидывали в окно. Она кочевала по чердакам и спала в печных трубах, валилась с ног от бескормицы, берегла сады. И вот ведь — еще поет! Так почему же не поставят ей памятник, не запишут в Книгу почета и не дадут лаврового венка?

— Видишь ли, — ответил мой товарищ, прислушиваясь к птичьему голосу, — настоящие таланты не нуждаются в славе...

День теплых облаков

Зимой и небо холодное, мерзлое. Оно под стать безмерной белизне снегов и так пустынно, ровно...

А весна начинается с теплых кучевых облаков. Белые, ослепительные, привольные, вдруг поплывут они, точно парусники в голубом океане. И кажется — плывет Весна. Легки, непрочны кучевые облака. И смотришь, как они меняются: то паруса, то лебеди, то клубы... Вот встали сияющими айсбергами, беломраморными ликами греческих титанов и снова рассыпались к полудню в архипелаг счастливых островов.

Как безмятежны они в оттаявшем небе! Какая теплынь угадывается там! И уж слышим звон ручьев, видим их бóльшой дрожащий блеск, и шорох — воспоминание первого дождя сладко тревожит душу.

Сокровенно любим мы теплые облака весны... Великое ли дело — облака? А сколько их хранится в памяти, сколько проплывает там...

Береза

Был совсем маленький — ну, может, не то слово, — так лет шести или семи, еще до школы. И всю зиму ждал весны, словно бы всем существом своим, каждой клеточкой мечтал о поре, когда устойчиво подует теплом и еще чем-то, растворенным в том тепле, беско-

нечно прекрасным и сладким. И дождался. С утра, в сенях еще, охватило меня это нежное и потрясающее тепло. Тепло на улице! И весь я зажмурился, засиял, запрыгал. Потому что было Солнце! Ручьи! Весна... Весна. Солнце. И Ручьи...

Все радовалось в такое утро. Бежала вода с потоков. Чирикали воробьи. Кричали галки. Грохались сосульки. Дышал снег. Одни березы в огороде казались безучастными к общей радости. В них не было никакого весеннего движения. Березы всегда занимали меня. В самом деле — странно живет дерево. Живет, а живое ли оно? И как живое, почему живое? Во всем ли подобно мне, кошке, девочке Верке, с которой я играл с тех пор, как помню себя. Или это совсем другая, не настоящая жизнь, пусть даже и с почками, с листьями, с пылящими желтой пылью сережками...

И вот в то утро, обрадованный теплом и весной, не зная, куда деть нечто распирающее, бушующее и буйное, я схватил свою железную саблю, выкованную из крепкого обруча, с острым, многократно точенным о камень клинком, и промчался по проседающим хрупким сугробам, круша их сахарную, тут же расходящуюся водой плоть, и, доскакав до берез, с размаху хватил саблей воображаемого противника. Раз! Два! Еще!

На белой, круглой, женственно желтеющей и розовой коре легли рубцы. Они были глубокие и живые, как раны на чьем-то розовом теле... И вдруг я увидел, как из этих рубцов, медленно накипаая, потекли и капали светлые крупные слезы. Они стекали по белому телу березы и срывались в снег, прожигали его до земли. Береза плакала, рыдала, как женщина. Она была живая, совсем живая, совсем как я, как Верка, как все... И потрясаясь этим, перекошенно глядя на раны и рубцы, я опустил саблю, потом бросил ее в снег и пошел-побрел прочь проседающим сугробом уже без радости, отягченный заботой и крепко занятый мыслями о чем-то непонятном, больно томящем душу.

Мать-и-мачеха

В апреле обтаявшая земля кажется такой юной и холодной. Лишь синие озерины воды — глаза Весны, — и в них одна правда глубокого весеннего неба. Роднят

они землю с небом, то безмятежно улыбаясь ему, то задерживаясь облачной грустью.

Проходит день и два... И вдруг на скромном личике земли загораются желтые веснушки, разбегаются по всем буграм, по теплomu пару огородов, по гривам посохшей лебеды. Будто мелким одуванчиком зажелтело. Не одуванчики. Мать-и-мачеха. Лекарственный цветок и даже сорняк. Маленькое солнышко светит в сухой траве, поднимаясь на тонком чешуйчатом стебельке. Где же листья у этого цветка? Нет листьев, вырастут в мае — треугольные такие тусклые лопушки. И не боится мать-и-мачеха холода — настоящая подснежница.

Я долго раздумываю, почему народ так назвал желтый цветочек? Одни говорят, листья у него разные: сверху гладкие, снизу ворсистые слегка. Может, и вправду так? Да ведь и у буквицы, и у репья, и у многих других трав такие листья... Не скоро поймешь народную мудрость. Оно и верно — тепло улыбается этот желтячок и сам собой мягкий, ласковый... мать. А почему же и мачеха?

Однажды пришлось мне идти пустырем в сырое и тусклое утро. Сыпал снег вперемешку с дождем — солил озябшую землю. Я вспомнил о цветочках, глядя под ноги. Еще вчера этот глинистый пустырь весь смеялся, золотел мать-и-мачехой. Что случилось сегодня? Не собрал ли уж кто-то все цветы? Нагнулся и увидел их: сложив венчики, наклонив головы к земле, цветы стояли скучные и суровые. «Вот она — мачеха, — подумалось мне. Уж не улыбнется, не порадуется...»

Скворцы

Черная птица появляется на скворечнике внезапно. Ждал ее, ждал, устал ждать. Все не было. Качался в пронзительном мартовском небе пустой птичий домик — нагонял тоску.

Но птица возникла на нем точно по волшебству. Как в кино. Большая желтоклювая и хлопотливая птица. Сначала скворец тихо посидел на крышке. Потом соскочил на леток, нырнул в домик. Выскочил. Посидел. Снова нырнул и теперь затих надолго. Видно из

летка его овсяный клюв. Кажется, что птица говорит: «Ну, братики, дома, наконец-то дома. Даже глазам не верится».

— Скворцы прилетели! — говорят на дворе. И все смотрят, и все улыбаются.

— Деда! Скворцы! Скворцы прилетели! — кричит внучонок, облепляя старика, путаясь в ногах.

— А как же... Вот, значит, до тепла дожили...

И видно, рад старый, дожил до новых скворцов.

Новость бежит по дворам. Улыбаются люди. Как ведь хорошо. Скворцы прилетели!

Думается: почему они так радуются? Что в них необыкновенного, в скворцах? Поди, объясни... Может, скворцы — это весна, может, скворцы — это первый дождик, и сырая травка на припеке, и синий, гулькающий в канаве ручей.

Оказывается — это очень много, когда прилетают скворцы...

Волчье лыко

Пасмурно, холодно, тихо. Апрель. По всему лесу цветет волчье лыко. Самый невидный, неприметный летом кустарничек, никогда не остановишься даже, не нагнешься посмотреть. Неприметен. Сухая веточка да три пальчика-листочка. Неприметен, а как ядовит! Волчья отравка, волчья ягода. Такому и цвести бы не положено. Цветет волчье лыко... Куда тебе, сирень! На ветру, на холоду, без ласкового солнца, даже без листьев, на голом прутике — малиновые пригожие цветы. И весь лес понизу в сиреневых пятнах, и веселее по нему идти. Весна, думаешь! Весна опять! Цветет волчье лыко — лесной дурман. А почему цветет, почему так рано — еще вон и снегу полно под елками. Может, оправдывается?

Черемуха

Такая удалась в нынешнем году на цвет черемуха — не видно листьев. Все бело. Все просит каких-то невестиних сравнений, и цветет, и благоухает, жужжит и

жуудит обрадованной пчелой. Вечер гонит от садов облаками ее девичий аромат, одуряет путника и прохожего, а руки сами тянутся, как к девичьему стану,— обнять, прижаться, забыться, дышать горько-пряным, свежим, майским предгрозовым, холодным духом и запахом черемухи... Непередаваема околдовывающая благодать и сродни женщине, только черемуха рождена раньше и прежде, так же как береза, ива и цветы, рождена для девушек, для невест и для нас, с виду таких грубых, а в самом деле непознанно нежных, всегда стыдящихся своей души.

Озимок

Вот уже два раза в жизни я видел большой майский снег...

Бывает это всегда за чередой изнурительных жарких дней, за полуднем с высоким солнцем, когда кругом кто дивится, кто радуется, кто клянет и солнце, и духоту, кто любит женщины в тонких и ярких летних платьях, женщинами, потрясающими после долгой зимы совершенством ног и станом и настороженностью вопрошающих взглядов,— но обязательно находится и такой, что смотрит в белое истомное небо и ждет тучи, как крестьянин у иссохшего поля. Этот и радуется больше всех, если вдруг на пределе зноя что-то меняется в небесах, быстро скучнеет горизонт, остужается небесная глубь и вот уже чуть-чуть набегает, посвистывает ветер, и женщины начинают хвататься за подолы юбок. А спустя час в том же самом небе появляется бледная неистходная синева. Облачко может плыть по этой синеве, странное небольшое облачко, чуть темнеющее, оторванное и одинокое как будто... Это облачко — вестник...

Ветер треплет неснятые с праздников флаги. И все бледнеет, все задумывается небо, так человек после необузданной радости смотрит...

К вечеру начинает дождь. Робко, рассеянно мочит он сухие тротуары, отемняет землю, оmyвает первую торжественную зелень, неподвижные листья полуодетых тополей. И чем ближе ночь, уверенней расходится, расширяется дождь, уже кроет мелкие асфальтовые лужи

бесконечными циркульными кружками, к полуночи он вдруг словно бы встряхивается, начинает лететь с неведомым прежде шумом, и тогда лужи переполняются, начинают течь, капли скачут, перепрыгивают друг друга, отсвечивая темным и белым всплеском, и уже пузыри — вестники ненастья плывут по вымытым, мокрым бульварам, и в них рябят, неверно отражаются и тоже змеятся и плывут полночные городские огни. Все усиливается дождь, все прохладнее дышат улицы с севера, и все безлюднее они, темнее и глуше. Одинокó бегают прохожие. Гаснут огни. Ночь и дождь... Дождь без конца... И лучше всего засыпается под его ровный сладкий шум...

А будит меня тишина. О, какая тишина в городе задолго до рассвета... Я не раз ошеломленно вскакивал от этой тишины, ощущал себя оглохшим. И первое, что приходило в голову, — подойти к окну. Теперь там был снег. Снег торжественно сыпал, валился, шел, перелетал, то открывая заснеженные тротуары, еще темнеющие кое-где мокрой полосой, и белые, все в белом деревья и кусты, то вдруг все скрывалось в снежном буйстве ночной метели, и снег начинал валить стеной, скрывая все от глаз, видно было лишь непрерывное рябящее, опускающееся мелькание... Снег идет... И завтра все будет, как зимой, полусонно думал я. И уже лежа в постели, пытался еще что-то осилить-охватить, но не мог, тонул во сне, только повторял: Снег идет... Снег... Как в черемухе... Снег...

А утром было бело кругом, и мне хотелось в деревню: сильнее понять и ощутить эту редкую прихоть зимы. Хотелось увидеть все в лесу, в открытом поле, на реке, узнать, как там жаворонки — неделю назад они безмятежно заливались в золотом зное над идущей волнами зеленой озимью... Как жаворонки? Как скворцы, которые уже кормили нечто верещающее, пискливое, жадное, как дрозды на занесенных снегом гнездах, как черемуха, пчелы, жуки... Эти жуки еще вчера блаженно мчались куда-то на расправленных лаковых крылышках в простор и синеву...

...Чудно гляделась река в оснеженных берегах. Река была черная, в зеленых строчках протаявшей осоки. Чернели на снегу и в зелени берега у самой воды хлопочущие скворцы, и совсем не удрученно, скорее весело, перелетали и носились над водой мелкие кулички. А снег

шел. В лесу деревья склонились обремененно, разобранно редко свесили прутья кусты, и рожь на поле стояла пригнутая, оцепенелая.

С реки дул ветер, было холодно, но я лишь тер руки и ежился, мне надо было хорошенько озябнуть, чтобы проникнуться впечатлением этого редкого снега, лучше понять каприз весны.

Но что это? Не слышится ли мне? Нет, не ошибся... Над полем, под снеговыми тучами, над заснеженной рожью пели, пели и юрчали жаворонки. О, чудная внезапная зима с жаворонками! О, чудо снегов на зеленом смущенно притихшем лесе!

В то утро я видел, как сороки рыскали в поисках добычи у дроздовых гнезд, а дрозды, разделясь на партии, охраняли гнезда и гоняли воронок с трескучим гамом, видел черемухи все в цвету, заваленные еще более белым свежим снегом, еще больше напоминали они невест, покорно склонивших голову под венцом, я видел бабочек над белыми полянами, птичку варакушку у самого крыльца. Беззаботно спокойно бегала, кормилась она, забегала даже в самый снег, хватала в нем каких-то мошек и словно бы умывалась в снегу — так встряхивалась, совалась в него, а потом чистила хвост и крылья. Даже крот выбрался поглядеть на снег, вывернул кучку черной почвы, пропахал по снегу длинную борозду и опять ушел в свое подземелье.

И нигде не прекращалась весенняя жизнь. На опушке пели зяблики, на цветах ползали вялые мухи, гуляли по снегу комары, бегали пауки. Все как будто чего-то ждали. И дождались, дотерпели... В полдень сквозь тучи проглянуло желтое, потом прорезался первый ищущий землю луч и наконец выглянуло светило, улыбнулось, ударило теплом. Лицо у солнца было озабоченное... И снова я видел, как шевелилась, отряхивалась озимь, как рыдали цветы, сбрасывали снег молодые сосенки, как все тянули к солнцу обрадованные руки, и первый ручей побежал по чернеющей, влажной, по-весеннему враз раскисшей дороге.

О чудо снега внутри себя, когда все хмурится и тает, и леденит до боли, как ком упруго сжатого снега, и тут же тает в ладонях, растворяется и каплет светлыми слезами. Все было вместе в одном: зима, лето, осень и весна. И стоял человек посреди поля, чувствовал, как зябнут промокшие от талого снега ноги, и улыбался, слу-

шал жаворонков. Спросить бы его — зачем он тут, зачем стоит, слушает, утирает с лица не то снег, не то слезы, и ничего он вам не ответит или скажет просто: «Не знаю...»

Русь

Теперь уж вроде слово-то древнее, былинно-седое. Русь... И сразу: Васнецов, Полenov, Левитан, Шишкин... Окованная сталью грудь Ильи. Палица на ремешке. Алеша Попович лукавится в татарской усмешке. Где та Русь? Осталась в картинах...

Но вот однажды ехал я скорым, по-русски неспешным поездом и от орущего песни радио ушел в «предбанник» вагона — нечто такое узкое, тесное, предтамбурное. Закрыл дверь. И хоть грохотали здесь сильно колеса, было хорошо, — никто не дышал в ухо, не курил в лицо, не пилила душу музыка, и в опущенное окно свежо рвался полевой ветер.

Встал к окну и сначала просто дышал, жмурился, приходил в себя, а потом стал вглядываться в бегущую, величаво отстающую позади равнину, и чем больше смотрел, тем сильнее подчиняло, околдовывало зеленое, холмистое, нескончаемо-неоглядное пространство, все раскрывалось и раскрывалось, щемило душу своими перелесками, полянами, травяной и кустовой глушью оврагов, черными елками, взбегающими на скаты и склоны, серыми в прозелень крышами и опять сплошным зеленым ополем, плещущей на ветру пустынной нивой, которую словно бы и никто не сеял и над которой еще более величаво предвечно стояло ровное отреченно-грустное небо. Облака круглились, сияли жемчужно-молочным цветом, и венцы солнца полосами били из-за них вдали, там, где облака темнели набранной влагой и уж совсем как будто не двигались вопреки суетливому бегу поезда. И в этой их облачной отрешенности, далекой от слишком людского стука колес и упругого качания вагона, была вся сила властно захлестывающего душу пейзажа, и непроизвольно, должно быть, подчиняясь ему, я твердил про себя, а может, и вслух: «Русь... Россия... Вот она... Вот ты...» И все вглядывался жадно.

Русь... Россия... Все здесь было подлинно русское: и это небо, и белеющий на ветру орешник, и серебряная седи-на ив на речках, и сырость елей, молчаливая тьма дубов, когда поезд врывался в лес, а лес рябил перебежкой стволов, дышал в окно холодом травы, медвяным духом полян и цветом опушек,— а поезд уже снова выносился в поля, снова вставали в памяти старые картины... Дороги, избы, саран, голубино-сизые жерди с тоскливой зеленью картошки в открытых солнцу огородах.

Тишина и безлюдье. Великая исконная тишина. Русь... Это слово будто шептал мне кто-то, будто писал в памяти вместе с неспешно меняющимися пейзажами, я глядел и думал, сколько уже веков из-под этих серых крыш, из глухих проселков, убегающих куда-то в хлеба, в поля, из невидных деревенок все выходят и выходят в мир великие, озабоченные людской долей и вечно живые...

Думал, глядел и вдруг обомлел в изумлении: на травяном склоне овражка у глинистой речки некто белогородный, лет тринадцати, мазал кистью на белом листе. Едва взглянул на поезд и снова туда, в свой лист, а может, и не взглянул даже, просто поднял голову...

А поезд все уносил меня и, высунувшись в окно под треплющий ветер, я видел согбенную спину под легким зноем, видел речку и ели на зеленом, все более растилающемся, рябщем беленьким, желтым и голубым, бесконечно, безмолвно родном... Русь... Русь...

Любка

Создание маленького цветка — работа веков.

У. Блейк

Я почувствовал сильный запах ванили, смешанный с чем-то необычно душистым, и невольно остановился. В лесу темнело. Травы путались под ногами. Уже какой-то светлячок повесил невдалеке свой фонарик — зеленый ночной огонек. И все-таки, клонясь на запах, я увидел этот цветок. Очень невзрачный, тонконогий, на детской шейке, он приподнялся над травой в ложбин-

ке из двух ланцетных листьев. В нем было что-то от юной девчонки, вся красота которой в ее высоте, тонкости, в том, что обычно называют хрупкостью. Бледные зеленые соцветия грудились на вершине стебля — не то звездочки, не то завиточки. И тут я вспомнил название цветка. Любка зеленолистая — маленькая северная орхидея, так далеко убежавшая от своих амазонских пышных сестер. Она была, быть может, самая незаметная в семье орхидей — наша русская любка...

Большая ночная бабочка вдруг загудела надо мной, повисла над цветком. Вьюнковый бражник, лесной красавец, весь розовый расписной и стремительный, кружился перед любкой. Еще и еще подивился я народной мудрости. Ведь дал же кто-то скромному цветочку такое милое женское имя, а бабочку-ночницу не постеснялся окрестить бражником. И почему бражник-гуляка летит к такому невидному цветку, почему цветочек остановил и позвал к себе человека, остановил и заставил поклониться?

Безмерна, свежа, многолика природная красота: то запылывает она во всю силу цвета, то притворится скромницей, опустит ресницы и самыми блеклыми тонами выведет непостижимое.

Я уходил, и навсегда оставались со мной ночной лес, тихоня любка, хмельной бражник и светлячок, светивший нам всем.

Корабельная роща

Слышали вы про кондовые сосны? Из них рубили избы первые уральские поселенцы. И на века стояли рубленные, строганные стены, лишь выкипая от времени желтым янтарем.

Конда — по-мансийски сухой и высокий берег. Там растут эти сосны. Оттуда начинается бор. Всякий лес хорош, но бор я люблю на особицу, связаны с ним теплые отроческие годы.

Было мне лет двенадцать, когда впервые поехал я в лес один. Черный закоптелый паровик, запряженный в четыре трясучих вагона, быстро домчал меня до полу-

станка кругом в лугах, в лесу, синеющем со всех сторон. Я спустился из прокуренного тамбура на хрустящий гравий полотна и долго стоял, дивясь свежести утра, незнакомым запахам цветов, росы и легкого лугового ветра. Я не знал, куда мне направиться, и наконец пошел вниз вдоль полотна. Кругом был лес, лес и только лес. Я свернул к нему, спустился с насыпи, побрел луговиной в некошенной траве, с которой тяжело сыпалась роса. Смокли мои колени, олубенели брюки, но я не замечал ничего, кроме утра, кроме неиспытанного еще состояния полной свободы, самостоятельности и значимости своей на земле. В городе это чувство не рождалось, там всюду были люди, подобные мне. А здесь я был один среди этих некошенных лугов и леса, один тропил к нему путь.

Утро выстаивалось нежное, солнечное, золотое. В лугах кричал коростель. Скрипел, откликался ему от опушки другой, плавали над травой глазастые стрекозы и голубые, красненькие, белые бабочки в невиданном обилии хлопотали, вились, носились и припадали к цветам. Бабочек было столько, что вся трава луговины словно бы мигала и жила ими, как жила она и сипением кузнечиков, жужжанием пчел, полосатостью ос и синевой, позолотой жуков, заснувших в соцветиях таволги. Я брал этих жуков, и они колюче упирались жесткими лапками, скрипели, поводили усами — они хотели только свободы, и я разжимал ладонь, чтоб увидеть, как жук полетит, раскроет внезапно твердые крылья и, сердито загудев, понесется неведомо куда.

Лес встретил шорохом сосен и звенящими раскатами зябликов. То бойко, то задумчиво рассыпали и повторяли они свое стекающее: «и-тю-тю-тю-тви...» — и так сочетался их голосок с размывчивым шумом леса. Сизоголовые эти птички перелетали вблизи, сверкали белыми зеркальцами на крыльях, садились на высокие сучья сосен и бочком настороженно двигались по ним, следили за мной: Кто ты? Зачем ты здесь? Не враг ли ты? Пинь-пфинь... пинь-пфиньк... И решив, видимо, что я не враг, зяблики сперва потихоньку, а потом все громче, смелее начинали петь.

Лес был хвойный, елово-сосновый. Субор — называют на Урале такую смесь. Ели, сосны, редкие лиственницы чередуются в нем, пока одна лесная порода не пересилит, не заглушит остальные. Субор переходил в

заболоченную низину, тут росли редкие березы и по поясу мне была блестящая жесткая осока — резун. Я пробрался через нее с боязливым замиранием. Мне всегда рассказывали, что в болотах, в осоке бывают змеи, и, шагая сквозь шумящую твердь этой травы, разводя ее руками, я следил за малейшим движением впереди, все пытаюсь представить эту страшную встречу. Но никого не было в траве, никто не скользил и не шипел в ней. Кочкарник снова перешел в веселую луговину, стало суше, и сосновый бор вдруг открылся мне, величавый и стройный.

Все видали сосновые леса, все бывали в них, и, может, без особого восторга, бывал и я и тоже не вынес ничего из хождения по этому столбистому однообразному лесу, где растет мелкая невзрачная трава и светло зеленеет черничник с редкими сизо-голубыми ягодками. А это была настоящая корабельная роща, точно на показ сохранилась с тех времен, когда оставляли на корабли лучшие заповедные боры.

Сосны-исполины — чуть не сказал чудовища — величаво стояли соборной ратью. В каждой угадывалось что-то шишкинское, богатырское, что-то звеняще монументальное было в них, чудилось и жило. Черные, неохватные подножья стволов медленно переходили в светлую охру, голубым и сиреневым отливала она, а выше шел уже чистый бронзовый цвет, там, где ствол переходил в приспущенные сучья и где уж на птичьей высоте развertyвалась исполинская шумящая крона, до головокращения качающаяся в светлой сосущей сердце голубизне.

Это был первый настоящий бор, какой довелось увидеть мне. И долго стоял я перед ним, как перед сказкой, не решаясь двинуться, сбросив шапку, опустив корзину, молчал и смотрел. Сказкой темнела его глубина, сказкой синел сумрак вершин. Солнечные лучи стояли неподвижно. Вспыхивали, пропадали в них какие-то искорки. Чудилось, выйдет вот-вот кудесник, спросит, пригорбясь: «Куда путь держишь?»

Я подождал кудесника, а потом подобрал корзину и вошел в лес, как в храм, где живыми колоннами устремлялись-росли в высоту эти мамонтовые сосны. В грубом тяжелом зазоре коры взблескивали шелковинки, твердые изумрудные златки светили из ложбинок золотыми глазами, бегали, как балеринки, какие-то молоч-

нокрылые букашки, а трава в подножьях была густа, мягка и узорчата, вся цвела, пестрела голубым и белым, желтым и розовым, над которым господствовал нежно-синий и бледно-сиреневый цвет. На сухих плешинах цветы сменялись яркой заячьей осокой, голубой камень проглядывал там, кое-где уже искрошившийся в рыжеватый и палевый песок. Хищно-быстрые жуки-скакуны с японскими узорами на серо-зеленых крыльях бегали и перелетали по этим нагретым плешинам и цепочками, приподняв на коричневых липких шапочках песок и хвонинки, стояли первые маслята.

Здесь был целый прекрасный мир — мир растений, цветов, жуков, красных и голубых стрекозок, каких-то невидных, непонятных мне существ, обозначавших себя только юрким движением травы впереди, тихим писком или шелестом, мир солнечных пятен, вековых сосен и птичьих голосов. Он был так удивителен: свеж и глубокий и чуток. Краски, запахи, звуки соединялись в одну спокойную симфонию, и я лишь смотрел, слушал, ощущал ее, не в силах понять и осмыслить полудетским умом, но с не меньшей радостью воспринимая все это своими чувствами, вполне созвучными этой его прелести и чистоте.

Я смотрел: редкая пятнистая архидея походила на паука, а паук, бело-розовый и совсем не страшный, сидел в самом центре своей сияющей золотисто-голубой сети, как в волшебной преграде в страну чудес. Я обошел ее, стараясь не нарушить, и паук не шелохнулся, не побежал прочь. Белая бабочка-аполлон, огромная и тоже сказочная, летела вдоль опушки, и медленный спокойный полет ее вторил протяжному вечному шороху сосен, все время слегка качающихся, как может покачиваться лишь что-то живое, как покачивается, наверное, сама наша Земля в своем бесконечном движении.

Я пошел вдоль сосен. Сладкий сиропный запах переспелой земляники настаивался здесь с кедровым духом смолы и сухой хвойной подстилки. Пахло муравьями, солнцем, травой, цветущей чиной и сочевичником, в мышином горошке путались ноги, и все хотелось броситься в эту траву под сосны, раскинуть руки и лежать, обняв землю, наслаждаясь и насыщаясь ее молодым и вечным запахом.

Почти бессознательно я наклонился, сорвал липкий

свежий масленок, содрал нежную резиновую пленочку под шляпкой и нежная, нежнее не представишь, медово-желтая мякоть, вся в алмазных слезках, запретно глянула на меня.

Я испугался ненужности своего действия, точно совершил воровство. Мне показалось, что я не могу собирать эти грибы, а только хотел бы смотреть и радоваться, так хорошо и просто и слитно со всем росли они тут...

До полудня я бродил в заповедной роще, а когда притомился, сел на опушке отдохнуть. Было хорошо посидеть в тени. Я прислушался к теплomu комлю сосны, и мне стало слышно, как она живет, шевелится и словно бы дышит. Вся вековая мудрость бора была в этом звонком, могучем теле, в вольном размахе сучьев высоко надо мной и ее шорохе, шуме, которым она баюкала меня. Шум леса слушаешь всегда сопрягаясь с ним, а когда смотришь в небо, узнаешь в нем и шум ветра, и шум моря, и словно бы шум вечности. Все исчезает, уходит куда-то: радость, печаль, заботы, мечты, словно бы отключается даже и ощущение собственного Я, а остается только одно сознание бесконечной сопричастности себя ко всему и во всем, ко всему и во всем...

Так сидел я, прислонясь к дереву, погруженный в неясные грезы, а когда пытался все-таки что-то вспомнить, яснее всего приходили на ум сказки об Иване-царевиче и тридевятом царстве, и, пробуждаясь, я думал, почему же люди не нашли еще и не поняли этот цветущий былинный бор.

То было тридцать лет назад, но хорошо помнилось, и вот я снова в тех же местах, спускаюсь с насыпи, к тому же лесу, иду все той же первой луговиной, и так же мокнут от росы мои колени. Лес впереди словно бы тот же, и лишь трава на лугу реже и ниже и меньше бабочек — да, может, это просто я тогда дивился поначалу, сам был меньше и все воспринимал восторженней. Я тороплюсь выйти к бору, я уже предвкушаю, как увижу его снова и снова войду...

Сначала я не понял даже. Опешил. Не бор, не паутина, не болотце с осокой, там, где я брел, боясь змей, — колючая проволока на вполне новых бетонных столбах преградила путь, а за проволокой широко и неоглядно раскинулась вырубка. Трудились там экскаваторы, ползли самосвалы, блестели рельсы вновь созданных путей,

и уже стояли кое-где зеленые вагоны, оранжевые тепловозы и радио, удесятенное эхом, вопрошало кого-то:

— Тридцать седьмой? Переводите семнадцатый на девятый путь. Тридцать седьмой... Слышите? Тридцать седьмой...

Стрекозы

Всем они известны. Всем... Есть они зеленые, красненькие, есть голубые совсем тонкие-тоненькие стрекозки, которые всегда порхают, играют, гоняются друг за другом, как девочки-первоклассницы, а есть сильные зеленоглазые, золоченые и сиренево-голубые красавицы, которые летают плавно и вольно и никому не даются, ныряют в сторону, едва попробуешь их поймать. Под осень появляются раззолоченные стрекозы, так что и голова и лапки у них из золота, и металлическим бронзовым светом мерцает их одеяние, и напоминают они солидных молодящихся женщин из тех, что ходят в театры в платьях из парчи, в золотых босоножках... И еще совсем удивительные есть стрекозы. Вспомните, не видели вы их у рек, только у очень чистых, незамутненных речек с яркой чистой осокой и мелкими лопушками по берегам. В таких речках сквозь воду видны песок, пестрые, белые и черные камушки и везде ходят над галечником быстрые зеленые пескари, маленькие окуньки и плотички, взблескивающие серебром. Тут же над поверхностью солнечной воды и летают стрекозы густо-синие, реже лиловые, точно сделанные из какого-то живого цветного стекла.

Только редки теперь такие тихие речки, и стрекоз меньше и меньше. Не выводятся они из промазученных вод, из покрытых нефтью прудов. Помню, со стрекозами было у меня связано ощущение счастья...

Помню теплое, устойчиво теплое летнее утро. Двор весь в ласковой, сохранившей прохладу-росу мураве. Поленицу дров, которую мы складывали вместе с отцом, а, утомясь, садились отдохнуть на свежераспиленные чурбаки. Отец курил — я просто отдыхал, наслаждался тихим долгим утром, еще не перешедшим в такой же бесконечно долгий день. Мой день. И все сливалось в этом будущем дне: ожидание радости, надежда на что-

то лучшее, на бесконечность лета, на бесконечность всего этого, что было со мной: неба, солнца, пахнущих осинной поленниц, этой зеленой травки, где то и дело вспыхивал ответный солнцу луч.

И все летели, летели над нами, как бы тонкими струйками, одинаковые зеленые стрекозы. Было их невиданно много. Они летели над заборами, над огородом, над крышами, точно торопились в свою счастливую страну. Много было стрекоз, очень много. Мы опять принимались за дело. Кололи чурбаки, укладывали поленья, снова отдыхали. А стрекозы летели и летели над нами.

Очень много было стрекоз...

Муравка

Растет по деревенским улицам, по самым истоптанным местам да пустырям невзрачная такая, пыльная травенка. Ее щиплют гуси и утки, синие жучки-листоеды с красными шейками густо плодятся в ней, топчут ее прохожие, стригут овцы, приминают кованые тележные колеса, а она растет, прямится к солнцу и свету и не только тянется, а и цветет.

Бедные, неказистые цветики у ней. Никто на них не поглядит, не похвалит. И мало кому известно, что травка — птичья гречиха сродни добротной медовой и кашевой ее сестре.

С первыми холодами краснеет муравка, осыпает семена, кормит воробьев, реполовов, овсянок. Пролетные стаи пасутся на ней. Она щедра и по весне. Едва проглянет из-под снега стылая земля, а жаворонки уж тут как тут: от стужи и голода одна спасительница — птичья гречиха — безвестная пыльная муравка.

Камаринская

В августе увидел я под елями широкий мухомор-зонтик. Хотел было пройти мимо — мало ли мухоморов идет на свет божий об эту пору и белых, и желтых, и бранжевых — и вдруг остановился... На шляпке мухомо-

ра толклись крылатые серые букашки, стоял тонкий многострунный звон, маленький оркестр играл на скрипках. Я нагнулся. На круглой, расщепленной в краях мухоморной шляпе толклись, бродили и приплясывали самые обыкновенные комары. «Комариная толпа, комариное сборище, комары гуляют», — бежало в голове. А комары действительно веселились: одни пили дурманный сок гриба, сосредоточенно уткнув хоботки-волоски, другие, уже охмелевшие, — ни дать, ни взять, парни на гулянке, — шатались, бродили парами и тройками. Какой-то лихой поджарый, расставив крылья, вибрируя ими, на носках, откалывал лезгинку, другой на подгибающихся ножках махал трепака, так что хотелось кричать ему: «Ух-ух-ух!» А дальше, собравшись кучей, истошно голосили комариную проголосную, и тоньше всех звенел чей-то отчаянный бабий призыв-плач.

Да полно! Не снится ли? Нет, не снится. Все было наяву: лес, ели, мухомор в узорной траве, красный, мелко-пятнистый с белой опояской, и пляшущие хмельные комары.

Что заставило их загулять? Была ли в тех плясках ритуальная сила, свой тайный смысл, или выдавали молодую пригожую, а может, просто зиму почуяли, решили гульнуть напоследок. Смотрел я и думал: «Не тут ли уж исток толкучей веселой русской пляски, веками бок о бок жил мужик и комар...» Спросил бы, да не знаю комариного языка, а конечно, есть этот язык, только все еще мы его не поняли.

Бабочка

Темный августовский день. Тропа, натопанная по кустарнику вдоль высоковольтной трассы. Иван-чай сиренево цветет, доцветает, седея по обочинам, и пахнет дождем, туманами, концом лета. Я иду по тропе и смотрю на тучи, что выволакиваются из северного угла над лесом. Вот-вот начнет уже кропить и сеять безнадежным дождем.

Вдруг внимание мое привлекла большая яркая бабочка. Она снялась у тропы впереди и понеслась кра-

сивым планирующим полетом, широко развернув белую перевязь на оба крыла.

— Ленточница! — выкрикнул я. — Как поздно?!

Бабочка нарядно кружилась, то возвращалась ко мне, то надлетала надо мной, то уносилась вперед, и это было как прощальный поклон, улыбка нашего короткого лета.

...«Усмехнулось... лето... бабочкой...» — вслух с расстановкой забормотал я, будто пытался начать стихи.

«Усмехнулось лето...» — и замолчал. Не складывались стихи. А может, вообще в стихе нужна только одна строка и я ее нашел?

А бабочка кружилась над иван-чаем, взмывала к пасмурному небу, парила, прядая крыльями над буреющей травой и над березовыми кустами, уже подсвеченными изнутри желтым багрецом.

«Бабочка, бабочка, — подумал я. — Летаешь последние дни и чуешь, наверное, что ждет тебя уже скоро... Или ничего не дано тебе знать и счастлива ты и беспечна — тем и щедра в своем презрении к гибели? Далеко-далеко, там, где нет зимы, твоим родичам неведомо, как рвется жизнь под холодным дождем, замирает под ледяным ветром. Не знают они, что может быть холодное солнце, а небо, как снежные пустыни, ничего они не знают...»

Пошел дождь, еще не осенний, но уже и не полетному жестко стучающий о листья, уже холодно залопотали осины, пасмурно зашумели березы, и уныло кричала в мокрых кустах горихвостка.

Бабочка в последний раз мелькнула впереди.

«Усмехнулось лето бабочкой», — опять вслух сказал я и подумал: «Или не прощанье это? Может, напоминание о весне и о всех будущих веснах?»

Ласточки

Очень родная птица — деревенская ласточка. Всяк знает ее, вилохвостую, чернявую, с красным горлышком. И всяк ей рад, когда по проталинам, по первой траве вдруг появится пара веселых щебетушек прямо из беспредельного майского неба.

У нас в обветшалом сарае ласточки всегда живут под кровлей, и целое лето слышишь на дворе тихий и зыбкий писк птенцов. К нему привыкаешь, как ко всему давнему: к тополю у ворот, бочке под потоком, серой лестнице на сарай, гомону воробьев. Но вот подрастут птенцы, поднимутся на крыло и однажды, почему-то всегда под вечер, вся стайка сидит на проводах на красном холодном закате и долго переговаривается, чиликает, щебечет...

А утром пусто. Нет ласточек. Не слышно их голоса. Тонкая струна вдруг задрожит где-то в душе: «Улетели. Почуяли холода». Осиротел двор. Принахмурился кособокий сарай. Тополь шелестит по-осеннему.

И с этой теплой печалью живешь до новой весны, пока не услышишь на солнечной заре знакомый-знакомый говорок.

Козодой

Я шел на работу. Августовский вечер гас в тучах. Только что стих дождь, сырым ветром дуло вдоль улицы, шумело в кипящей зелени тополей. Сегодня дождь хлестал весь день, и весь день толпились над крышами толстые, синие, безотрадно тяжелые облака, за которыми скрылось на покой солнце.

Помню, такие облака получились у меня на бумаге, когда я впервые открыл коробку с акварелью.

Я шагал по асфальтовой дорожке вдоль скучного нескончаемого забора. За ним скрывался сад обсерватории — большой, малохоженный — не сад, а невысокая роща. Глядя на толстую, грудастую тучу, снова плывущую мне навстречу, я гадал, когда же кончится ненастье и будет ли еще тепло на закате лета.

Вдруг птица, похожая на маленького ястреба, мелькнула в вершинах мокрых тополей, неслышно вильнула над моей головой, упала за ограду в кусты. Я узнал ее. Это был не ястреб, а козодой, легкокрылый и призрачный, с черными волшебными глазами, как все ночное, рожденное тьмой и фантазией природы.

— Козодой в городе? — вслух спросил я себя и тотчас понял: «А ведь это осень гонит его. Знать, уж

здесь она и уже шепнула перелетным птицам: «Пора в путь...»

И раньше других услышал ее глазастый ночник — козодой. Ведь осень сначала приходит по ночам. Только по ночам. Неслышно, невидимо для людей.

Снова закрапал, защелкал дождь. Туча надвинулась наглухо, опустила крылья над домами и, словно желая разубедить меня, разрешилась прямым и грохочущим летним ливнем. Нервно дрогнула молния. Бахнул по небосводу гром. Я прижался к забору, смотрел, как прыгают, плывут по асфальту пузыри...

А ночью, едва я вышел из дверей дома, как тотчас почуял запах нахолодавших листьев, увидел осеннюю ясность темного неба и белые звездные осыпи там. И на перилах крыльца обжег мне руки первый нестойкий иней.

Ерш зашел!

Под большими городами человек быстро опустошает природу. Разгоняется птица, уходит зверь, леса очищаются и скудеют, одни грибы долго спорят, упираются, каждое мочливое лето родятся в самых, казалось бы, истоптанных, исхоженных местах. Но, слышно, и они начали сдавать. Отступают грибы от городов. Раньше пешком за ними ходил полегоньку, теперь езжай на поезде, трясись на мотоцикле, и, как знать, не будет ли время, когда только с вертолетом разживешься настоящими сырыми ельничными груздями...

Но хуже всего приходится рыбакам. Число их год от году растет, а рыба, как назло, уменьшается. Не действуют тут никакие мудренейшие блесны, прикормки и приманки. Мало рыбы, да не смущает это заядлых рыбаков.

Каждую осень в начале сентября бежит по городу бойкий слух:

«В Черную ерш зашел!»

И начинается тут нечто невообразимое. На вокзале не протолкнешься. За билетами очередь в километр.

На перроне удочки, подсачки, соломенные шляпы. В вагоне только и слышно:

— Степан-то Иваныч вчера двести штук, говорят, достал.

— Ей бо...?!

— На вот...

— А этта я на самотряс...

Какой-то розовый старичок с голубыми мелкими глазками — ни дать, ни взять дедушка мороз — продает малинку спичечными коробками.

Малинкой или мотылем называются красные, как кровь, червячки — личинки комара.

— Почему?

— По трисадчику!

— Что так дорого??

— Зато в городе...

На станции Сагра высаживается целая рать.

По Черной — есть такая речка с темной торфяной водой, вся в елях, березах, в черемушнике — сплошь сидят рыбаки. Тянется речка далеко. Идешь по ней, идешь, и на каждом изгибе торчит соломенная шляпа, а то сразу две, костерок клубит синим дымом, удочки, снасти, котелки.

Плывет по воде яркий сентябрьский лист, и клева нет никакого.

А все-таки любители сидят, надеются, попивают чаек и водочку, благодушествуют. Тут же вспоминают, кто когда сколько рыбы «достал». Настоящий рыбак никогда не скажет «поймал» или «выудил» — «достал» его слово.

Вот на другом берегу у болезненного вида пенсионера что-то произошло. Приглядываюсь. В руках у него рыба. Живая. Все привстали, все смотрят, все молчат.

— Третий уж! — наконец говорит болезненный, и движение улыбки трогает его темные щеки.

— Ерш!

— Вон что?

— Вот как!

— Третий уж...

Расплывшийся одноглазый старик в канотье и в парусиновой куртке хочет узнать, на что клюнуло. Старик, должно быть, совсем не ведает рыбацких правил — на ловле о приманках не спрашивают. Здесь каждый сам себе колдун.

— На дно поймал? — задает он прямой вопрос.

Молчание.

— На дно, говорю, поймали? — уже робче, почти-
тельнее вопрошает старик.

Болезненный будто не слышит. Внимательно сквозь
очки изучает снятую с крючка рыбешку. Меж тем одно-
глазого разбирает любопытство.

— На что клюнуло, спрашиваю. А?

— Третий уж! — удовлетворенно отвечает пенсио-
нер с того берега и, любовно огладив ершишку, опускает его в бадейку.

— Третий уж! — повторяют все, кто с восторгом,
кто со вздохом.

И бежит, бежит рыбацкая молва по бережку, течет,
как сама речка в широкое озеро.

— Слыхали? Сказывают, вчера на Черной один три-
ста тридцать штук достал.

— Ерш все мерный, на четверть...

Поречина

В ольховом логу бежит ручьишко. Тихий такой, мел-
кий, он чуть дрожит на перекатах и весь засыпан лист-
вой. Только редкие темные и голубые от неба окошки
проглядывают из цветной листвы, видны в них сквозь
стекло воды блеклые хвоинки, бурые листики да круп-
ный ржавый хрящ по самой теклине.

Вода в ручье вкусная, от нее ноют зубы и холодит
в груди. И, казалось мне, никто тут не живет. Даже
трубочки ручейников не двигаются взад и вперед по
дну.

Пить и купаться в этой чистейшей воде сбегался,
слетался весь лес.

Белка проворно скользила по стволу, пила с отме-
ли, жеманно приподняв хвост, отряхивая лапки; бело-
бокие зяблики опасливо заходили по колена, окатыва-
лись, приседали, подхватывали воду на спину концами
крыльев. Чижи сваливались всей стаей, как горсть сос-
новых шишек. Пили, плескались и так же стремительно
взлетали, скрывались над вершинами, роняя на землю
свое звонкое «пи-пие, пи-пие».

И все-таки в самом ручье таилась скрытая жизнь. Что-то всплескивало иногда, что-то булькало под листьями, пряталось под берегом, укрывалось в омутках.

Я загородил в ольховнике небольшой шалашик-скрад и подолгу сидел там, смотрел, какие птицы прилетают к ручью. Снова и снова раздавался там таинственный плеск, будто русалка-невидимка плескалась в ручье.

Неведомое существо не желало открываться, пока я не перестал думать о нем.

Однажды я прилег возле шалашика, записывал кой-какие мысли об осени. Случайно поднял голову и вдруг увидел на воде зверька величиной в две мыши в дымчатой кротовой шубке с белой оторочкой.

Длинноносый тот зверек плавал на поверхности совсем сухой, как пробка.

Я перебирал в памяти всех водяных зверьков. Нет, это не выдра, не бобр, не норка, не ондатра и не водяная полевка. Может быть, редкий зверь — выхухоль? Нет, тот крупнее...

— Кутора! — чуть не крикнул я, узнав редкую водяную землеройку. Это кутора! И во все глаза смотрел на диковинку. А из-под воды так же внезапно всплыл еще один бархатный зверек, точь-в-точь такой же, и оба они зацвирикали, затрещали.

Зверьки переругивались, будто две соседки из-за курицы, залетевшей в огород. Первый зверек наступал, скалил мелкие зубенки. Второй отплывал, огрызаясь, но было понятно, что и он готов к драке — так свирепо горбилась его мордочка.

Я выронил авторучку. Булькнуло, плеснуло, легкие тени разошлись под листья. И никого не стало, словно и не было, словно пригрезилось мне от лесного молчания, от ключевого заговора воды.

Бабье лето

Неизвестно, кто и почему назвал так тихую благодатную пору — всего десяток коротких дней, таких ласковых, таких безветренных, таких голубых.

Бабье лето!

Не шелохнутся березы. Оторвется, прозвенит вниз одинокий листок. Паутина сине и шелково блеснет. Да голосок синицы позовет кого-то, откликнется кому-то.

Бабье лето!

Еще цветут в омежьях крепкие нивянки, глядит тысячелистник, желтеет крестоцвет. Еще прощальные ягодки земляники попадают по буграм, и на болотах второй раз зацветает калужница. И поет отлетный жаворонок, бормочет тетерев, кричат журавли. И будто бы вновь повернулась земля к солнцу, вновь весна стоит на пороге... Вторая молодость... Последняя красота.

Бабье лето!

Уж не за ту ли женскую ласковость и кротость называли его. Или коротко оно, как женская радость, женский отдых? Так и до сих пор не решу...

Комары

Целых три дня несло снегом. Земля укрылась им глубоко, и, думалось, уже совсем укрепились зима — так холодно-желт был первый ясный закат.

Ночью ветер гудел над крышей. А с утра ударило таким радостным солнечным теплом, что побежали ручьи, и снег покрылся черными точками.

В огороде над оттаявшей березовой плахой вдруг заплясали, заюлили, затолклись в весеннем танце в честь солнца долгоногие комары-толкунцы. Казалось бы, что такое комар? Кому он нужен? А так радостно было опять видеть комариную «камаринскую», будто и впрямь повеяло весной.

Тополя

Ночь над городом. Ветреная ночь. По-осеннему строго шумят тополя. И небо не черное над ними. Нет. Мрачно-серое и глубокое, с едва заметными глазками звезд, с белесыми ясно бегущими облаками.

Сижу на лавочке на какой-то последней загородной улице, и ветер с полей, печальный и прохладный, гладит лицо, сбивает волосы мягкой лапой.

Как грустно-хорошо под этим тайно-сизым небом под штормовой шум тополей думать о жизни, о любви,—обо всем, о чем никогда не думается днем.

Черные тополя. Черные крыши. Звезды меж туч. Лай собак и огни.

Шумят, шумят, вскипают тополя. В осеннем ветре зябнет земля. И листья, сорванные этим ветром, порой тычутся мне в колени.

Да как же спать в такую ночь? Как сидеть дома?

Бродить бы по улицам до рассвета, шагать по тракту навстречу огонькам, целовать девушку в темном подъезде. Прижаться к ней, теплой и родной, молчать, слушать, как шумят тополя.

Листопад

Когда размашистый ветер треплет и гнет макушки берез и стаи листьев облетают в траву — это еще не листопад. Настоящий листопад я видел только однажды в конце сентября. Застойная осень теплилась по лесам. За три недели ни один заморозок не пал на землю. Полетному цвели ромашки. Сипели кузнечики. Кустились зелены.

И вдруг в одну выморочно-тихую, сторожкую ночь все осеребрилось, замерзло и поседело в хрустком матовом инее, и даже сами звезды на рассвете казались синими, зыбкими и льдистыми.

Лист обварило. И вот он настоящий листопад! Он идет без ветра и движения ветвей. В стоячем воздухе листья сами собой беспрерывно сыплются к земле. Один за другим, один за другим.

Станный немолчный шелест стоит вокруг, будто для себя, про себя шепчет, нашептывает роща.

В падении листа есть что-то величаво-спокойное и простое. Вот жил, хлопотал, шелестел, подставлял голову дождям и ветрам, а теперь пожелтел, состарился, кончена жизнь — вниз, к земле, без ропота и страха.

И не о бренности земного, не о смертной тоске ду-

маешь, глядя на них, ступая по их желтому пахучему слою. В лесах нет смерти, как нет ее в народе, в плеске волн, в бесконечно бегущих облаках. Листва под ногами лишь сильнее говорит о жизни, о всех веснах и осенях, какие прошли через тебя.

«Лист падает — дерево остается». С такой думой совсем ясно смотришь в будущее к новым листопадам и веснам.

Зорянка

Утро. Туман в березах. Росой подернулись сниклые травы. Слышно, как свалится помертвелый лист, цвирикнет землеройка, оборвется паутина, рассыпав нанизанный бисер росы. И вдруг зазвенит серебром из желтых вершин в логу, раскатится в елках нестройно и замрет что-то. Это редкость. Осенью поет зорянка.

Минуто, другую нетронутая тишина. И вот опять сыплются полтины и рубли, звенькает по камням ручей.

«Цвинь, звинь-цири-рицы, пи-пи-ти...» — невесть откуда из мрачной еловой глубины. Поет, поет щедрая птичка. Не торопится отлететь. Знать, по душе ей голубой березняк, ели, елушки да сухой малинник.

Бывает, завьюжит, понесет снегом, снимет с берез остатний лист, накрепко ляжет первозимок. Опустеют, примолкнут леса, уйдут последние отлетные стаи. И вот по печатному снежку найдешь в чаще строчки-крестики. Найдешь и улыбнешься: здесь еще рыжая затейница!

А посчастливится — саму увидишь: сидит где-нибудь на облепленной снегом валежине, на сухом сучочке, нахохлилась, смотрит круглым глазком-черемушкой. А глазок говорит:

«Нет, брат, еще не зима. Осень пока. Небось растает все...»

Знает милая пичуга свой срок. Знает, что отступит зима. И кто сообщает ей о близкой оттепели, не понять никак. Я всегда определял осень по зорянкам. Раз держатся они — жди запоздалого тепла. Минует снежная неделя. Раздвинутся на закате тучи. Хлынет солнце в широкие полыньи.

И через день-другой снова ходишь по теплому бес-
снежному лесу.

Красота

На окраине рощи в снеговом промыве увидел я старую черемуху. Знать, выросла она здесь из косточки, оброненной птицами в давние времена. Главный косой ствол черемухи давно потрух и торчал черным унылым обломышем. Белые плюшевые трутовики семьями облепили его. Зато вокруг ствола широко и привольно разрослись молодые прямостоящие побеги, все покрытые ясно-желтым листом, светлым, как сентябрьское солнце.

Даже среди схожих палевых, желтых и ржавых тонов листвы на опушке куст светился ярким пятном. А едва холодное полднеевое солнце высывалось из-за облака и широкий свет падал в ложок, весь куст вдруг вспыхивал и горел ровно-радостно, пока новое облако не приглушало его свет. Я долго стоял и сидел на холодной траве, любуясь игрой красок, а потом решил: «Приду сюда завтра, напишу этюд». Уходил, а куст все заставлял оглядываться, будто смотрел в спину.

Дома я подготовил картон и этюдник, набрал кисти и по новому утру опять пришел к черемухе, уже заранее предвкушая, какие яркие мазки я положу на грунт, каким цветистым будет этюд с черемуховым кустом.

Да только где же он?

Его не стало.

Если б не черный обломленный ствол, я никогда не поверил бы, как может исчезнуть, рассыпаться золотой куст. В одну ночь потухла красота.

В одну ночь облетела черемуха. И так горько-обидно стало мне: вот уж который раз в своей жизни я терял красоту, терял глупо, надеясь на «потом», искал и не встречал, ронял и не находил. Словно жар-птица, улетала она из самых рук, чуть промедлил — и нет, и не воротить ее...

Черемуха... Она разделась догола, и листья желтой юбкой лежали у ее темных ног, и пахло от этих листьев тонко, пряно и горьковато, как от девичьей кожи.

Бурундуки

Люблю сидеть в лесу не шевелясь, слиться с лесом, окаменеть, как те валуны по склону. Так лучше поймешь лесную жизнь, лесную мудрость, лесную тишину.

Сейчас я прилег, прислонился к надломленной ветром сухаре, отдыхаю, смотрю, как раздевается осенний лес.

День не радует. Хмуреет небо. Редко покрапывает. С белых туч вдруг сорвется ветер, и золотой дождь с шорохом сыплет с берез, трепетно раздеваются осины, молодые липы в черных чулках нехотя бросают светлые листья. Одни елочки стоят темно и ярко, да зеленеет молодой сосняк.

Вдруг что-то замелькало на склоне, приближаясь ко мне. Какой-то зверек шустро бежал в траве, нырял по ветровалу.

Бурундук! — узнал я, когда он приблизился. Маленькая полосатая земляная белка. Бурундук на ходу присаживался на задние лапки и то охорашивал мордочку, то, отбежав шагов десять, вдруг оборачивался и с видом спесивой красавицы взбивал и чистил свой тощий хвост.

Вот зверек нырнул под еловые ветви и скрылся.

А спустя короткое время я увидел уже двух полосатых зверьков. Они бежали в обратном направлении, задрав хвостишки.

Минут через пять пробежал еще один бурундук. За ним еще пара. Казалось, зверьки спешили за чем-то важным.

— Ишь, хлопочут! — сказал я и тоже пошел вслед за ними. Мне захотелось узнать причину непонятной суеты.

Скоро я вышел к железной дороге, и первое, что бросилось в глаза, — полосатая спинка бурундука, шелестящая в кустах. С насыпи сбежала целая четверка. И по другую сторону рельс один за другим припустили бурундуки.

— Что за черт? Откуда вас столько? — Стал осматривать насыпь, и ответ получился самый простой.

Вдоль всего полотна между шпалами, рельсами и по обочинам тянулись россыпи пшеничных зерен. Зверьки торопились собрать добро нерадивого человека.

Синий октябрьский рассвет. Пасмурно на севере. Непроспавшийся ветер мечется по полю, забивается под стеганку, холодит шею. Ветер этот пахнет снегом, сухой лебедой и чернобыльником. Стынут руки, и я прячу их в рукава, взяв ружье под плечо.

Иду полем по сухому жнивью, оно ломается под сапогом с безвольным хрупом. Погода перемежается. То стихнет все, то вдруг задымится даль, начнет сеять густым, как ливень, снегом-крупой. С особенным шорохом он сеется на жнивье. Холодно, холодно и печально все. И хорошо. Хорошо зябнуть, хорошо идти вот так полем навстречу лесам, дали и ветру под серым земным небом, когда ветер дудит и звонит в дуле ружья.

Случилось так, что целый год я проболел, таскался по больницам и аптекам, сидел в нудных коридорах поликлиник меж согбенных больных людей, сам такой же придавленный, опустошенный болезнью. Тяжко засыпал вечерами без надежды проснуться поутру.

А вот снова хожу по земле и научился по-новому ценить ее всю: каждый ее день, закат, березовый куст.

Иду пятнистым заснеженным жнивьем. Потревоженный русак такой же бело-рыжий, как жнивье, залег в клочке бурьяна у межи. Вижу его спину, прижатые уши, черноватый комок хвоста и сворачиваю в сторону. Пусть лежит, косит выпуклым стеклянным глазом, моргает шерстяной губкой. Пусть лежит.

И русак не движется в бурьяне. Зато целый табун серых куропаток вырывается из склоненной лебеды, стремительно несется над полем. Ах, как вертко вылетает серая куропатка — не успеешь вскинуть ружья! Да и птица-то она запретная.

Осень. Глухая осень стоит над землей. Вот и подорожники прилетели, отмечаю про себя, вспугнув станичку белобокх птичек. Воронье кружит под самым небосклоном. Сквозит облетелый кустарник у ложка. А вот попадается на глаза невысокая ива в распадке. Она, как невеста, увешана белыми сережками. Стоит на ветру нарядная. Ива-бредина, неужели и ты радуешься поздней осени?

Раздумье

Шел днем во вьюжную, взметающую снег погоду, Кругом ходили вихри, рассевая холодную и словно бы соленую пыль. Снег блестел, казался хрупким, стеклянным крошевом, вздымался по сторонам барханами и дюнами, и, как живые, курились они под ветром, дышали безнадежностью. Шел и думалось: «Да неужели сейчас есть где-то степи, растет трава, цветут деревья, поют птицы и ничего не известно там вот об этом пронизывающем одежду ветре, морозе, от которого деревенеют голени, об этих безнадежных бескрайних снегах? Неужели сейчас на Земле есть жаркие океанские пляжи и теплые волны, отсвечивая то лазурью, то малахитом, идут к берегу, чтобы разлиться по горячему песку? Неужели ветер, шумящий в жестких веерах пальм, сгибающий упругие рубчатокаменные и роговые стволы, все тот же, от которого я заслоняюсь сейчас одеревенелой промерзлой рукавицей?

Могуч север... И не так ли вот начиналось! застывали морозы, надвигались льды, набирали силу вьюги, и Земля замирала, седела под ледяной шапкой? Точно по чьей-то нездешней воле Земля замедляла свой бег, точно кто-то наклонялся над притихшей планетой, смотрел пристально-заинтересованно, с любопытством, длящимся века, а потом отступался, исчезал, и снова все шло своим чередом. И какое, должно быть, это зрелище: тысячеметровые тающие льды. Какое буйство непонятных вёсен, когда бурлили потоки с ледников и обнажалась тысячелетиями погребенная подо льдом Земля, рождались Волги и Камы, без меры широкие, потрясающие и ныне просторами древних русел, каким чудом жизни было рождение травы на этой воскресшей земле, и как печатался на ней след чьей-то живой первобытной лапы...

Люблю в мыслях забираться как можно дальше в прошлое, видеть и представлять трижды чуждый уже и ничем не восстановимый мир, из которого сквозь наслоения тысячелетий идет мое Я и, может быть, пойдет дальше в неведомых мне обликах. Это таинственное, вечное, никогда не исчезающее Я странным образом чувствует и ощущает всю прошлую бесконечность жиз-

ни, видит ее подчас ярче, чем прошлый день. Я напрягаю память, и она, дополненная воображением, рождает мне все, что я захочу вспомнить. И те бесконечные голубые, синие, розовые и желтые от света ледники, все их провалы и трещины в фиолетовой бездне теней, всю бесконечную тоску снегов и расстилающийся вой пурги и те сияния, как тревожное колдовство неба над сотворенным безмолвием. Я вижу все прошлые суровые зори и звезды, сдвинутые с привычных мест, искаженные как в страхе знаки созвездий.

Что-то живет во мне и подсказывает искомое. И что это, если не бесконечное отложение впечатлений в каждую клетку, данное нам на вечное хранение, пока жива Земля.

Ах, какой суровой, чистой, свежей и многоводной была ты, Земля, когда прапредок с моим Я жил у края тающих льдов и по ночам тревожно слушал крик мамонтов и гул рек в великих каньонах. Шли белые низкие облака над его косматой головой, открывались раскаленные, раздутые ветром звезды, и тоже всходило солнце, чтобы согреть и ободрить его и повести дальше его детей, продлить жизнь, которая не может остановиться...

1966—1976 гг.

Край большого старого леса у поля. Вечереет. За елями все более жидко, розово, северно холодеет закат. И на этом закате, на острой и черной макушке ели примостился высоко поющий дрозд. Нет, не пел,—кричал на весь лес что-то торжественное, чарующее, непонятное. То умолкал, и тогда слышно было шум и бульканье ручьев, катившихся по дороге под горку, то начинал высвистывать снова с протяжным певучим ритмом, и лес, словно прислушиваясь к нему, входил в свою вечернюю думу.

Слушал и я, все более цепenea, отдаваясь и подчиняясь одинокой дроздовой песне, ее печальному накрику. Звезда белела и слезилась в предночной синеве. А я думал, как все слито: весна, поле, ручьи и сам я, наверное, похожий сейчас на серый полевой валун. Засни сейчас, совсем лишишь жизни, и ничего не изменится — земля все так же тихонько будет отворачиваться от солнца, и дрозд будет петь... Нет, сказал я, не зря ты поешь на этой ели, не зря этот недоспелый арбузный закат, не зря же так звенят ручьи и пахнет обтаявшее поле, не зря этот лес, уже заколдованный ночью, такой глухой, синий и темный. А раз так, наверное, не зря и я на земле живу, вижу, слушаю и понимаю все это.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Воробьиная ночь	8	Лешачья грива	75
Глухомань	19	Звездный путь	91
Торфяник	25	Второй хлеб	95
Лешева дудка	33	Неоткрытая земля	108
Серебристый день	40	Белозерье	111
На озере	52	Страницы осени	122
Черный дрозд	60		

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

Валя Медведева	140	Лесные дни	227
Маленькая повесть	176	Золотой дождь	285
Подснежники	195		

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Мороз	342	Стрекозы	364
Воробьиный скок	343	Муравка	365
Маяк на краю света	345	Камаринская	365
Паучишка	347	Бабочка	366
Ворон	348	Ласточки	367
Цветы над снегом	349	Козодой	368
Бескорыстие	349	Ерш зашел!	369
День теплых облаков	350	Поречина	371
Береза	350	Бабье лето	372
Мать-и-мачеха	351	Комары	373
Скворцы	352	Тополя	373
Волчье лыко	353	Листопад	374
Черемуха	353	Зорянка	375
Озимок	354	Красота	376
Русь	357	Бурундуки	377
Любка	358	Ива	378
Корабельная роща	359	Раздумье	379

Никонов Н. Г.

Н64 Перед весной. Повести и рассказы. Свердловск,
Средне-Уральское кн. изд-во, 1977.

384 с. с ил., портр.

Новая книга известного уральского писателя. Большинство вошедших в нее произведений посвящено родной природе, людям, влюбленным в зеленое приволье лесов и полей.

Н 70302—086
М158(03)—77

Р2

Для юношества

ИБ № 328

Николай Григорьевич Никонов

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Редактор М. П. Немченко

Художник Н. Н. Моос

Художественный редактор Г. И. Кетов

Технический редактор К. Г. Проскурникова

Корректоры А. Н. Винокурова, Г. М. Смирнова

Сдано в набор 27/X 1976 г. Подписано в печать 10/II 1977 г. НС 12035.
Бумага типографск. № 1. Формат 84×108/32. Уч.-изд. л. 20,4. Усл. печ. л. 20,2.

Тираж 100 000. Заказ 583. Цена 90 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

2035.
20,2.

орпа-...





HERCOLA

COPIES

COPIES